

Камень на ладони

СП

Александр Смердов

КАМЕНЬ НА ЛАДОНИ

Очерки



Советский писатель
Москва · 1957

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Было это давно-давно, когда тайга и горное эхо, златорогий олень и пушистый соболь не слышали выстрелов из ружья, не знали лязга железных капканов...

Стрелы и лук, деревянный силок — шергей — вот и все, с чем шел охотник на зверя и птицу.

В тайге, на берегу быстроструйного Мрасса, жили трое братьев-охотников — шор-анчи. Добыча двух братьев была богатой — белка и соболь сами шли на охотников. А третьему брату удачи не было. Он возвращался в свой шалаш с пустой суминой; к его шергеям не подходил даже бурундук, от его стрел улетали птицы. Питался охотник лишь кореньями кандыка и стеблями ревеня, больше ничего не давала ему тайга.

«Видно, Хозяин тайги на меня разгневался», — думал охотник и остатками пищи угощал своего деревянного божка Шалыга — злого духа тайги. Недаром когда-то добрый Ульгень загнал Шалыга под землю вместе с его женой и камнем тяжелым закрыл выход из подземного мира. Но под землею Шалыг породил сына-богатыря, и сын отвалил камень Ульгеня. Вновь на земле появился Шалыг, с тех пор он еще злей к людям.

Сын Сарыг-хана
с палкой из желтой акации,
с желтой бородой,
с выпуклыми глазами,
почтенный хан Шалыг,
зачем на меня гневаешься,
почему удачи лишил?

Так уговаривал шор-анчи злого Шалыга. Остатками чая он брызгал на костер, чтобы и Мать-огонь на него не гневалась[1].

Но и после молений не приходила удача к охотнику. Совсем опечалился шор-анчи. Однажды ночью, большой костер разведя, он сидел и, тоскуя, играл на комысе, песню печальную пел:

Из кедра сделанный мой комыс рассохся,
Скоро совсем развалится.
Голос мой тихий скоро умолкнет.
В землю лицом упаду я...

В полночь по тайге ветер пронесся. Возле костра шор-анчи незнакомый человек вдруг появился — с зелеными волосами, с зелеными глазами и в каменных сапогах. Неизвестный пришелец у огня присел и сказал:

— Пой свои песни, я посижу, послушаю.

Охотнику стало страшно, но он тихонько запел.

— Птицу и зверя ты не можешь добыть, оттого и печалишься, — сказал незнакомец. — Пойдем со мною — богатым будешь.

Охотник пошел за ним. Они поднялись на вершину одной горы, перед ними тяжелые каменные двери открылись. «Видно, это Хозяин гор», — охотник подумал, совсем испугался. Хозяин гор его внутрь горы повел. Пришли они в подземный дворец. На одной его половине много висело шкур соболиных, лисьих и горностаевых, на другой половине грудами лежали блестящие камни. А посредине стоял большой котел, наполненный хмельной водой. Хозяин гор, угостив охотника жгучей водой, взял большой мешок, насыпал в него камней и сказал:

— Этот подарок мой даст тебе силу и славу.

Охотник же глядел на звериные шкуры и думал: «Если бы дал он хоть немного этих мехов, я сразу разбогател бы. Зачем мне камни? Разве камни дают богатство?»

Хозяин гор дал в руки охотнику второй мешок и велел его наполнить мехами. Шор-анчи набил, сколько мог, мешок соболиными шкурками, — на стенах дворца их не убавилось...

— Унесешь ли оба мешка? — Хозяин гор спросил.

— Разве я не мужчина, чтобы не унести — унесу! — ответил охотник.

---

[1] Огонь — в шорском языке женского рода.

— Смотри, мешок с камнями не бросай, камни тебе великую силу дадут, — сказал Хозяин гор и вывел охотника из горы.

«Мне бы одни меха до своего стойбища донести, зачем я эти тяжелые камни буду тащить на себе, разве их мало в горах!» — подумал охотник и по дороге бросил мешок с камнями.

На свою землю придя, охотник пушнину распродал, сразу богатым стал, торговать начал. О мешке с камнями даже не вспомнил, никому о нем не сказал. Сам на охоту ходить отвык — ему приносили свою добычу бедные шор-анчи в уплату долгов. Из охотника он превратился в купца.

Хозяин гор, найдя в тайге мешок с камнями, в горы его унес, глубоко под землей упрятал. По дороге он обронил один камешек.

Однажды бедняк шор-анчи, блуждая в тайге, нашел этот камень. «Такого тяжелого камня мне еще не случалось подымать», — подумал шор-анчи и принес его к своему шалашу. Люди, увидев этот камень, сказали, что его надо испытать огнем. Охотник положил камень в жаркий огонь, из раскаленного камня потекло железо.

Охотник показал железо всем людям тайги. Из него все можно было сделать: и нож, чтобы дерево резать, и котел, чтобы в нем пищу варить, и много других полезных вещей.

Люди пошли искать ту гору, откуда был камень, родивший железо.

Они нашли эту гору и назвали ее Темир-Тау — Железной горой.

С той поры люди, населявшие землю, где находится Темир-Тау, и стали называть себя темир-узы — кузнецами. И свою родословную они будто бы повели от богатыря темир-узы Ак-Гая — Белой скалы, который ковал раскаленное железо одними руками: пальцы левой заменяли ему кузнечные щипцы, а кулак правой — молот.

...В поэтической легенде о Темир-Тау, сложенной народом и передаваемой из уст в уста поколениями, ярко отразились судьба, мечты и думы, живая правда жизни народа, который и сейчас называет себя в песнях темир-узы — кузнецом.

Об этом народе-кузнеце и о железе, которое он добывает и делает, узнали в давние времена русские землепроходцы, смело проникшие в неизведанную еще тогда Сибирь. Край, населенный народом темир-узы, назвали они землей Кузнецкой, основали на ее пороге крепость, город Кузнецк. А сами темир-

узы стали называть этот город Аба-Турой, то есть Отцом-городом. Московский царь Алексей Михайлович в одной из своих грамот, которыми он напутствовал направляемых в Сибирь своих служилых людей, так описывал землю Кузнецкую: «Около Кузнецка, на Кондоме и Мрассе реках, есть горы великие, каменные, и в тех горах емлют кузнецкие ясашные люди камни, кои разжигают на дровах, разбивают молотами, сеют решетом, а просеяв, высыпают в горн, где оные камни сливаются в железо. Из того железа делают кузнецы бехтерды, шеломы, копья, рогатины, сабли и другие железные вещи, кроме пищалей...»

Из века в век, от поколения к поколению передавалось и существовало в этом запрятанном в горах и тайге глухом крае кузнецкое искусство, железоплавильное дело. Судьба же самого маленького народа — кузнеца и охотника — была беспросветно тяжелой и безысходной, как и других малых народов сибирской окраины, изнывавших под гнетом царизма и своих князьков-тунеядцев. Служилые царские люди, сборщики ясака (подати) с кузнецких людей, пронырливые купчишки, пробиравшиеся за наживой в самые глухие углы Сибири, интересовались более не железом, а мягкой рухлядью, как в старину называли меха зверей, в изобилии водившихся тогда в долинах и горных кряжах. И чем дальше, тем больше хирело и угасало кузнецкое, железоплавильное дело, оставались нетронутыми несметные подспудные богатства Темир-Тау — Железной горы. И разоряемый, забитый, страдающий от нужды и повальных болезней маленький народ кузнецов и охотников начал вымирать; в начале нашего века в тайге и горах Кузнецкого Алатау оставалось уже немного больше десяти тысяч коренных жителей. И мог бы исчезнуть с лица земли народ темир-узы — кузнецкие люди, как сгинули в алчных и беспощадных лапах Желтого дьявола — капитала американские индейцы и многие другие малые народы земли, ставшие жертвой капиталистической прибыли и иноземного порабощения. Но на спасение и счастье народа темир-узы, как и всех народов нашей родины, свершилась Великая Октябрьская революция, и над землей Кузнецкой взошло солнце возрождения и новой жизни. Маленький народ кузнецов и охотников стал равноправным сыном и братом в дружной, многоязыкой советской семье народов. Опираясь на могучую руку своего старшего русского брата, он с просветленным радостью и надеждой лицом быстрыми шагами пошел в гору, на вершины

новой, светлой жизни. Свет этой новой жизни упал на Темир-Тау, на сокровенные и неисчислимые богатства земли Кузнецкой. И недра ее начали раскрываться как кладовая драгоценностей. Железо и уголь, золото и минералы, составляющие силу и богатство народа, — все это неисчерпаемыми кладами лежит в недрах Кузнецкого Алатау. Вслед за легендарной Темир-Тау открылись там новые и еще более богатые железные горы и недра. И вновь, но теперь уже неизмеримо громче, на весь мир разнеслась слава о кузнецком железе. В преддверии Кузнецкого Алатау, на берегу реки Томи, поднялся невиданно светлый и чудесный город-завод, сверкающий электрическими огнями и заревами плавок, вздымающийся выше гор и тайги огромными железоплавильными печами и заводскими трубами.

Коренные жители Кузнецкого Алатау издавна называют его в своих песнях Страной Темира — Страной железа...

Был народ темир-узы с давних пор обладателем и еще одного богатства, владел искусством, которое, так же как кузнецкое дело, передавалось из века в век, от поколения к поколению.

Шорскую народную легенду о Темир-Тау мне пересказал один геолог-изыскатель, проживший несколько лет в горах и тайге Кузнецкого Алатау. Он восторженно отзывался о поэтических богатствах Страны Темира.

— Песни и сказки там звучат везде, — увлеченно рассказывал геолог, — столько сказочников и песенников едва ли живет где-нибудь еще...

Мне и раньше доводилось уже слышать о поэтических шорских ныбак и сарыны — так называют там народные сказки и песни. И вот захотелось мне самому побывать в этом удивительном крае, послушать песни и легенды, которые поет этот народ, и самые интересные из них записать, чтобы и другие любители народного слова могли с ними познакомиться. Люди, побывавшие в этом краю, торопили меня:

— И надо скорее записывать, а то старики умирают и с ними легенды уходят. Впрочем, создаются новые, и молодые новые песни поют; в жизни там много интересного и необычайного...

Около двух десятков лет назад началось мое путешествие по горам, рекам и тайге Страны Темира. Отправился я туда за народными песнями и сказками. Вскоре набралось у меня столько чудесных ныбак и сарыны, рассказанных и спетых

людьми этого края, что можно было составить не одну книгу. Но уже на первых шагах своего пути по этому малоизведанному краю увидел я в его жизни столько нового и увлекательного, встретил столько хороших людей, что не мог умолчать о них.

Живая жизнь, живая природа оказались не менее яркими и поэтичными, чем фантастические, рожденные вековой мечтой народа сказочные картины. Живые люди, встреченные в этой стране, поражали не менее, чем герои-богатыри из старинных народных сказаний.

О самом этом крае, навсегда полюбившемся и постоянно влекущем к себе, о встреченных на этой земле и ставших надолго друзьями и товарищами людях и захотелось мне прежде всего рассказать.

За минувшие годы еще не раз довелось мне побывать в Стране Темира, но, и находясь вдали от нее, я был постоянно связан с нею и мысленно продолжал свое путешествие.

Так год за годом и складывалась эта книга...

ВОРОТА В СТРАНУ ТЕМИРА



ОГНИ КУЗБАССА



Ночью поезд свернул с великой транссибирской магистрали и пошел на юго-восток — в Кузбасс.

Убаюканный покачиванием вагона и мерным постукиванием колес, я заснул.

Внезапно разбудил меня раздавшийся за полуоткрытым окном вагона глуховатый могучий рев, от которого задрожало все вокруг. Я выглянул в окно. Мимо, хлестнув горячим, пахнущим машинным маслом воздухом, грохоча, промчался встречный поезд. Я успел лишь заметить, как над первым вагоном встречного взвилась большая голубая молния и крупные искры рассыпались вдоль поезда...

Наш состав мчался вдвое быстрее, чем прежде, и в скорости этой была стремительная плавность, как будто он скользил вниз по наклонной ровной плоскости или плыл по быстрой реке. Постукивание колес на стыках превратилось теперь в сплошной и ровный гул.

В голубоватой дымке летнего рассвета непрерывной цепью сияли далекие и близкие огни. Поезд шел мимо шахт и новостроек Прокопьевска.

Здесь я бывал не раз на руднике, составляющем гордость и славу угольного Кузбасса. Не раз опускался в шахты, где штреки похожи на высокие, просторные туннели, залитые электрическим светом. По ним

с грохотом мчатся электропоезда, груженные замечательным прокопьевским углем, дающим лучший в мире кокс для домен и мартенов. В длинных лавах, глухо перекатываясь по земным недрам и ударяя в лицо волной упругого воздуха, гремят взрывы, выворачивая из двадцатиметровой толщины пластов тысячи тонн сверкающего искорками серебристого угля. В забоях, как в жарком сражении, со всех сторон грохочет пулеметная дробь отбойных молотков, и шахтеры, припав к рукояткам, вонзают острые стальные их жала в пласт, отваливая огромные маслянистые глыбы угля. По бесконечным конвейерам из недр земных непрерывно течет на-гора сверкающая угольная река, черным гулким водопадом низвергается с высоких эстакад в гулкие железные хоппера угольных эшелонов.

Поезд промчался мимо высокого белого дворца — наземного здания новой и крупнейшей в Кузбассе шахты. Жемчужиной молодого угольного бассейна называют эту красавицу шахту кузбасские горняки. На высоком металлическом копре рубиновым светом горела пятиконечная звезда — знак победы и первенства шахты во всекузбасском социалистическом соревновании шахтеров.

После темноты глухих, спящих селений и станций, которые мы миновали ночью, сейчас дорога, казалось, повернула в какое-то волшебное царство, в котором не угасая горели вечные огни и люди не знали разницы между днем и ночью. Города, проплывающие перед нами, в этот предрассветный час жили так же, как днем.

Здесь на земле, под землей кипит работа. Отсюда непрерывной лавой по всей стране течет кузбасский уголь.

Как мне объяснил проводник, станцию Белово, от которой начинается новая дорога, ведущая в города угля и железа, наш поезд прошел ночью. Вместо силы пара поезд ведет сила электричества; мощным потоком она струится по проводам, протянутым над железнодорожным полотном на высоких ажурных мачтах. Па-

ровоз исчез, вместо него в голове поезда мчится могучий бесшумный электровоз «Владимир Ленин», развивая скорость, какой не знают даже гиганты «ФД». Электровоз и разбудил меня приглушенным, низким ревом сирены.

Электромагистраль сверкающей линией пересекала Кузбасс и вела в Кузнецк. О таких дорогах мечтал Ленин. Его рукой были нечерчены на картах линии будущих магистралей, по которым помчатся электроэкспрессы от Балтики до Тихого океана. Именем Ленина и названа чудесная машина, созданная на наших советских заводах.

Встречные поезда шли почти друг за другом — тяжелые грохочущие составы хопперов, платформ, красных товарников, груженных пепельно-серебристым коксом, жирно-черным углем, рельсами, золотистыми штабелями леса, продолговатыми многотонными слитками чугуна и стали.

Богатства текли широким потоком из Страны Темира. А по сторонам сверкали, трепетали, переливались бесчисленные огни, розовели зарева.

Поезд подходил к Сталинску, и невольное волнение охватило меня. Я не был в этом городе с тех пор, когда только закладывался завод, рылись первые котлованы и строились тепляки...

Там, где сейчас стоит завод, была деревня Бессоново; я видел, как ее сносили, когда в кузнецкую котловину пришли планировщики и строители. На противоположном берегу Томи лежал старинный, глуховатый Кузнецк, сибирский острожный городок с каменной тюрьмой, разрушенной во время гражданской войны церковью на площади и старыми, почерневшими от времени и осевшими в землю деревянными домиками. По этим улицам когда-то бродил в задумчивости и тоске сутуловатый прапорщик из ссыльных — писатель Федор Михайлович Достоевский.

Здесь Валериан Куйбышев, сын тихого и добродушного кузнецкого военачальника, глазами, полными детских жалостливых и гневных слез, видел, как под завывание пурги молчаливой толпой брели по тракту

колодники, пригнанные из далекой России. В маленьком музее Кузнецка ржавой грудой лежат кандалы, сделанные когда-то из кузнецкого железа и перебывавшие на руках и ногах многих каторжан. И здесь же хранится пила кузнецкой поделки, которой колчаковцы распиливали живых красногвардейцев.

На горе, у подножия которой разбросался старый Кузнецк, сохранились остатки древней крепости, более трехсот лет назад возведенной русскими служилыми людьми и названной шорцами Аба-Турой — Отцом-городом... От крепости оставались только развалины каменных стен с причудливыми башенками и бойницами, крест над воротами, остов острожной церковки да несколько старинных чугунных пушчонок, которые потом свезли в музей...

Поезд промчался по глубокой выемке и стремительно завернул влево. И вдруг распахнулась перед глазами вся кузнецкая долина. Город лежал в кольце гор, на горизонте чернела, как свежевспаханная земля, кайма шорской тайги, синели отроги Кузнецкого Алатау.

Быстро приближался и увеличивался завод. Чуть курились белым дымком свечи доменных печей, под облака высились цилиндры кауперов и трубы. Над коксовыми батареями взыграло рыжее неистовое пламя, и видно стало, как из печей пополз золотистый, знойный кокс.

Завод напоминал огромный корабль. Казалось, он, дымя всеми своими трубами, сверкая гирляндами огней, плывет сквозь рассвет среди синих взгорий навстречу нашему поезду.

В этом царстве железа и огня игрушечными выглядели вагонетки, скользящие по подвесным дорогам и эстакадам, ажурные стрелы кранов, паровозы, снующие у подножия домен и по мостам, соединяющим цехи. Невидимые издали, там работали люди — мастера, чьим рукам покорны огонь и железо, весь гигантский завод...

Россыпями еще не погасших ночных огней раскинулся вокруг завода город — по взгорьям, по берегам Томи, серебристой лентой опоясавшей долину...

ПОЭМА НАШЕЙ ЮНОСТИ

Теперь вы уже немолодые люди, мои товарищи и ровесники, те, что в морозную зиму тридцатого года пришли сюда — в пустынную, заснеженную кузнецкую котловину — строить будущее. Бывшие кузнецкстроевские землекопы, арматурщики, трубоклады, такелажники и клепальщики, вы теперь стали мастерами, инженерами, учеными, деятелями нашего государства, но вы, наверное, не забыли той суровой и вместе с тем такой горячей зимы.

...Эшелон за эшелоном прибывали в Кузнецк добровольцы комсомола, будущие строители, парни и девчата из сел и городов Сибири, Поволжья, из Москвы и Ленинграда.

Прямо из теплушек поезда, увязая в снегу, стараясь песней перекричать рев бурана, мы направились в отведенное нашей группе жилье. Это был дощатый, с насыпными стенами барак, без крыши, с незастекленными окнами и сосновыми нарами в два яруса...

Мы быстро утеплили этот барак: наделали матов из соломы, покрыли ими стены и потолок, заделали окна и затопили углем железные печи. Но, пожалуй, тепло нам все-таки было оттого, что нас было много и мы очень молоды и дружны.

А в сумеречное морозное утро мы уже рыли котлован под первую домну, объявив ее комсомольской. Земля в ту зиму от морозов сделалась тверже камня и не поддавалась даже динамиту. Мы оттаивали ее кострами, попутно отогревая возле них свои коченеющие руки, и водой, которую кипятили в железных бочках из-под горючего наши девчата.

...В тот год поэт Владимир Маяковский написал о Кузнецкстрое такие хорошие и гордые стихи, что мы и сейчас любим их повторять. Это были стихи о городе-саде, которого еще не было на земле, но который уже существовал в просторной мечте поэта и в скромных думах тех людей, которые по воле партии пришли строить завод.

Прочитал стихотворение Маяковского строителям

один наш паренек-арматурщик в дни, когда готовилось бетонное основание под первую домну. Стужа стояла такая, что бетонщики не успевали замесить бетон, как он превращался в камень, но каменщики все-таки заложили фундамент. Буран норовил смахнуть с лесов плотников, строивших тепляки над будущими цехами, мороз так прокаливал железо, что к нему примерзали ладони арматурщиков, но плотники все выше поднимали строительные леса, арматурщики гнули железные прутья и плели из них каркасы цехов. Когда товарищи по бригаде начинали очень жаловаться на мороз, арматурщик-комсомолец Володя застуженным голосом выкрикивал стихи Маяковского:

Сливеют
губы
с холода,
Но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»

Стихи очень действовали...

Однажды этому же пареньку, ставшему уже монтажником на строительстве каупера, пришлось при сорокаградусном морозе работать на высоте пятидесяти метров, на мачте. Ветер сдернул с него шапку, а рукавицы он сбросил сам, чтоб не мешали ему в тонкой работе. Когда монтажник спустился с высоты с обмороженным лицом и одеревенелыми руками и товарищи стали его жалеть, он разжал белые, обветренные губы и прошептал:

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть...

Потом рассказывали, что в день первой плавки чугуна комсомольской домны он так разволновался, что

сам первый раз в жизни написал стихи, да такие, что все стали его считать поэтом. Но он поехал учиться в Промышленную академию, решил стать инженером.

Город-сад!

Вот я иду по широкому проспекту Энтузиастов, смотрю на высокие, еще не все оштукатуренные дома, вижу на красных кирпичных стенах полусмытые дождями белые буквы в сажень высотой, когда-то намалеванные той самой известью, которая шла на стройку этих домов, и читаю: «Комсомольцы, ни шагу с лесов стройки, досрочно построим комсомольский каупер!» В этом доме, одном из первых в городе-саде, жили строители завода — ребята, которые теперь стали старожилами города и ветеранами завода. Они написали известью когда-то, в дни своей юности, этот лозунг, и теперь он напоминает им о горячей поре молодости...

Город-сад.

Первые его жилые кварталы возводились по несовершенным, торопливо составленным проектам. В качестве консультантов при этом подвизались представители заграничных фирм. Строились огромные корпуса-коробки казарменно угрюмого вида,— это выдавалось специалистами за последнее слово зодчества.

В один из весенних дней тридцать четвертого года по кварталам соцгорода проходил в сопровождении строителей седой человек в очках, с белой бородкой клинышком,— человек, знакомый каждому в нашей стране и как-то по-особому родной всем и всеми любимый. На заводе он подолгу и задушевно разговаривал с рабочими в цехах, сам старый металлист, вспоминал свою работу на старых заводах, сравнивая их с тем, что воздвигнуто здесь, в Кузнецке. По-стариковски опираясь на тросточку, он потихоньку шел по улицам, вглядываясь из-под очков в кирпичные громады соцгорода. Он молчал и все больше хмурился. Остановившись против не достроенного еще дома, он спросил:

— Кто будет жить в этом доме?

— Тут, Михаил Иванович, мы поселим наших инженеров и стахановцев, — ответил начальник строительства, еще не понимая, к чему клонится вопрос.

— Значит, лучшие люди завода будут жить? И что же, они с радостью сюда въедут?

— Ждут не дождутся, когда кончим дом. Сами приходят помогать строителям.

Михаил Иванович еще больше нахмурился и, задумчиво помолчав, сурово заговорил:

— Нет, товарищи, так не годится, нельзя так продолжать строить город. Ведь это же социалистический город, а не какой-нибудь фордовский Детройт. Вот и улица называется — проспект Энтузиастов, улица героев стройки, героев стахановских плавок, улица, где должны жить наши замечательные люди, энтузиасты. А разве вызовет у них в душе радость и гордость победителя вот такое угрюмое, казенное здание, в котором они должны жить, отдыхать после горячего, радостного труда в цехе?.. Нет, так не годится... Дома должны быть светлы, красивы, величественны, вызывать в человеке светлое чувство, ведь ради этого мы так работаем. Это должен быть город-сад, город молодости. Надо и строить и оформлять его вдохновенно, с любовью!..

Строители и сами уже понимали, что соцгород должен быть не таким. И слова Михаила Ивановича Калинина прозвучали для них как горячий призыв к действию. Уже построенные дома преображались, благоустраивались, новые дома поднимались, радуя глаз красотою и разнообразием архитектурных форм.

...Вдоль самого красивого и просторного проспекта, начиная от Дворца металлургов, ровными рядами высятся бархатно-зеленые, стройные ели. Неужели в этом городе и деревья выросли так быстро, как дома, как домны и трубы? Ведь проспекту несколько лет...

Они уже были высокими и стройными, когда люди начали строить этот город. Люди хотели, чтобы он сразу стал красивым и зеленым. Они не стали ждать, когда вырастут саженцы — топольки и акации, пошли

в тайгу, выкопали деревья с корнями и землей, бережно перевезли на грузовиках в город и расставили вдоль улицы, которой еще не было. И ели стали расти, как в тайге. Им совсем неплохо в соседстве с домнами, от которых всегда набегает теплый ветер.

У города уже есть и настоящий сад на сотнях гектаров — в нескольких километрах от завода. Там сами доменщики, сталевары, прокатчики в дни своего отдыха разбили красивые прямые аллеи, посадили фруктовые деревца и ягодные кусты. И в саду уже вызревают мичуринские пепины-шафранные, и ранеты, и полукилограммовые антоновки, и сахаристые румяные груши...

Я перехожу по мосту через реку Абушку, и речка своим тихим голосом мне рассказывает:

«Я бежала там, где сейчас стоят домны, я мешала строителям. Они приготовили мне другое русло, по бетонной трубе меня вывели из болота, и вот, видишь, я теперь никому не мешаю. А скоро мои новые берега оденут в камень, посадят деревья, и люди будут гулять по моей набережной».

В этом молодом городе и дома, и улицы, и деревья, и даже камни умеют рассказывать о себе и о людях.

Вот перед дворцом металлургов, в сквере, в свежей зелени виден фонтан —красивое сооружение из камня и бетона: фигуры двух обнаженных до пояса рабочих вращают буровой ворот над скважиной, из которой бьет главная струя фонтана. Из венчиков каменных лилий, из клювов каменных птиц извергаются радужные струи воды, с хрустальным звоном падают на лепные украшения затейливо изогнутых стоков и в чашу каменного бассейна. Проект и модель этого фонтана изготовил один старый сибирский скульптор, по ним надо было воздвигнуть это большое, сложное и искусное сооружение. Мастеров такого рода на стройке не оказалось, за дело взялись обыкновенные каменщики и водопроводчики. И был среди них штукатур Федя Кудрин, он очень загорелся этой работой, хотя никогда ничего не лепил и не высекал. Но человек раскрывается в работе. А у Феди оказались золотые ру-

ки и талант ваятеля. Он дни и ночи вдохновенно работал над созданием фонтана, и с каждым часом его рука обретала мастерство, угадывая формы и линии, какие дано понимать только художнику. Строители, проходя мимо, любовались его работой и радовались, что их город-сад украшается. А Федя Кудрин, построив фонтан, нашел свое призвание и на всю жизнь полюбил искусство. Он вскоре поехал учиться в Академию художеств, куда его направил город, который он строил и украшал...

Я иду по улице, на которой еще сохранились побеленные низкие бараки-времянки, построенные в те годы, когда не было ни проспекта Энтузиастов, ни проспекта имени Кирова. Расползались в разные стороны беспорядочные улицы из таких вот бараков, в которых жила многотысячная семья строителей завода. Эти бараки доживают свой недолгий, но славный век. Жители их постепенно переезжают в новые, высокие и светлые дома на проспекте Энтузиастов и на других новых улицах. А бараки сносят один за другим и на их месте строят многоэтажные красивые дома. И скоро бараков совсем не останется в чудесном соцгороде. Конечно, никто не жалеет об этом, но все-таки хорошо бы оставить один или два барака — пусть они напоминают жителям города-сада о далеких уже годах, овеянных славой великого героизма строителей, о светлой и суровой нашей юности и о юности самого города...

НА ПЛОЩАДИ ПОБЕД

Подобно тому как бесчисленные распыленные частицы железа стягиваются к мощному магниту, так в этом городе вся жизнь, все движение сосредоточивается на огромной площади, гордо названной Площадью Побед.

Как горная гряда возвышаются над площадью домны-великаны, цилиндры кауперов, лес нацеленных в небо труб, высокая бетонная эстакада, по которой снуют заводские поезда. Поднимаются над цехами ды-

мы, багрово-золотистые зарницы плавок, серебристые клубы пара. Стрельчатые облака летят над вершинами завода. А в глубине, за заводом, голубеют отроги Алатау, темнеет по горизонту тайга.

В центре Площади Побед густо разросся молодой сквер — тенистые аллейки из тополей и акации, фигурные цветники, а возле них широкие скамьи. Металлурги любят это место. Хорошо здесь встретиться утром, перед работой, с друзьями и товарищами по цеху или бригаде, приятно по выходе из горячего цеха немножко посидеть в тени молодых деревьев, подышать цветочной свежестью.

С противоположной заводу стороны на площадь выступает величавый фасад театра. Большие афиши у театрального подъезда оповещают зрителей о том, что сегодня в театре идет чеховский «Вишневый сад», а завтра состоится концерт приехавшего из столицы народного артиста — знаменитого оперного певца.

В часы смены под мощный рокот заводского гудка через Площадь Побед к заводу устремляется поток металлургов, спешащих в цехи, а спустя некоторое время встречный людской поток от завода с площади растекается по улицам города.

Металлург проходит мимо высоких щитов, на которые боевым языком каждодневных сводок и «молний» из цехов вписываются победы и неудачи, ведется великая трудовая летопись завода. На щитах написаны имена людей, прославивших себя трудом, имена мастеров рекордных плавок, героев проката.

Щедро освещенная закатным солнцем, наполовину опустившимся за горные вершины, раскрылась передо мною величественная Площадь Побед.

Присев на одну из скамеек в сквере, я раскрыл свою путевую тетрадь — кое-что записать из многого, что увидел в этот день, что взволнованно просилось на бумагу. Углубленный в записи, я не заметил, как кто-то присел на другом конце скамьи, но услышал шумное дыхание и натужное покашливание.

— Ты погляди, что он делает, чертов сын, а! — раздался вдруг болезненно-скрипучий тенорок соседа.— Ишь как гонит хвост к небу!.. Дурень, эх, ду-

рень, ведь тебе ж подины ненадолго хватит, ты ее мигом спалишь, торопыга... Вот погоди, выйду я, так носом натычу в такую работку...

Я повернулся, почему-то приняв это ворчание на свой счет. На скамье сидел могутный старый человек в хорошем, видать не часто надеванном, синем шевиотовом костюме, в коричневой сатиновой косоворотке. По характерной глянцевитой красноте крупного, крутолобого, изрезанного глубокими складками лица нетрудно было угадать в нем человека, немало поработавшего возле раскаленного металла. Скинув кепку и опершись на толстую палку огромными ладонями, он раздраженно распекал кого-то невидимого — и странно не вязался скрипучий тенорок с его могучей фигурой. Глаза его были устремлены вверх, на вершины труб мартеновского цеха.

— Гляди, сколько смолы в печь нагнал, какую жару пустил! А для чего, я тебя спрашиваю, а? — продолжал ворчать старикан.— Ишь какой флаг над трубой поднял! Эх ты лихорадка, Сашка, чистая лихорадка...

Я поглядел туда же, куда смотрел мой сосед, — на ровно и спокойно дымившиеся трубы мартенов. Над одной из них действительно, будто багровый флаг в синем небе, взлетел язык пламени. Это, очевидно, и вызвало гнев старика.

Лицо соседа показалось мне знакомым, где-то я уже видел этого человека. Не отрывая взгляда от труб, он ощупью вытащил из кармана коробку папирос, спички, закурил и закашлялся от дыма. Почувствовав на себе мой взгляд, он повернулся ко мне и, кивнув на мою тетрадь, тем же раздраженным тоном строго спросил:

— Из газетки?

Я не понял вопроса, поглядел в свою тетрадь.

— Из газеты, что ли, будешь? — сердито переспросил он. — Ну, корреспондент, что ли?

Я в свою очередь спросил, почему он решил, что я корреспондент.

— Похож. В цехе у нас почти каждоденно бы-

вают то из нашей газеты, а то и из московских, мы уж привыкли.

Пришлось назвать себя и сказать, зачем приехал.

— Ну, вижу, что из них, — уже добродушней сказал он. — Тогда что ж ты со сторонки смотришь, ты в цехи иди, все посмотри, познакомься толком, с людьми поговори, посоветуйся, что писать будешь... А то ведь бывает, что вы с наскоку такое напишете, что срамота людям бывает, читать один смех с вас... Вот недавно был у нас один из областной. Покрутился в цехе, мне и другим разные вопросы задавал, в книжечку записывал — и укатил. А вскорости приходит ко мне секретарь парткома с газетой, смеется, говорит: «Ну, Антон Дементьевич, поздравляю, описали тебя здорово. Видать, ты в ту ночь, как у вас тут был корреспондент, устроил ему красивую картину, вон как расписано...» А он, из газеты-то, про мои печи такое написал: «Трубы мартенов, как факелы, пылали во мраке ночи». Для него это красота, а мне — позор на весь завод. Если огонь из труб хлещет, так что это значит? Это значит, что ход печи ни к черту, мастер и сталевар температуру в печи не умеют регулировать, нахрапом работают, вон как сейчас Сашка гонит, — Антон Дементьевич кивнул на трубу мартена, которую перед этим рассматривал. — А тогда и не было такого, я же сам плавку вел. Писака этот прибрехнул для красоты, а мне конфуз. Я опровержение послал в газету. Не напечатали, видать своих в обиду не дают...

Когда он упомянул свое имя и отчество, стало понятно, что я сижу рядом со старым, прославленным обер-мастером сталеваром. Его портрет я не раз встречал в газетах, а полчаса назад рассматривал на заводской Доске почета среди самых знатных людей города. За могучими плечами старого мастера значились десятки лет работы у мартенов Юзовки, откуда он приехал сюда в дни пуска завода. Он наваривал подины первых сталеплавильных печей молодого завода. На мой вопрос, почему Антон Дементьевич сегодня не в цехе, обер-мастер ворчливо ответил:

— Вроде как на отдыхе... По бюллетню третий день. Первый раз в жизни... Чего-то одышка стала

одолевать, видать шесть десятков моих годов в расчет пошли... Конечно, около сорока лет у печей даром не прошло. Сыновья все уговаривают меня: пора, мол, папаша, на отдых, поберечь-де себя надо. Пенсия-то мне уже давно идет, выслужил, начисляют без спросу. Младший мой — Санька с ножом к горлу: сиди, дескать, батька, дома, отдыхай. Старуха — тоже. Сыновья, мол, выросли, в люди вышли, могут теперь нашу старость обеспечить. А того не понимают, что мне этого нельзя, не могу я без печей, без стали. Сталевар у своей печи жизнь живет, его душа в плавке. Около печи он и кончину свою должен встречать, — так я считаю...

Антон Дементьевич снова закурил, покашлял и призадумался, опустив большую седую голову. Разговор, видно, коснулся дум, которые все чаще стали одолевать старого мастера. Из бокового кармана выходного пиджака высовывалось синее стекло, оправленное медью, через какое сталевары и доменщики смотрят на знойное пламя плавки. Мастер, перехватив мой взгляд, заправил стекло в карман и смущенно усмехнулся.

— Спецовку мою Лукерья Дмитриевна заперла, опасается, как бы я до сроку в цех не сиганул. А стеклышко я утаил на случай. Да и привычка — при себе иметь. Может, мне спешно к печам понадобится прибыть. Цех-то без меня, братец мой, еще не обойдется, глаз мой нужен. И у самого беспокойство и за плавку и за печь. Мастера-то еще у меня молодые, а сталевары вон вроде Сашки, — обер-мастер опять кивнул на провинную трубу мартена, — молодые, торопыги, все больше надо, быстрее, за ними еще догляд нужен. Завтра, однако, придется все-таки на вторую печь заглянуть, подина там меня беспокоит, а этот торопыга и подпалить ее может, садкой еще владеет слабовато, газ гонит сильно... Сам видишь, мартены-то у нас такие, что управляться с ними надо с большим знанием и толком. На каждой плавке учиться приходится, каждый день работать лучше, чем вчера, иначе отставать начнешь... Таких печей, как у нас да еще на Магнитке, если хочешь знать, во всем мире немного. Конечно, в Америке есть равные по габариту, по мас-

штабу. Но чтобы работали они так же, как наши, — этого, думаю, там нет. И не может быть...

Видимо коснувшись еще одной из своих важных стариковских дум, Антон Дементьевич замолчал, глядя на корпуса и трубы мартеновского цеха. Попыхав папиросой и покашляв после глубокой затяжки, он продолжал свои размышления вслух:

— Наверное, сам знаешь, что когда наше правительство надумало строить гиганты на Магнитке и в Кузнецке, то американцы нам свой технический опыт стали предлагать, конечно за большую деньгу. Заводов таких у нас в России еще не бывало, не строили, ну и решили ихним, американским, опытом попользоваться, чтоб на нем наши инженеры, специалисты поучились. Над проектами заводов работали совместно с американскими фирмами наши инженеры. Слыхал, поди, про Ивана Павловича Бардина — тоже наш юзовский, он больше по доменному делу специалист... Ну вот, по американскому проекту и строились наши мартены, и американские спецы вместе с нашими завод пускали. Я тут еще захватил некоторых из этих американцев. Конечно, для нас такие большие мартены были в диковину, да и сами американцы у себя таких гигантских сталеплавильных цехов еще, наверное, не строили. Сразу-то и работать на таких махинах было страшновато, но, однако ж, перед иностранцами мы сразу нашу советскую, русскую хватку в работе показали. Еще при них, при американских спецах, перешли мы через ихние проектные нормы и плавку варить стали намного быстрее, чем по проекту назначено. Словом, начали по-настоящему дело осваивать, технику оседлывать. Американцам это не понравилось, как пределы ихние мы переступили, они на нас руками замахали: дескать, пережжете печи за один год. Потом видят: ничего, идут печи в порядке, да еще кампанию свою печь растягивает на полтораста-двести плавок. А американцы считали, что после полсотни плавок надо всю кладку обновлять... Ну, насчет наварки подины им далеко до нас. У меня, скажем, свой прием есть, какого даже ихним инженерам не ведомо, — наш русский прием и догадка. Был тут у нас

инженер мистер Вэйл, так он мне все говорил: «Печь дает металла гораздо больше, чем ей полагается по техническим законам. Что же вам еще нужно? Вы очень старый мастер. Разве вы не понимаете, что печь больше этого не может, нельзя ее насиловать больше? Вы старый сталевар, должны уважать печь». А разве ж мы ее не уважаем? Я так полагаю — что никто так, как русский сталевар или, скажем, доменщик, на свете не любит свою печь, он с нею своим характером сливается на всю жизнь. Я, скажем, когда сюда с Юзовки уезжал, то со своими печами вроде как с дочерями прощался... Тут я сразу увидел, какие большие дела на этих новых печах можно делать. Конечно, не все сразу удалось. Такую нагрузку, какую мы начали задавать печам, сначала подины не долго выдерживали, помучились мы с ними. Ну, своего я добился, так стал наваривать подину, что она без ремонта до двухсот плавок выдерживает и ни капли металла в под не уйдет. Тогда мистер Вэйл, как только я за наварку берусь, все около меня похаживает, приглядывается. Но мой секрет ему разгадать не под силу. А сказать по правде, так и секрета никакого нет, русская работа, наша советская ухватка. Она, конечно, мистеру непонятна, другая природа... Вот наши молодые — еще опыта у них нет, но схватывают сразу. Когда даже и самому дивно станет. Я в старые времена за мастером во все глаза смотрел, каждое словечко ловил, хотел выучиться. Мастера, конечно, строгие были, молодых не очень к своему делу допускали. Я на своем горбу сколько тысяч пудов чугуна перетаскал — печи на Юзе загружались вручную, — пока мне мастер в глазок печи глянуть дозволил. Можно так сказать — мы своей хребтиной эту науку варки добывали. А сейчас что... Он молодой, ты его учи, да он еще и обидится, если не так ласково объясняешь. Вон Сашка из землекопов к мартену пришел, деревенский, но парень со сметкой и любовью к металлу. Так он уже сталевар. И далеко пойдет, талант есть у человека, хотя по молодости еще и срывается. Торопыга, к рекорду рвется...

Я понял, что обер-мастер снова говорит о Сашке-

сталеваре, которого он распекал в начале разговора. В ворчливом тоне старика слышались такие ласковые, отеческие ноты, что сначала я подумал, не приходится ли этот Сашка ему сыном.

— Учеников у меня в цехе много, а это первый из них, хоть и с норовом парень. Но у сталевара и должен быть характер, его характером печь живет, и в металл он идет... Ну вот, как же я могу из цеха уходить, если должен еще заместо себя у печей настоящую смену оставить?.. — Обер-мастер опять вернулся к волновавшей его думе о близком, видать, уходе своем от печей.

Солнце уже давно закатилось, и на завод опустились синие летние сумерки. И ярче засверкали всюду огни, жарче заиграли зарницы над цехами — на второй домне, должно быть, начался выпуск чугуна, — голубым холодным пламенем вспыхнул где-то в цехах автоген, дымки над трубами мартенов стали розовыми, светящимися. И еще величественней выглядел теперь завод. Огромными силуэтами вздымались в небо домны, кауперы, осыпанные огнями. Небесные звезды смешались с земными, электрическими. Прогудел заводской гудок, покрыв своим густым басом все заводские шумы.

На Площади Побед стало светло, как днем. Через площадь к заводу устремился с разных сторон людской поток — вечерняя смена металлургов. Многие, проходя мимо, почтительно здоровались с обер-мастером и справлялись о его здоровье. Антон Дементьевич отвечал:

— Здоров, здоров, чего мне сделается...

Но, видно, не легко ему было провожать на завод людей, сидя бездельно на скамеечке в сквере, одетым в праздничный костюм... Он поднялся, собираясь уйти. И заметней стало, какой тяжелой глыбой лежат на его широких плечах сорок лет труда у раскаленных печей. С легким крехтом расправил он затекшую спину и тяжело оперся на свою палку.

В эту минуту к нам подошла группа людей — возвращавшихся с завода рабочих, видимо издалека заметивших великана мастера. Это были сталевары, под-

ручные с печей Антона Дементьевича. Они шумно, наперебой здоровались с обер-мастером. Антон Дементьевич, не отвечая на приветствия, сразу напустился на сухощавого паренька в брезентовой спецовке, в кепке с огромным козырьком, на котором укреплены темные очки.

— Сашка, ты это что же сегодня творил, а? — тенорок старика поднялся на высокую ноту. — Ты как смолу в печь подавал, а? Опять свод перегрел, опять режим нарушил! Сколько тебя, торопыгу, надо учить?!

— Антон Дементьич, я же...

— Молчи, слушай, что говорят, — еще больше распалился старик. — Знаю я, что ты задумал, скоростную плавку задумал, к рекорду рвешься, да не с того конца начинаешь... Еще нос не дорос до рекорда. Одна лихорадка, ничего боле...

Сталевары стояли примолкшие. Но видел я, как под козырьком у Саши задиристо сверкнули светлые глаза, когда старик больно хлестнул его обидными словами. Правая рука парня вцепилась в пуговку на вороте спецовки, и мне показалось, что сейчас паренек что-нибудь сдерзит старику. Но он только опустил голову, так что козырек совсем скрыл его лицо. А обер-мастер продолжал его пробирать, не скупясь на резкие словечки.

— Производственное совещание,— усмехаясь, шепнул стоявший поблизости от меня паренек. — Сейчас отойдет Дементьич...

А обер-мастер и в самом деле внезапно умолк, полез в карман за папиросами и сердито совал раскрытую коробку сталеварам, в том числе и Саше.

— Завтра вот приду, погляжу, что у тебя с подом,— уже мирно говорил старик. — И если увижу, что попортил хоть малость, от печи погоню, помяни мое слово... Ну, айдате по домам.

Антон Дементьевич вспомнил обо мне, повернулся:

— Если чего писать про наш цех надумаешь, так мне или кому из наших почитай, чтоб каких промашек не было. И в цехе побывай, приглядись к людям, к работе.

Обер-мастер сунул мне огромную горячую ладонь и легонько стиснул в ней мою руку.

— Пошли! — скомандовал он сталеварам.

Паренек, сказавший о производственном совещании, чуть приотстал. Видимо узнав, что я из газеты, он решил дать мне, так сказать, объективную информацию.

— Я комсомольский группорг, — деловито сообщил он. — Тут мы все почти комсомольцы. Саша тоже комсомолец. Антон Дементьич его любит больше всех, потому и напускается так. Сашка задался целью скоростные плавки давать. Антон Дементьич сам его к тому готовит, но хочет, чтоб постепенно, наверняка. А Саша рвет, вот он и сердится.

Мы шли с комсоргом позади Антона Дементьевича, о чем-то тихонько разговаривавшего с Сашей. Старик свернул в переулок, и его высокая фигура потонула в темноте. Саша присоединился к нам.

— Послезавтра собирается выйти, — сказал он, кивнув в сторону ушедшего старика. — Думает скоростную готовить.

Саша сбил кепку на затылок, тихо засмеялся:

— Честное слово, дадим скоростную!

Молодые сталевары попрощались со мной и пошли дальше.

Мне пора было возвращаться на станцию — поезд на Темир-Тау отправлялся в полночь.

Но встреча и разговор на Площади Побед так разожгли любопытство, что я решил задержаться на несколько дней, непременно побывать на заводе, в мартеновском цехе, и поглядеть на работу моих новых знакомых — сталеваров.

Сказки и песни, за которыми я ехал в горы и тайгу, влекли меня и сейчас, но ведь они от меня никуда не уйдут. А уехать отсюда, не побывав в горячих цехах, не увидев того, как рождается знаменитая кузнецкая сталь, я уже не мог. Это, конечно, будет не менее интересно, чем легенда о Железной горе.

Как мне советовал Антон Дементьевич, я пошел в заводской комитет комсомола, чтобы попросить содействия в получении пропуска на завод.

В комсомольском комитете, как, вероятно, и вообще в этом городе-заводе, жизнь, по-видимому, кипела круглосуточно. Несмотря на вечерний час, в комитете было людно и шумно — шло какое-то горячее совещание, судя по всему, с комсомольцами из отработавшей уже смены. Большинство ребят и девушек были одеты в синие рабочие спецовки и комбинезоны, их лица не отошли еще от жаркой красноты, вызванной недавней работой в горячем цехе.

Мне пришлось дожидаться перерыва. Секретарь комитета, худощавый молодой человек с озабоченным высоколобым лицом, на которое то и дело сваливались пряди черных непокорных волос, быстро прочитав мои документы и выслушав просьбу, деловито откинул со лба волосы и обратился не ко мне, а к одному из сидевших напротив него комсомольцев, что-то записывавшему в блокнот.

— Володя, вот товарищ тоже из печати... Хочет побывать в цехах, надо это устроить.

— Пожалуйста, — ответил тот, торопливо дописывая страничку блокнота. — Я сейчас.

— Товарищ Соболева, — сказал секретарь девушке, видимо своей помощнице, сидевшей за отдельным столиком, заваленным папками, бумагами, — дайте на товарища заявку в бюро пропусков.

И только после этого секретарь комитета комсомола обратился ко мне.

— А в Дворце металлургов, в нашем Доме техники еще не был? — спросил он строговато. — Обязательно зайди — весь завод наш увидишь как на ладошке. С этого и надо начинать.

— На заводе лучше начинать с доменного цеха,— присоединился к разговору Володя. — Увидишь, как из руды и кокса выплавляется чугун, а уж потом из чугуна варится сталь... На стройке домен, между прочим, здорово работали комсомольцы, молодежь. И сейчас еще одну из домен называют комсомольской, потому что целиком ее выстроили комсомольцы.

— Обязательно познакомься с мастером этой домны Василием Кононовичем Горностаевым, с его бригадой, — посоветовал секретарь комитета. — Василий

Кононович тебе столько интересного рассказать может, что записывать не поспеешь. И ребята у него в бригаде замечательные — наши комсомольцы. Вот что, позвоним-ка мы сейчас Василию Кононовичу, попробуем договориться о встрече.

Выяснилось, что мастер сейчас у себя дома, и хотя уже поздний час, но он не прочь потолковать с приезжим.

— Василий Кононович комсомолу никогда не откажет, — с удовлетворением сказал секретарь комитета, кладя на место телефонную трубку. — Слушай, Володя, проводи-ка товарища к Василию Кононовичу домой, познакомь. А ты, — сказал секретарь мне, — завтра в полдень приходи сюда, пропуск оформим. С утра же советую побывать в Доме техники... Ну, будь здоров! — Он протянул мне руку и одновременно обратился к товарищам:— Давайте продолжать.

Мы вышли с Володей из комитета и на улице познакомились. Володя оказался сотрудником заводской молодежной газеты и членом заводского комитета комсомола. По пути на проспект Энтузиастов, где жил Василий Кононович, Володя успел рассказать о себе, дать мне несколько напутственных советов относительно знакомства с заводом, назвал десятки фамилий замечательных людей, с которыми мне непременно надо познакомиться...

Дверь нам открыл сам Василий Кононович — пожилой широкоплечий человек с седеющими, украинскими усами и приспущенными на нос очками на широком, прокаленном многолетней работой у жарких печей лице. Одет мастер был в домашнюю, подбитую мехом жилетку, на ногах — старые, подшитые валенки, в руке он держал журнал, который, по-видимому, только что читал.

Торопливо поздоровавшись, Володя начал было пространно рекомендовать меня, но мастер добродушно прервал его:

— Знаю, знаю, уже упредили... Мало что сами покоя не даете, комсомолы, так еще и приезжих водите ко мне... Ну, проходите уж, — ворчливо пригласил он,

сквозь приспущенные очки разглядывая нас усмешливыми глазами.

Володя заторопился уйти в комитет на совещание.

А я просидел у Василия Кононовича до полночи. Мастер, видно уже не в первый раз, охотно рассказал мне о строительстве завода и пуске первой домны.

— Ох, и горячая пора была, хоть морозы и стояли прямо-таки убийственные, особенно для нас, южан, которые приехали в Сибирь строить и пускать завод...

Придет, бывало, к нам в цех главный инженер Бардин Иван Павлович. Видно, что человеку тяжело на душе, самому не терпится скорей домну пустить, а дело-то идет не так скоро, как хочется.

Спрашиваем у него: скоро ль, мол, Иван Павлович, до пуска доживем? Он говорит: «Теперь уже скоро, товарищи, вот надо нам еще газоочистку смонтировать, да разливной машины пока нет, а без этого домну пускать нельзя. Томление ваше, товарищи, я понимаю, сам ведь доменщик...»

Настал этот день, когда домна была готова к задувке. Все мы вроде свою жизнь на поверку ставили. Лаврентий Кузьмич Ровенский, обер-мастер, уж на что спокойный и твердый человек, сколько он на своем веку домен задул и доменное дело до самой глубины знает, а и он за эти дни осунулся от заботы и беспокойства души. Да и Иван Павлович Бардин последние дни из цеха не выходил, тоже волновался.

Народу в цех набилось масса — инженеры, строители, даже жены их и ребятишки пришли. Фергусон, американец, сердиться начал, убрать весь народ требовал: дескать, здесь не цирк, а цех и ему работать надо. Того он не понимал, что для наших людей это не любопытство, а вопрос жизни... В ту ночь, на первое апреля, наверное, никто на Кузнецкстрое не спал — все тянулись к нашей домне, все глядели на нее.

Ну вот и загрузка печи шихтой кончилась, все на свои места встали.

Иван Павлович сам к аппарату управления и сигнализации встал. Лаврентий Кузьмич на мостике стоит, усы свои теребит, папиросу от папиросы прикури-

вает. А мы, мастера и горновые, в жаровнях «пики» — железные ломы — накаливали, чтобы ими печь зажечь.

Вот Иван Павлович включил рубильники сигнальные: воздуходувке — «дать воздух», ТЭЦ — «дать пар», а кауперам — «дать дутье». Печь будто вздрогнула, загудело в трубах. Лаврентий Кузьмич нам кричит: «Давай, ребята, пики!» Одну, раскаленную добела, сам схватил — да к фурме. Мы с пиками — к остальным фурмам. Лаврентий Кузьмич кричит: «Зажигай!» И сам первый пику через гляделку фурмы воткнул в печь. Взбушевало в печи пламя, из летки раскаленным газом полыхнуло так, что народ ахнул. Хорошо зажгли. Началась первая варка, загудела, задрожала матушка наша... Тут кинулись люди обниматься, целоваться, многие слезы утирают... Иван Павлович платком пот со лба вытирает — и, видать, этим глаза скрывает. Хорошо идет печь, механизмы все действуют безотказно. Но американцы настоящего хода печи не дают, придерживают, видать осторожничают. Мы ж видим, что печь идет как надо, можно полным ходом вести плавку; да что поделаешь, они консультанты, они сдают нам печь. Приходится подчиняться. А нетерпение у всех — скорей бы увидеть первый чугун, ведь ради этой минуты народ столько сил положил.

Однако ж растянули первую плавку на тридцать шесть часов. Без передыху мы три смены отработали, истомились. Из цеха никто не уходил, народу еще прибавилось. Ну, наконец Фергусон дает знак — выпускать чугун. Когда мы ломом пробили летку, из нее такой залп раздался, что и нам даже страшновато стало... А народ, посторонние, из цеха было подался: уж не взрывается ли, дескать, домна! Из летки хлещут вовсю огонь, искры, брызги. И пошел чугун, хорошо пошел, по желобу в ковш. Ну, тут такое ликованье началось! «Ура» народ кричит, опять обнимаются, слезы утирают люди. А которые словно бы ладошки готовы подставить под струю чугуна, что в ковш падает...

Узнав, что я нигде не устроился, Василий Кононович оставил меня ночевать у себя, на койке сына, который работал в ночную смену. Но остаток ночи я

потратил на запись взволновавшего меня рассказа старого доменщика. И запись эту сделал в тетради, предназначенной для сказок и легенд Страны Темира...

ГОРЯЧИЕ ЛЮДИ

В великолепном Дворце металлургов, заняв один из его этажей, в десятках просторных залов широко развернулся необычайный музей, названный Домом техники. Пожалуй, это не совсем точное, не полное название. Это не Дом техники, а чудесный город — молодой, светлый город-завод, со всей его немноголетней, но яркой историей, во всех подробностях его строительства, его сегодняшней жизни и работы, в абрисах его завтрашнего дня. Когда ходишь по залам этого замечательного музея, невольно смотришь и в огромные окна — на город в натуре, поражаясь совершенству воспроизведения живой жизни в музейных экспозициях.

Есть здесь макет завода, изображающий во всех мельчайших деталях огромный, гулкий заводской организм. Можно за несколько часов совершить путешествие в удивительное государство Индустрии, побывать во всех цехах металлургического комбината и видеть, как рождается в действующей домне из руды пламенный металл, как в мартеновских печах чугун превращается в алмазной твердости сталь; как солнечно раскаленный слиток стали, начиная свой путь под тяжкими валками блуминга, внушительного даже и в макете, мчится по валикам через прокатные станы и вытягивается то в идеально прямой рельс, то в многогранную балку, то стелется серебристым стальным полотном...

И так умно, с таким знанием и совершенством все представлено, что и тот, кто впервые очутился в этом многообразном мире техники, впервые увидел процесс рождения и последующих превращений в жизни металла, здесь, в Доме техники, как бы проходит наглядную школу металлургии. Когда ходишь здесь, в почти сказочном, но созданном руками человека царстве, дивясь силе разума и мастерству, откристаллизованным в грандиозных созданиях индустрии, когда перехо-

дишь из зала в зал, как из класса в класс, обретая знание еще одной области жизни и труда, — с каждым шагом все более проникаешься гордым чувством Человека, который своим трудом создал все это и заставляет себе служить и огонь, и воду, и металл... И сам ты на крыльях гордого чувства как бы поднимаешься над этим средоточием огня, металла, умных и искусных машин и механизмов, которыми управляет человек, и начинаешь даже чувствовать себя Гулливером в этом уменьшенном, но действующем как настоящий мире...

Многие часы я провел в Доме техники и унес из него и это гордое приподнятое чувство и очень ясное представление обо всем увиденном в музее. А когда потом пошел к заводу, казалось, что я вижу его и понимаю все происходящее в нем с той большой высоты, на какую поднялся сам в дивном макетированном городе металлургии.

Но чем ближе подходил я к заводу, в сознании моем совершалось разительное перемещение.

Изрядно поплутав по подъездным путям, по которым то и дело проносились мимо, голосисто перекликаясь, поезда, я наконец вышел к подножию доменного цеха. И тут сразу же ощутил себя песчинкой перед громадами цеха, масштабы которого не в силах был охватить мой муравьиный зрачок.

И ясность представлений, вынесенная из Дома техники, тотчас заслонилась действительной грандиозностью сооружений, макетное воспроизведение цеха бесследно растворилось в гиперболических масштабах настоящего.

Когда снизу, с подъездных путей, задрав голову, хочешь увидеть вершины домен, кауперов, то кажется, что облака, задевающие за них, и состоят из белых, серых, розовых и желтых дымов, клубов пара и газов, исторгаемых печами-великанами. По подъездным путям, как на большой железнодорожной станции, снуют горластые маневровые паровозы, мчатся поезда, груженные камнем, огнеупорным кирпичом, коксом, рудами. Маленькие стремительные паровозики и бесшумные электровозы проносятся мимо с обдающими тебя

зноем огромными и тяжелыми чашами чугунных и шлаковых ковшей.

А над головой висят стальными переплетами тяжелые горизонтальные мосты, по которым от рудного двора к домнам ходят электрокраны, пронося в своих гигантских клешнях целые вагоны рудной пищи печам-исполинам. По наклонным мостам, уходящим к вершинам, к колошникам домен ползут железные короба скипов с шихтой — смесью руды, кокса, минералов и других составных частей, из которых в пламени рождается металл. И целые реки воды подаются сюда для охлаждения раскаленного тела домны.

Здесь, внизу, у подножия цеха, оглушенный грохотом, визгом и скрежетом металла, могучим гулом и пронзительным свистом пара и газов, начинаешь понимать, какая космическая мощь, какая неизмеримая силища бушует, гудит, мечется в крепчайших стальных, каменно-огнеупорных утробах гигантских печей. Физически начинаешь ощущать, с какой яростью беснуется газ в раскаленных застенках воздуходувок, какие пламенные неистовые потоки с приглушенным толстыми стенками ревом мчатся по трубам, опоясывающим доменные печи, извивающимся во всех направлениях по цеху...

По извилистой железной лестнице поднялся я к основанию домны. От ее огромного тела, окольцованного толстыми трубами, лесенками, оснащенного множеством механизмов и приспособлений, несло мощным зноем. Приглушенно, сотрясая весь гигантский организм, гудело пламя в утробе печи. Солнечно светились фурменные глазки, лилась из множества охладительных трубок вода. От шлакового отверстия, белый, как молоко, по канавке бежал ручей шлака, ниспадая толстой струей в раскаленную бездну ковша, стоявшего внизу на подъездном пути. Я засмотрелся на этот ручей, дивясь тому, что около него нет никого, и не заметил, как подошел сзади мастер Василий Кононович. Тяжелая его рука опустилась на мое плечо.

— Вовремя пришел! — прокричал он мне в ухо. — Сейчас металл выпускать будем. Пойдем.

Был Василий Кононович в синей брезентовой курт-

ке, осыпанной серебристыми искорками, которые поблескивали и на его кепке и на усах. Говорить нормально было нельзя, приходилось кричать, и я прокричал ему на ухо:

— Почему тут нет никого из рабочих?

— Как нет, они сейчас все там, у чугунной летки,— ответил мастер. — А здесь делать нечего, шлак идет себе и идет...

Мы пошли вокруг печи.

— На, погляди, как металл кипит, — сказал он, подведя меня к одному из фурменных глазков и подавая синее стеклышко.

Я попробовал посмотреть в «глазок» без стеклышка, но ничего не увидел, кроме солнечно палящего пятна. Через синее стекло постепенно глаз стал различать в бушевании белого пламени медлительно колеблющиеся волны, всплески и струи жидкого металла.

Василий Кононович взял у меня стеклышко, сам взглянул в глазок и, ничего не сказав, пошел дальше.

Мы пришли к горну домны. Здесь сосредоточена вся работа по выпуску чугуна. Но и тут людей было мало: всего пять человек. И уму непостижимо, как эти пятеро управляются со всей этой огнедышащей громадой, со всем огромным и сложным хозяйством домны.

Молодой шорец в брезентовой спецовке, в ботинках на толстой деревянной подошве и в шляпе, спереди которой были прикреплены темные очки, склонясь над канавкой, сбегающей куда-то вниз, поливал ее сильным синим пламенем из шланга. Около самой летки с тяжелым длинным ломом в руках стоял плечистый, невысокий человек и что-то кричал другому, перемешивавшему лопатой глиняное тесто возле пушки Брозиуса. А пушка эта напоминала всамделишное артиллерийское орудие среднего калибра, но висела на цепях.

Василий Кононович, кивнув на человека с ломом, сказал:

— Это Павел Ефимович, старший горновой.

Старший горновой по знаку мастера подошел к нам. На чумазом, потном лице светились синие степные глаза. Василий Кононович что-то ему сказал, тот

засмеялся и, сдернув брезентовую рукавицу, подал мне горячую, потную руку.

— Давай гляди! Гляди да описывай! — весело прокричал он мне в лицо, сияя своими синими глазами. — Саню Годовалова позвать? Мой подручный.

Он махнул рукавицей в сторону стоявшего посреди площадки за канавкой маленького крепыша, который, задрав голову, кому-то грозил кулаком. На него опускался сверху огромный железный совок. Его нес на массивном крюке мостовой кран, движущийся под сводом цеха. Совок остановился над головой крепыша, покачался и медленно двинулся в сторону, куда указывал Годовалов.

Я высказал горновому свое удивление: неужели всего шесть человек работают у домны?

— Было шесть человек, а теперь пятеро, мастер не считается, — ответил он. — Мне полагается четверо подручных, а можно и с троими обойтись. Вон Миша Пыжлаков — шлаковщик, но в подручные тянется, шлак выпускает и здесь успевает помочь...

По-мальчишески гибкий, ловкий шлаковщик в это время пробежал мимо нас и, блеснув горячими черными глазами, подал какой-то знак горновому; тот утвердительно кивнул.

Разговоры между доменщиками велись знаками — взмахом руки, кивком головы, взглядами. И мастер, и горновой, и все остальные отлично понимали друг друга. Я оставался безгласным свидетелем этого разговора, непонятного для непосвященного...

Василий Кононович взошел на мостик управления, взглянул на приборы. Старший горновой встал у самой летки и поднял руку. Саня Годовалов и с ним еще один подручный подвели к летке электробур, подвешенный на цепях.

Василий Кононович ударил в колокол.

Старший горновой мгновенно направил бур в летку. И через минуту из пробуренного отверстия с оглушительным ревом взметнулись огромный сноп цветистых искр и клубы багрового дыма, вырвалось пламя. Горновой, надвинув шляпу на глаза, схватил длинный железный прут, кинулся в самое пламя и начал шуровать

этим прутом, расширяя и прочищая пробуренное отверстие. И когда он выдернул лом, прогрохотал еще более оглушительный залп и еще более мощный огненный вихрь вырвался из летки, обдав палящим зноем людей. И чудодейственно преобразилось все вокруг. Взлетая в высь цеха, взрывались разноцветными ракетами огромные искры, голубые и серебряные крупные звезды, описывая высокие дуги, заполнили цех, фонтан золотого огня забил из горна. И вот солнечно-знойный ручей хлынул из летки — пошел чугун. Он заполнил канаву перед леткой, и ручей раздвоился: вправо потек более легкий — шлак, вспыхивающий синими огоньками, по левому желобу, расположенному более низко, побежал ослепительно белый ручей чистого чугуна.

Годовалов с ломом в руках кинулся к чугунному ручью, а Пыжлаков — к шлаковому. Они следили за ходом металла и шлака, подправляли огненные потоки, когда те норовили вырваться из приготовленного для них русла.

Фантастически красива эта картина: солнечная озаренность цеха, серебряная звездная пурга, знойные потоки, растекающиеся на две стороны в гигантские ковши, зияющие раскаленными недрами... И в этом озарении — темные, будто вырезанные, силуэты доменщиков, спокойно и удовлетворенно наблюдающих за ходом солнечной реки. Они, очевидно, и сами, несмотря на привычность зрелища, любят этот момент, завершающий их горячую, напряженную работу. Василий Кононович, опершись о перила мостика, смотрит ласковыми глазами на поток чугуна, Павел Ефимович, выдернув руку из рукавицы, показывает мне большой палец — хорошая плавка! — и смеется, подмигивает: знай, мол, наших.

Мастер знаком подзывает меня, я подхожу к нему на мостик, где так же знойно, как и внизу.

— Третий ковш наливаем, — говорит он со спокойной гордостью. — Добрая плавочка...

Весь он с ног до головы осыпан мельчайшими серебристыми блестками. Мне кажется, что это остывшие

частицы металла, искрами взлетающего ввысь и осыпающегося серебряным дождем.

— Но если б мы на воздух столько чугуна выпускали, так за это никто б нас не похвалил. Это же графит. А получается он из углерода, когда в печи его избыток. Металл его не поглощает, он окисляется и превращается в графитную пыль... Вот сейчас гляди,— сказал мастер, — летку будем закрывать на полном ходу печи. Видишь, чугун уже на исходе, газ начинает выфыркивать, остатки выкидывает...

Действительно, из летки, как в самом начале, с ревом выхлестывали пламя и бурый дым.

Мастер ударил в гонг. И тотчас по-боевому встали на свои места все доменщики. Старший горновой попробовал какие-то рычаги у пушки — засвистел сжатый воздух. Павел стал подводить ствол пушки к летке.

Из жерла летки с бешеным ревом хлестало пламя, вихри красных искр — домна будто в яростных судорогах изрыгала из своей утробы остатки металла...

Быстрым, уверенным рывком горновой подал на себя один из рычагов пушки, рванул другой, и ствол молниеносно вонзился в огнедышащее отверстие летки. Раздался такой страшной силы взрыв, что мне показалось, будто содрогнулось все исполинское тело печи. Метнулось вверх неистовое пламя, и на мгновение и пушка, и горновой с подручными исчезли в багрово-черных клубах дыма. Послышался страшный хрип, затем свист воздуха, новый, но уже более приглушенный залп... Старший горновой действовал рычагами пушки, а подручные кидали в ее затвор большие комья глины. Первый глиняный снаряд из ствола пушки влепился в летку, закупорил ее; яростно засвистел, вырываясь из ствола, воздух.

Выстрелы и режущий ухо свист воздуха несколько раз повторились, и сразу все стихло. Могучий, ровный гул печи показался абсолютной тишиной после адского грома, какой стоял секунду назад.

Возле летки, где только что бушевало пламя, теперь виднелось только тело пушки.

— Видал, как Паша наторел! — сказал в насту-

пившей тишине мастер, ласково глядя на горнового. — А ведь когда мы с ним начинали это дело, здорово робел. Раньше как летку мы закрывали? Приходилось для этого дутье печи убавлять, температуру понижать, вообще ход печи ослаблялся. И уходило на то время лишних полчаса, да потом еще снова печь сколько разгоняешь. Вот и надумал я: попробую летку закрыть на полном ходу, сразу, как печь от чугуна и шлака очистится. Говорю Павлу Ефимовичу: «Давай, Паша, летку на полном ходу закроем, не будем снижать ни дутья, ни температуры». Он сначала сробел: «Пушку, говорит, спалить можем, глина не пойдет в летку при таком напоре газа, чересчур уж это рисково, Василь Кононович». Но я с инженерами нашими перед тем долго толковал, они согласились — возможная вещь, только надо это смело и быстро делать. Ладно, начали мы выпуск чугуна. Вот конец выпуска скоро, из летки еще металл идет, огонь, конечно, вовсю хлещет. «Подводи пушку к летке», — говорю Паше. Он подводит, сам побледнел, руки дрожат. «Закрывай быстро!» — командую. Он подал ствол пушки в летку. Заревела печь, задрожала, но сдалась — глина в летку пошла хорошо; как шла печь полным ходом, так ни на секунду и не сбавила хода. Теперь-то у нас на всех печах все бригады так летку закрывают. А тогда это чудом казалось, аж с Урала и с Юга доменщики к нам приезжали посмотреть, поучиться...

Рассказывая это, мастер неотрывным взглядом следил за быстрыми и точными движениями своего ученика.

А Павел Ефимович, закончив работу, подошел к бачку с газированной водой, одну за другой выпил две кружки и после этого вздохнул полной грудью. Видно, немалого напряжения стоили ему эти несколько минут — на мокром, черном его лице усталостью дымились синие запавшие глаза.

— Ну вот и кончен бал, — сказал он, подходя к нам, — отработали сменку... Сколько? — спросил он у мастера.

— На сто десять процентиков вытянем, Паша.

— Ладно сработано. А у соседей, не слыхал, как?

— Говорили, что они утром на сто восемь выдали, — ответил Василий Кононович.

— Сейчас сменимся, пойдем к ним, проверим, — сказал Павел Ефимович и, усмехаясь, добавил: — С нами лучше не соревнуйся, все равно обгоним!

Он ушел к печи, где подручные заканчивали уборку возле горна домны.

— Второй квартал соревнуемся, первое место по цеху держим, — сказал мне Василий Кононович. — Думаю, и дальше не уступим. Горячие люди, — с отеческой гордостью кивнул он на горнового и его подручных...

Небольшой, но сильный паровоз без тендера с пронзительно голосистым гудком подкатил к доменному цеху, подцепил гигантские ковши, наполненные горячим чугуном, и помчал их к мартеновскому цеху. Над ковшами вспыхивали фиолетово-желтые язычки пламени, относимые назад ветром.

Василий Кононович вышел со мною на площадку перед домной, проводил взглядом удалявшиеся ковши и сказал:

— Ну вот, и пошел наш чугун к сталеварам, в мартены. Часть его перельют в миксер — есть в мартеновском цехе такой громадный котел, где чугун держится в жидком виде, — а часть попадет прямо в мартены, в плавку стали... Пока что мы сталеваров не подводили, за наш чугун краснеть не приходилось...

ВЫСОКИЙ ПЕРЕВАЛ



ОХОТНИК КАРОЛ



Наклони голову на север — ныбак услышишь, повернись на юг — шор-сарыны услышишь.

Так мне говорили сами шорцы, когда речь заходила о сказках и песнях, за которыми я ехал в Шорию. Оказывается, на севере ее живут знаменитые кайчи и ныбакчи — сказители, и вообще больше бытуют легенды и сказки, а на юге рождаются песни, которые распеваются везде. Мне захотелось побывать прежде там, где создаются песни, кроме того, добраться туда оказалось легче — почти половину пути можно было проехать по строившейся железной дороге Кузнецк—Таштагол.

Я сел в поезд, идущий к Темир-Тау.

Поезд скоро вошел в горы, в тайгу. Дорога извивалась между стенами леса, и казалось — протяни руку из окна вагона, по ней начнут хлестать мохнатые ветки елей и сосен, подступающих к самой дороге. За прямыми, как мачты, деревьями таилась темнота, как будто ночь спряталась в лесу от солнца. Поезд стремительно нырял в выемки, в вагоне становилось темно, паровозный дым набивался в окна. Через несколько минут, весело гудя, поезд вырывался на свет, и снова перед глазами раскидывались зелено-синие леса. Паровоз с разбегу взбирался по насыпи на вершину перевала, и тогда казалось, что мы летим по воз-

духу, а внизу, под ногами, бушуют темно-зеленые волны тайги, прорезанные голубыми жилками рек, пестреют цветочные ковры еланей и бархатные мхи болот. Тени облаков ползут по земле, среди них видна обгоняющая их тень нашего поезда.

А поезд уже с бешеной скоростью мчится под уклон, взвизгивая всеми тормозами.

Против меня сидели двое шорцев: молодой, в синей брезентовой спецовке, наверное рабочий, и старик с морщинистым коричневым лицом, без шапки. Седые длинные волосы падали ему на плечи. Старик был одет в белый холщовый шабур[1], подпоясанный широким, потрескавшимся от времени ремнем, украшенным медными бляшками. На ремне висели нож в грубых деревянных ножнах, кожаный мешочек с табаком. Старик посасывал тяжелую корневую трубку и слушал песню колес. Он изредка выглядывал в окно, на проносившийся мимо лес и, покачивая головой, говорил:

— Ай, яхши, яхши!

Молодой шорец смеялся, горделиво поглядывал на старика, как хозяин, показывающий гостю какую-нибудь диковинку, к которой сам уже привык. Он о чем-то говорил старику по-шорски, а старик, прикрывая глаза тяжелыми веками, согласно кивал головой.

— Эзе, эзе... Эдак, эдак...

Старика звали Каролом. Охотник с верховьев Мрасса, он всю жизнь прожил в тайге. А сын его три года назад ушел в новый Аба-Туру — Сталинск и сейчас работает у больших печей, где варится железо. Старый Карол по Мрассу и Томи спустился на салике в Кузнецк, чтоб проведать сына, да заодно и посмотреть на новый Аба-Туру, о котором столько рассказывают в горах. То, что он увидел, прямо-таки не похоже на правду, даже в шорских ныбак о таком нет ничего, а уж в сказках-то всяких чудес много... Большие огненные печи, перед которыми даже вековые кедры кажутся травинками, похожи на подземных Шибелдей, о которых рассказывают кайчи — сказители. Уж очень

---

[1] Шабур — кафтан из домотканого полотна.

страшны эти чудовища. А люди не боятся подходить к этим печам, где бушует такой большой огонь, готовый вот-вот вырваться из тесной для него клетки. Поблизости стоять и то страшно, а эти люди еще суют железные палки в пасть чудовищу, а потом выпускают на волю реку огня. Последнего Карол вынести не мог, поскорее убрался от печей и все оглядывался — не настигает ли его огненный поток. Вот сын его там работает, не боится и посмеивается над страхами отца. Нет, Карол больше не хотел смотреть на эту страшную игру с огнем, не хотел жить поблизости от этих страшных печей — долго ли до несчастья... Может случиться, что эта нечистая сила, эта страшная печь взбесится, не станет слушаться людей. Что тогда будет? Ведь люди перед ней — маленькие букашки... Карол поспешил покинуть новый город и уехать к себе в тайгу. Сын уговорил его возвращаться не по рекам, а на поезде. Сын-то живет хорошо, богато — в большом доме, на третьем потолке, надо по лестнице забираться, окна в избе больше, чем двери. Внучка Наталья в детский сад ходит, песенки по-русски поет — совсем городская, тайги не видела...

— Вот на машине Карол едет — тоже чудно́... Подумать только — в этой большой избе на колесах, которая сама катится, можно между восходом и закатом проехать от Аба-Туры до Темира. Раньше на самом быстром коне только за неделю можно было сюда добраться. Вот катится себе быстрее, чем лодка на самой быстрине Мрасса, и одинаково — что в гору, что под гору... Что только происходит на свете! Недаром, видно, мудрые старики говорили, что придет время — и из-под земли выползет серебряный многоголовый змей, обовьет Мустаг, и из пасти змея будет вылетать пламя. Не об этой ли дороге говорили старики?

Сейчас в улусах задают люди друг другу загадку: «Огненная змея по горам ползет, на змею сядь, до края земли доедешь, — что такое?» И каждый олагаш[1] ответит: «Железная дорога».

— Совсем другая земля-та теперь, — говорил ста-

[1] Олагаш — мальчуган.

рый Карол, медленно подбирая русские слова, — шибко новая земля стала... Аба-Тура совсем другой, весь из железа построен, Стальной город называться стал. Люди шибко ученые теперь, и шор-кижи[1] такие же ученые, как русские...

— Расскажи, акка[2], про старую жизнь,— попросил молодой шорец, лукаво подмигнув мне.

Карол достал из кожаного мешочка, висевшего у пояса, кремень, кресало, высек огонь и сунул в трубку кусочек задымившегося трута.

— Молодой, смеешься над старым, — сказал он укоризненно, — худо делаешь-та. У Карола голова шибко болит, больно много видел. Думать долго надо. Потом людям в тайге сказывать...

Поезд прошел мимо станции Кандалеп. Вдали лежал в котловине рудник Осинники — высокие копры шахт, пирамиды терриконов, белые дома шахтерского города.

— А-бо-о, Осинники-та! — глядя в окно, заговорил снова Карол, раскачивая седой головой. — Был улус старый, а теперь болшой, шибко болшой город. Лет сорок, однако, назад, наш шор-кижи, Ванька Мигашев, мой знакомый, горючий камень тут нашел, много угля. В Аба-Туру носил камень-та. А его урядник прогнал, в каталажку хотел посадить, говорил: нельзя горючий камень-та трогать, нечистая сила в нем. Когда Ленина власть пришла, стали уголь копать, шибко много угля нашли, целые горы. Поди, слыхали об этом...

Я сказал, что теперь в Осинниках несколько шахт работает и они дают много коксового угля для Кузнецкого завода, что в Осинниках, наверное, в десятки раз больше жителей, чем в прежнем улусе.

— Вишь ты как! А раньше тут только таныши — купчишки жили, лавки с товаром были, пушнину скупали, шорских охотников водкой поили, в церкву водили...

---

[1] Кижи — человек, люди; шор — приставка, указывающая на принадлежность к Шории; например, шор-анчи — охотник и т. д.

[2] Акка — дедушка.

Мы снова начали просить Карола рассказать про старое житье.

— Смеяться будете, — отмахивался Карол. — Шор-кижи раньше больно темный человек был. Казака всякого боялся, своего паштыка[1] боялся, купца боялся и русского батюшку шибко боялся. Русского бога боялся, а своих «хозяев» — еще больше. Даже таракана пугался. На рысь ходил с одним ножом, азыга[2] убивал один, а таракана больно боялся...

Заслышав наш разговор с Каролом, к нам стали собираться и другие пассажиры. Кому не хватило места на скамейках, присели прямо на полу в проходе.

И вот что рассказал нам старый Карол про таракана:

— Жил в Осинниках в старое время купчишка-шорец Сережка. Он научился у русских купцов торговать и обманывать охотников, своих сородичей.

Жадные и лукавые были эти таныши — «дружки», как называли себя торговцы и скупщики пушнины. За бутылку водки и осьмушку чаю они готовы были душу взять у шор-анчи. А таныш Сережка был очень хитрый торгаш. Он разбогател... на тараканах!..

Тараканов в Шории прежде не водилось, люди тайги никогда не видывали такого жучка, любящего селиться вместе с человеком. Сережка привез таракана от русских, но откуда это было знать шор-кижи. Они очень боялись всяких духов — «хозяев», которые владеют тайгой и горами, судьбой охотника. Купец Сережка приехал в один улус на верховьях Мрасса, показал охотникам черного жука и назвал его «караканом» — черным ханом. Сережка сказал, что черного хана он привез из других земель, что это святой жук и живет всегда вместе с человеком. Кто держит в своем жилище кара-кана, тому всегда сопутствует удача в охоте и промысле, счастье в семье, и ни один злой дух не посмеет переступить порог жилья, где поселился кара-кан. Охотники верили купцу, такого жучка им действительно видеть не приходилось. Мол-

---

[1] Паштык — князек, чиновник.

[2] Азыг — медведь.

ва о новом божке пошла по тайге. Охотник торопился поселить у себя в жилье новоявленного покровителя. Сережка брал за каждого кара-кана только по две белки. Тараканы быстро начали размножаться в шалашах и избушках охотников. Сережка видел и сам в русских избах, где он собирал свой святой товар, как быстро плодится это насекомое. И он, чтобы сразу не потерять доход, придумал выход. Торгаш пошел снова по охотникам, которым продал тараканов, и стал говорить, что кара-кан питается особой пищей, ее всегда надо иметь под рукой, чтоб не прогневить божка. И предлагал в маленьких пузырьках какую-то желтоватую, остро пахнущую водицу, за каждый пузырек брал по белке. Охотник, ублажая кара-кана, капал из пузырька в щели, где обитал божок. А таракан, однажды нюхнув эту «пищу», тотчас исчезал совсем. Охотник горевал, боясь какой-нибудь напасти или мести разгневанного кара-кана. Но тут снова появлялся Сережка, и охотник спешил отдать ему две беличьих шкурки за нового таракана.

Так с этим «товаром» таныш Сережка объехал всех жителей по Томи, Мрассу, Кондоме, и караваны навьюченных пушниной лошадей тянулись из тайги к амбарам купца в Осинниках. Он стал богатым человеком. Когда тараканы во множестве расплодились в жилищах шорцев и сбыт «товара» отпал, Сережка стал торговать бумажными трубочками, наполовину набитыми пахучей травкой. Стоит зажечь эту трубочку, говорил купец, да обкурить этим дымом жилище, как ни один злой дух тайги не посмеет приблизиться к нему. Шаман, друг Сережки, обкуривал этими трубочками больных женщин, и это якобы очень помогало. За каждую трубочку Сережка брал по одной белке.

После охотники узнали, что такие трубочки курят русские начальники, так же как шор-кижи курят трубки. Словом, это были асмоловские папиросы, и Сережка торговал в тайге самыми дешевыми.

Вообще, охотники просто разорялись, чтобы угодить как-нибудь многочисленным богам и духам. А когда русские привезли в тайгу еще и своих богов, охот-

никам стало совсем трудно. Казаки — так шорцы звали всех русских — требовали, чтобы шор-кижи верили в русского бога. Попы крестили и маленьких и взрослых шорцев и за каждое крещение брали по десятку беличьих шкурок или горностая и даже пушистого дорогого «киша» — соболя. Да еще надо было отдать что-то за медный крестик на желтом или красном шнурке да за икону. Длинноволосый человек в черном женском платье, с большим золотым крестом на животе, «батюшка», как его называли, очень сердился, когда охотник не мог его ничем одарить...

Кончив рассказ, Карол снова раскурил трубку и, помолчав, спросил у меня:

— Твоя куда пошел?

Я ответил, что еду записывать ныбак и сарыны, хочу составить из них книгу.

— Эзе, эзе... Вот как теперь... Из города к нам в тайгу люди едут песни слушать, шибко чудно... К Морошке в Устюнгуал иди, к Акмету в Сибиргу иди — много сказок старинных знают, больно хорошо сказывают, лучше их в тайге нет кайчи. Одну ночь будешь слушать, две, три ночи — не надоест. Одну сказку могут пять ночей рассказывать — такие большие сказки есть. А песня у нас в Кабырзе живет, ее весь Мрасс слышит, к нам иди, Торчука спроси, лучше его в Шории нет певца...

Тут же мы с Каролом и разработали маршрут моего путешествия: Калары — Таштагол — Кабырза — Устюнгуал.

Карол занимал рассказами весь вагон до конца своего пути. Уже наступали сумерки. Вдруг впереди справа поднялось зарево. Оно стремительно приближалось. Промчался мимо встречный поезд. Он походил на сказочного огромного дракона. Его длинный хвост отсвечивал розовым, синим, желтым пламенем, раздуваемым ветром.

— Однако машина горит! — забеспокоился Карол, увидев радужные отсветы в стеклах окон.

— Агломерат в Кузнецк пошел, — спокойно пояснил молодой шорец.

Добываемая на Тельбессе и Темир-Тау железная

руда содержит в себе разные ненужные примеси, например серу, которую нельзя пускать в доменную печь — она будет портить чугун. Поэтому добытая руда, прежде чем попасть в домну, доставляется на обогатительную фабрику. Здесь руду дробят, промывают, прокаливают в особых печах, на лентах, непрерывно движущихся через печи. Все ненужные примеси из руды удаляются, сера сгорает, доля железа в руде повышается. Обогащенная и очищенная руда называется агломератом. Еще горячим агломерат доставляют на завод.

Молодой шорец оказался рабочим обогатительной фабрики, он и рассказал нам об агломерате.

Поезд подошел к станции. Над корпусами фабрики стояло желто-зеленое зарево, поднимались облака пара. Из бункеров по широким наклонным желобам в длинные железные хоппера текли огненные реки — обрушивались водопады раскаленной руды. Составы поездов, груженных жарко тлеющим агломератом, ждали отправки в Сталинск. Гулко перекликаясь, сновали паровозы, подавая вагоны под огненные потоки агломерата, отводя наполненные к составам. И над всем этим стоял горячий сухой запах серы, жженой земли; он тотчас проник и в наш вагон.

— Вот, однако, мы и приехали, — сказал старик и начал торопливо собираться.

— Сказку не успел рассказать, и уже на другой край земли перелетел, вот как! — пошутил его молодой спутник.

Я вышел за ними из вагона. Карол решил погостить у своего старого друга охотника, который несколько лет назад ушел работать в Мундыбаш. А спутник Карола прямо с поезда отправился на фабрику, в ночную смену.

Мы распрощались со старым охотником. Я пообещал, что непременно доберусь до Кабарзы, на верховья Мрасса, и разыщу его.

Карол в свою очередь гостеприимно заверил меня, что припасет к моему прибытию вдоволь и песен и таежных угощений.

Наш поезд после долгой стоянки пошел на Темир. Глухая таежная ночь лежала по сторонам дороги, и лишь низкая яркая звезда качалась в синем квадрате окна, не отставая от поезда.

НЕОЖИДАННЫЙ СПУТНИК

На рассвете поезд остановился в Темир-Тау. Железная гора сверкала огнями, внизу, в долине, лежал очень разбросанный поселок. Возле станции высились эстакады, бункера для руды. Пути были плотно заставлены порожняком. Слышался лязг опрокидываемых вагонеток, грохот тяжелых камней о железные днища хопперов.

Я вышел из вагона, и тотчас мне попался темный, почти черный кусок руды, вероятно упавший из проходившего мимо вагона. Я поднял камень и бросил его на неподалеку стоявшую платформу с рудой — продолжай свой путь, камень, рождающий железо! И мне представился этот путь. Извлеченный горняком из недр Железной горы, он в лавине своих собратьев попал сюда, чтобы пройти через жаркие печи обогатительной фабрики и мчаться опять по железной дороге в домны Кузнецка, вытечь кипящей струйкой чугуна в раскаленный ковш. Прокипев в знойных недрах мартена, явиться твердой сталью, пройдя под валами прокатного стана, превратиться в лист или брус стали. Попав под молот или резец, чем ты станешь, камешек, поднятый мною у подножия Железной горы? Может быть, незаметной частицей ты будешь жить дальше в рельсе, положенном где-то в степи, или войдешь в тяжелое тело грозной пушки, или будешь снова мчаться по железной дороге, живя в колесе паровоза? Счастливый путь тебе, капля железа!

Мне надо было пройти несколько километров пешком до станции Коштау, откуда продолжается линия железной дороги в глубь гор и тайги. Вокруг то и дело раздавались голоса.

— Кая паарчам? (Куда идешь?)

— Мен паарчам Калары! (Иду в Калары!)

— Мен паарчам Таштагол!

Пассажиры сбивались в кучки, находя попутчиков. Я хотел присоединиться к едущим в Таштагол. И тут увидел мальчугана лет четырнадцати, очевидно приехавшего тем же поездом, что и я. Костюм его говорил о готовности к дальнему пути: паренек был в новеньком зеленом дождевике, в новых болотных сапогах. За плечами у него висел довольно объемистый рюкзак, а в руках он держал какой-то аккуратно перевязанный сверток с подсунутым под веревочку синим конвертом. Мальчик, подходя то к одному, то к другому пассажиру, о чем-то спрашивал. У него был расстроенный вид, он, по-видимому, не находил нужного человека и растерялся.

Заметив в толпе меня, он кинулся ко мне с выражением какой-то надежды в серых глазах.

— Вы Гайворон? — спросил мальчик.

— Нет, не Гайворон.

— А не знаете, где его здесь найти?

Разумеется, я не мог ему ничего сказать о неведомом мне Гайвороне.

— Вот тут написано.

Мальчик протянул мне конверт, на котором я прочел: «Ст. Темир-Тау. Всеволоду Ивановичу Гайворону».

— Папа сказал, что Гайворон меня встретит, он ему телеграмму послал. А его здесь нет. Мне надо с этим же поездом ехать назад. Прямо не знаю, что делать...

Очень взволнованный, он растерянно смотрел на меня.

— Надо поискать в поселке. Может, он не получил телеграммы и потому не вышел встречать,— сказал я.

— Да мне же ехать надо! — вспылил вдруг мальчик.

— Ну это уж твое дело. — Я отвернулся, считая наш разговор законченным.

Мальчик еще побегал по станции, опрашивая каждого встречного, заглянул к дежурному по станции, к телеграфисту и снова подошел ко мне.

— Гайворона никто не знает, — совсем упавшим голосом сказал он.

Он решил пойти со мной в поселок, ведь ему же надо было выполнить поручение — передать прямо в руки Гайворону письмо и посылку, ради этого он сюда приехал. Наверное, придется остаться здесь до завтрашнего поезда из-за этого Гайворона.

Звали мальчика Аркадием. И приехал он тоже из Новосибирска. Мы стали спускаться с горы в поселок. Рюкзак у Аркаши был, видимо, тяжелый, мальчик то и дело поправлял наплечные ремни, на лице его выступил пот.

— Это что, тоже Гайворону? — кивнул я на его рюкзак.

— Нет... То есть мое, — почему-то сильно смутился Аркаша.

Я посмеялся над ним: стоило ли в двухдневное путешествие брать с собой такой громоздкий, тяжелый багаж.

Аркаша еще более смутился и ничего не ответил.

На Железной горе погасли огни. Прозрачное и прохладное утро встало над Темир-Тау. В золотистых лучах солнца белели домики поселка, серебрились в безмерной синеве, как у паутинки, нити проводов. Вскрикивали на станции паровозы. А вдали, за отрогами гор, покрытых тайгой, высилась своей белой вершиной Мустаг — Ледяная гора, самая высокая гора Кузнецкого Алатау, видимая отовсюду. Туда-то, за эту гору, лежал мой путь. Остановившись, я смотрел на Темир-Тау, на Мустаг, на синюю кайму тайги по горизонту.

— Идемте, — поторопил меня Аркаша. Этому практическому пареньку, видно, мало было дела и до красот природы и до поэтических настроений.

В поселке мы зашли в несколько домов, и Аркаша узнал, что Гайворона можно найти скорей всего на «заезжей» леспромхоза.

Направились туда. Теперь уж и я считал себя, как попутчик, обязанным довести дело до конца. Чтобы добраться до заезжей, пришлось идти по взгорьям и оврагам. Аркаша, изнемогая, тащил свой рюкзак.

— Всеволод-то Иванович? — сказал нам добродушный старичок, хозяин заезжей избы. — Да он, Всеволод-то Иванович, уж никак неделю тому назад в Калары подался — опять за травками разными. В Каларах беспременно найдете. Сейчас отправляйтесь прямо в Коштау, на поезд — да и в Калары. Там он, там.

Аркаша плюхнулся на крыльцо, от огорчения у него задрожали губы.

— Что же я буду делать? — сокрушенно пробормотал он.

Я предложил взять у него письмо, посылку, разыскать Гайворона в Каларах.

— Но мне же папа велел обязательно передать самому Гайворону. Как же я домой поеду, не повидав его...

— Ну, тогда поедем вместе в Калары, а оттуда ты завтра же тронешься назад, — посоветовал я.

На лице Аркаши отражалась борьба противоположных чувств, наконец он с тяжелым вздохом согласился. Я спросил, почему он так торопится домой. Аркаша, смутившись, путано ответил что-то насчет экскурсии, в которую он собирался поехать с товарищами.

Этот мальчуган начал казаться мне подозрительным: тяжело чем-то набитый рюкзак и костюм Аркаши, предназначенный для большого пути, и желание его поскорей вернуться домой, и равнодушие к новым местам, которые не могли не привлечь всякого городского мальчика, — все это наводило на размышления о странности его поведения.

Хозяин заезжей указал нам дорогу на Коштау, и мы отправились в путь по тропинке, через лес. Аркаша молчал. В пути я проголодался и предложил спутнику сделать остановку. Аркаша молчаливо согласился. Мы присели на пригорке в тени пихты. Явно таясь от меня, Аркаша развязал рюкзак и стал в нем рыться, отыскивая съестное. Я успел там заметить фотоаппарат, несколько консервных банок и какие-то бумаги. Все говорило о том, что Аркаша готовится к большому пути.

Мы подкрепились и двинулись дальше.

Весь день пришлось провести на станции Коштау. Собственно, станцией ее можно было назвать лишь условно. Маленькая избушка «на курьих ножках» предназначалась и для пассажиров и для всей станционной службы. Избушка стояла у подножия густо заросшей пихтачом горы. Тем не менее это была настоящая станция — с дежурным в красной фуражке, диспетчером, телеграфом и телефоном. И все служащие станции несли свою службу с каким-то особенным подъемом и веселой деловитостью; должно быть, их самих увлекали новизна и необычность их работы на этой любопытной станции. Диспетчер яростно кричал в телефон:

— Калары, Калары, пропустил поезд номер сто пять... Темир, принимаю поезд номер двести сорок...

И мимо станции без остановки проходил «поезд номер двести сорок» — дрезина с одной-двумя платформами, груженными рельсами, конструкциями моста, лесом.

Пассажиров на станции накопилось много, но ни один из строительных поездов их не принимал. Пассажирский поезд должен был пойти только вечером. Неожиданно пошел дождь. Спасаться от него пришлось под деревьями, так как в избушке могли поместиться только трое — пятеро пассажиров, да и то сильно стесняя станционных служащих.

Мы с Аркашей сидели под пихтой. Вымокший, нахохлившийся, как большая зеленая птица, мой спутник сидел на своем рюкзаке и угрюмо молчал. Попытки разговориться с ним ни к чему не привели.

Поезд — мотодрезина с двумя старомодными вагончиками — прибыл лишь в полночь...

КАПЧИГАЙ ИЗ КАЛАРОВ

Меня разбудила суета, поднявшаяся в вагоне. Поезд стоял, пассажиры высаживались. В окна вагона пробивался рассвет. Я выглянул в окно и невольно ахнул. На землю легла зима. Две маленькие избушки

станции, длинные склады и деревья вокруг — все было под снегом, свежевыпавшим пушистым снегом.

— Калары, Калары! Дальше поезд не идет! — покрикивала проводница.

Я еще ничего не мог понять. Снег в августе? Не могли же мы за несколько часов перекочевать из лета в зиму? Куда мы заехали?

Разбудил Аркашу и показал ему на окно.

— Зима-а-аа?! — протянул Аркаша и начал старательно протирать кулаками заспанные глаза.

Между тем вагон уже опустел, под окном толпились новые пассажиры, готовясь к посадке.

Мы выскочили из вагона. Под ногами действительно был снег, мягкий влажный снег, на нем темнели мокрые следы подошв. Мы стояли с Аркашей растерянные. Надо скорее найти Гайворона или с этим же поездом уезжать назад. Нельзя же пускаться в путешествие по этому снежному незнакомому краю в такой легкой одежде.

Мы пошли к избушкам, около которых толпились приехавшие с нами строители — с инструментом, с сундучками, в одинаковых телогрейках и ботинках на деревянной подошве. Это были рабочие, завербованные на рудник в Таштагол, такие же новички здесь, как и мы. Около складов гудело несколько грузовиков, шорцы вьючили лошадей. Ни шоферы, ни коновозчики не знали Гайворона. Под навесом около склада расположились кружком трое шорцев-охотников. Они сидели на корточках и курили трубки, сплевывая и обмениваясь медленными фразами. Нет, и они не знают ботаника. Такого в Каларах, да и в ближайшей тайге нет.

Один из охотников, старый, морщинистый человек без шапки, поглядел на нас и спросил:

— Как звать-то его?.. Коза шерсть имеет, у человека имя есть.

— Всеволод Иванович.

— А-а... Давно бы так говорил. Сиволот Ваныч всякий бы сказал. В тайге все знают Сиволот Ваныч.

— Эзе, эзе... ургенген-кижи, шибко ученый человек, — подтвердил другой.

Охотники, не обращая внимания на нас, заговорили между собой.

— Однако Сиволот Ваныч на Кондому пошел...

— Чок, чок,— замотал головой другой,— на Мрассу пошел...

Охотники несколько минут перебрасывались отрывочными фразами между собой, и наконец старик без шапки сказал нам:

— Однако на Кондому ушел Сиволот-та Ваныч. Иди в улус, — старик махнул рукой куда-то за склады, — там Капчигая спроси. Капчигай знает, с урген-ген-кижи в тайгу ходит... Капчигай все знает...

Мы разузнали подробней, куда идти, и отправились в улус. Надо же было передать письмо этому «Сиволоту Ванычу», как называли охотники Гайворона.

Улус лежал на взгорье, в километре пути от станции. По глубокому мокрому снегу мы добрели до него и у первой избы спросили у женщины, где живет Капчигай. Она указала нам избушку.

Мы вошли в нее. На полу около железной печки сидел мальчик-шорец лет четырнадцати и обувался.

— Где твой отец? — спросил я. — Нам Капчигая надо.

— Нет отца. Я — Капчигай.

Склонив смуглое лицо, полузакрытое свесившимися длинными черными волосами, он обернул ногу вместо портянки какой-то волокнистой сухой травой и всунул ступню в мягкий, с брезентовым голенищем чирок.

Капчигай, видно, не очень удивился нашему приходу. Он кончил обуваться, достал из кармана огромную трубку, набил ее табаком и прикурил угольком из печки. Сидя на корточках, он разглядывал нас черными неробкими глазами.

Я спросил о «Сиволоте Ваныче», называя его именно так, потому что, вероятно, и всеведущий Капчигай не признавал фамилии Гайворона.

— Сиволот Ваныч на Кизас пошел. Травку собирает. — Капчигай крепко затянулся и добавил: — Ходил с ним до Шалыма... Агроном, наверно, ты? — спросил он меня минуту спустя.— К Сиволоту Ванычу

пойдешь? Без меня не найдешь. Далеко в тайгу ушел. Два дня пути.

— Ну вот, отдай письмо Капчигаю, он передаст, — сказал я Аркаше, безучастно стоявшему у порога и разглядывавшему жилище.

— Городскому-то по тайге ходить плохо, — сказал Капчигай, завистливо глядя на одежду Аркаши, и продолжал с явным желанием его уязвить: — Боится, однако...

Аркаша вспыхнул и, не глядя на Капчигая, ответил со спокойным достоинством:

— Я могу пойти и один. Пусть он только скажет, где найти Гайворона.

— Без меня не найдешь! — уже совсем презрительно махнул рукой Капчигай и ловко чиркнул слюной сквозь зубы. Это уже был вызов Аркаше.

Из дальнейшего разговора с Капчигаем выяснилось, что мой путь в Кабырзу лежал примерно в тех же местах, где находился и «Сиволот Ваныч». Я решил, что Капчигай будет хорошим спутником. Интересно повидаться и с Гайвороном, который пользуется такой известностью в тайге.

— Поведешь меня? — обратился я к Капчигаю.

— Можно вести. Лошадь нету. Все лошадь пошли на Темир, хлеб возим. Председатель отпустит — пойду.

Капчигай пошел к председателю.

Я предложил Аркаше выполнить его поручение к Гайворону. Но, видно, Капчигай основательно уязвил самолюбие Аркаши, он сердито отказался от услуг и сказал, что отправится на поиски Гайворона сам и может обойтись без попутчиков. Пришлось уговаривать его не расстраивать компании.

Вернулся Капчигай.

— Председатель сказал: на трудодень денег дадут — можно идти. Десять рублей дашь — пойду.

Я принял условия Капчигая.

— Солнце будем ждать, — сказал Капчигай. — Снега не будет, вода уйдет — тогда пойдем.

Я вышел на улицу и присел на крыльце. Показалось солнце. Золотистый его круг поднялся из-за

вершин пихтача на взгорье, и лучи заиграли на снегу.

И началось великое таянье. Деревья отряхивались от снега, расправляя ветви. Зеленела хвоя. Как ни в чем не бывало зазолотилась листва на березах, стоявших неподалеку. Зеленые пики травы прокалывали пухлый снег, и по стеблям серебристыми каплями скатывалась вода. Зажурчали ручьи, их было так много, что в воздухе стоял приглушенный гул воды. Ручьи ринулись с горы к речке, затерянной в густом кустарнике. Засвистели, защебетали в недалеком лесу птицы.

Через час уже все зеленело и золотилось вокруг. Неизвестно откуда появилась и пролетела мимо оранжевая бабочка, в траве заиграл на своей скрипочке кузнечик... Невиданно быстрая весна мгновенно и красиво возродила землю и все живущее на ней, прогнав зиму и снег.

— Ночью снег-то выпал, — сказал Капчигай, подсаживаясь ко мне и дымя трубкой. — С Мустага пришел снег, там всегда мороз, шибко холодно.

Капчигай показал на белые вершины Ледяной горы, видной из Каларов так же, как из Темир-Тау.

В полдень мы тронулись в путь. Капчигай надел легкий шабур, подпоясался, привесив к поясу охотничий нож и кожаный мешочек с табаком. За спину он перекинул мешок с караваем хлеба и котелком.

Аркаша молча шагал за нами. Быть может, он все еще находился в том же состоянии расстройства, а может быть, сердился на Капчигая...

Мы вскоре вышли к строящейся железной дороге. Полотно дороги прокладывалось вдоль таежной реки, среди взорванных скал и широко вырубленного леса. Нас то и дело обгоняли грузовые машины со строительными материалами, по обочине дороги тянулись караваны навьюченных лошадей.

На разбитой этой дороге была грязь по колено, и нам пришлось свернуть в сторону, на тропинку.

На железнодорожном полотне кипела работа. Грохотали где-то впереди взрывы, гудели тракторы, вздыхали и скрежетали, врезаясь в грунт, экскаваторы.

Тоненькими голосками посвистывали паровозики — «кукушки», бегающие по узкоколейкам с длинными составами вагонеток. Эхо отражало многократно все звуки стройки, и тайга и горы вторили им многоголосым хором. Железная дорога прокладывалась к будущим рудникам. По ней скоро пойдут составы хопперов, груженных таштагольской рудой для домен Кузнецка.

Об этом рассказывали тут и там растянутые над строительством полотнища лозунгов, полусмытые дождями надписи на деревянных арках, отмечавших каждый проложенный километр пути: «Соединим кузнецкие домны с таштагольской рудой».

Капчигай, очевидно уже привыкший ко всему, что творилось вокруг, шел спокойно впереди нас и часто здоровался со встречными шоферами и строителями. И они весело отвечали нашему проводнику:

— Эзенок, Капчигай! Кая паарчам? [1]

— Сиволоту Ванычу, — солидно отвечал Капчигай.

Этот маленький охотник был здесь не менее известным человеком, чем Всеволод Иванович...

Оказывается, он водил инженеров в тайгу, часто с караваном вьючных лошадей доставлял провизию геологам, работавшим в горах. Капчигай уже пять лет ходит на охоту и нынче летом сдал сотни две разных шкурок. Если бы у Капчигая было ружье, он мог бы и на белку ходить.

— Дорогу построят — на машину пойду, на машине буду ездить, — говорил Капчигай, кивая на паровоз, проходивший мимо.

Идти с ним было весело. Он охотно рассказывал о себе, конечно не без мальчишеского бахвальства.

Дорога была чудесной, и день выдался нежаркий, осенний, спокойный голубой день. Мы отмахивали километр за километром.

Нам повстречались древние старик со старухой. С батожками в руках и котомками за плечами, пригнувшись к земле, они шли, посасывая трубки. Ста-

[1] Здравствуй, Капчигай! Куда идешь?

рики вежливо, как того требует таежный обычай, поздоровались.

— Кая паарчам? — спросил я.

— Мундыбаш,— ответил старик. — Сын там, в гости идем.

— Издалека?

— С Қалзаса идем. Не шибко далеко — три дня пути.

Хорошенькая прогулка в гости для таких стариков. Три дня пути по тайге, по горам, под дождем.

— Где ночевали сегодня?

— В Шалыме маленько поспали. Солнце поднялось — мы пошли...

Выходит, они успели сегодня отмахать больше тридцати километров, эти старые люди! Пока я разговаривал со стариками, Қапчигай и Аркаша ушли вперед и вскоре куда-то исчезли. Я прошел с полкилометра и не догнал их. Пришлось кричать.

Откуда-то со стороны послышался отклик Қапчигая. Перекликаясь с Қапчигаем, я наконец отыскал ребят.

Они сидели около скалы, из которой светлой струйкой бил родник, и жевали хлеб.

— Зачем кричишь, как маленький! — сердито сказал Қапчигай.— Разве у тебя нет глаз? Смотреть надо.

Я ничего не понял.

Аркаша мне объяснил. Қапчигай решил свернуть с дороги, идти прямиком через тайгу и сделать привал у знакомого родника. Для меня он ставил по дороге знаки, по которым я должен был видеть, куда они направились. Я вспомнил, что видел на дороге несколько свеженадрезанных веток, обращенных вершинами в сторону от дороги. Аркаше, видимо, понравилась шутка Қапчигая надо мной, и он заметно повеселел. Похоже, что в мое отсутствие мальчики нашли какую-то почву для примирения, — возможно, это была капчигаевская проделка с дорожными знаками.

— Совсем как олагаш! — продолжал ворчать на меня Қапчигай. — Надо глядеть на дорогу.

Вода в роднике была студеная и чистая, как слеза, и хлеб казался самым вкусным на свете кушаньем.

Капчигай между тем, кончив есть, отошел в сторону и, раскурив трубку, присел на поваленное дерево. Свистнул поблизости бурундук, и Капчигай поднял голову вверх, на распростертые над ним ветви пихты.

— Аркашка, иди, кюрыка будем ловить, — сказал Капчигай.

Он срезал ножом росшую поблизости молоденькую тонкую елочку и очистил ее от ветвей. Затем достал из-за пазухи пучок конского волоса, свернутого в кольцо, выдернул один волосок, сделал из него петлю и привязал ее к вершине елочки. Получилось что-то вроде удочки.

Встав под пихтой, он поднял удочку и стал посвистывать. На одной из ветвей, ответно свистнув, появился полосатый желтенький зверек с торчащим щеточкой хвостом. Его красные, похожие на бруснику, глазки с любопытством смотрели на нас. Он ничуть не смущался. Бурундук вдруг сам просунул голову в петлю и через секунду, сдернутый Капчигаем с ветки, болтался в воздухе. Капчигай опустил его на землю, зверек заметался на привязи. Оскаленная мордочка зверька была залита красным.

Аркаша поморщился.

— Зачем мучаешь? — сказал он укоризненно Капчигаю. — Видишь, кровь...

— Кроб, кроб... Где кроб? — рассердился Капчигай, разглядывая зверька. — Ничего не понимаешь — кюрык еду запасает.

Защечные мешки бурундука, в которых он носит пищу, были чем-то туго набиты. Капчигай крепко прихватил зверька полой шабура и нажал пальцем на одну щеку бурундука, оттуда посыпалась ярко-красная калина.

— Вот какой кроб! — засмеялся Капчигай.

Он спокойно прикончил бурундука и через несколько минут ловко его освежевал. Шкурку он натянул на срезанную ветку черемухи, как на вилку, и положил в свой мешок.

Перекинув мешок с хлебом через плечо, Капчигай

зашагал вперед. Аркаша — за ним. Между моими спутниками завязались приятельские отношения.

В одном месте нам попалось свежее пепелище костра под густой, как крыша, пихтой. Видимо, недавно какой-то путник здесь располагался ночным привалом. У пепелища валялась черемуховая палка, обожженная с одного конца.

— Шор-кижи ночевал, — сказал Капчигай, поднимая палку. — Из рода Кый.

Я спросил, откуда Капчигаю известно, что именно из рода Кый.

— Ничего не знаешь. Видишь, какой конец чазала обгорел? Вершина. Значит человек из рода Кый.

Оказывается, этой палкой — чазалом — поправляют дрова в костре, и кыйцы это делают всегда вершиной чазала, а каларцы — комлем.

Мы с Аркашей смотрели на Капчигая со все возрастающим уважением.

К вечеру он нас снова вывел на тракт. Я спросил Капчигая, сколько мы прошли. Он ответил, что прошли мы мало, разве далеко с нами уйдешь...

— Шор-кижи и ты — разные люди, разные ноги. Наши ноги к тайге привыкли. Твои ноги скоро устают, ты сапог носишь, — Капчигай кивнул на Аркашины болотные сапоги,— а шор-кижи унты носит. Озагат обувает.

Он сунул руку за голенище и вытянул пучок травы, которой утром обернул ноги.

— Видишь — озагат. Такая трава. Лучше чулка. Ноге мягко, не больно. А вот Аркаше — ноги больно.

Действительно, Аркаша уже несколько раз, болезненно морщась, переобувался, он, видимо, стер ноги.

Когда стемнело, Капчигай снова увел нас в лес и, выбрав мохнатую, густую пихту, сбросил к ее подножию свою котомку. — Здесь ночевать будем! — сказал он и занялся устройством ночлега.

Он заставил нас наломать хвойных веток, настлать под пихтой. Получилось роскошное пахучее ложе. Разгорелся большой костер из сухих кедровых веток, над ним висел закопченный котелок, извлеченный Капчигаем из мешка.

Когда мы покончили с ужином, Капчигай, раскурив трубку и поудобней усевшись, сказал:

— Аркашка и ты спите. Я посижу, потом Аркашка сидеть будет, я посплю. Всем спать нельзя.

— Медведи? — с интересом спросил Аркаша.

— Хо,— ухмыльнулся Капчигай.— Огонь держать надо, холодно будет.

Действительно, из тайги, с Мустага, тянуло холодным ветром, зашумели вершины пихт. Перекликались какие-то ночные птицы.

Невдалеке что-то протяжно и гулко ухнуло, затрещали сухие ветки. Снова все стихло.

— Дерево умирает, — сказал Капчигай тревожно приподнявшемуся Аркаше и объяснил, что где-то неподалеку упала, наверное, от ветра старая высокая пихта, кончившая свой век...

Ветер как внезапно налетел, так внезапно и стих по всей тайге. Смолкли и птицы, потревоженные им. Густая, мохнатая тишина тайги окружала нас, лишь тихо звенели жаркие угольки в костре.

Глядя на звезду, мерцающую сквозь ветви над головой, я заснул.

Вероятно уже за полночь, меня разбудил Аркаша. Он, видимо, чего-то испугался, в широко раскрытых его глазах тревожно метались отблески костра.

Луна скрылась за темной тучей, вокруг густая темнота. Мне и самому стало как-то не по себе. Протянув к огню разутые ноги, спокойно похрапывал Капчигай. Аркаша, по-видимому, только что подбросил в костер сухих веток, огонь горел ярко и весело.

— Я ходил за дровами, — тихонько сказал Аркаша, — и там какая-то чертовщина, волки, что ли...

Он показал в глубь леса.

Я стал вглядываться в темноту, и действительно — где-то в глубине леса, не освещенной костром, сверкнули два чуть теплившихся огонька.

— Идемте, отпугнем, — предложил Аркаша.

Мы храбро тронулись в разведку. Высокая трава обильно покрылась росой, сразу же намокли колени. А огоньки то вспыхивали, то угасали, их заслоняли стволы деревьев.

Над головой вдруг шевельнулись ветви. Кррак! — отчетливо, резко прокричала какая-то птица, и крылья ее прогудели над нашими головами.

А огоньков стало уже не два, а несколько пар. Они не двигались с места... Мы медленно приближались к ним.

Вот уже совсем близко, но никакого движения не заметно.

— Светляки! — догадался я.

На пеньках, спасаясь от росы, безобидно светились эти крошечные фонарики, угасавшие, лишь только мы притрагивались к ним...

Всю остальную часть ночи у костра дежурил я. Чтобы не навлечь на себя насмешек Капчигая, утром о своем ночном приключении мы с Аркашей не обмолвились ни словом...

ЛАБОРАТОРИЯ ГАЙВОРОНА

Капчигай шел впереди, раздвигая кустарники, пересвистываясь с птицами и непрестанно дымя трубкой. Мы уже давно продвигались вперед без дороги, по мягкому, мшистому, усыпанному листьями ковру тайги. Капчигай по каким-то ему лишь известным признакам определял направление.

Аркаша шагал, прикусив губу от боли, — он еще вчера растер в кровь ноги. Капчигай утром заставил его сменить портянки на озагат, по-братски разделив с ним свой запас. Но все-таки ноги болели, и Аркаша шагал уныло, вероятно каясь, что пустился в это путешествие. Кроме того, плечи его оттягивал грузный рюкзак, содержимое которого меня не переставало интересовать.

Капчигай, чтобы развлечь Аркашу, по пути вырыл несколько луковиц уже переспевшей, но еще годной в еду сараны, нашел гнездо диких пчел и ухитрился, свирепо дымя своей трубкой, похитить из дупла соты, полные меду. Он чувствовал себя старшим над нами.

— Вот Сиволот Ваныч, ургенген-баш, — говорил

Капчигай, — шибко ученая голова, как десять голов думает. Меня учить будет. Все знает, никого не боится. Такой Сиволот Ваныч.

Мы были уже далеко в стороне от железной дороги и Шалыма. Перевалив гору, спустились по скалам к какой-то маленькой горной речке и пошли вверх по ее течению.

Аркаша вынул из рюкзака карту и попытался определить, где мы находимся. Этой речки на карте не оказалось.

— Хо, зря ищешь,— сказал Капчигай.— Таких сто, двести рек — кто их сосчитает?

К вечеру на берегу реки, над обрывом, под могучими пихтами белела маленькая палатка. Возле нее на самодельной скамеечке сидел человек в брезентовом плаще, в широкополой соломенной шляпе. Низко наклонясь, он что-то делал. Услышав наши шаги, он повернулся, вздернул остроконечную бородку; сверкнули очки, которые он тотчас заслонил от солнца ладонью.

— А-а, Макар! — закричал он гулко и, поднявшись с места, оказался очень длинным и худым, в брезентовом балахоне чуть не до пят. — Что за людей ты опять ведешь ко мне?

— Аймакчи, Сиволот Ваныч, гости, — ответил Капчигай, которого Гайворон называл почему-то Макаром.

Мы поздоровались. Аркаша вытащил из кармана письмо и с посылкой подал Гайворону.

— От Николая Степановича? Сын? — Гайворон с высоты своей оглядел Аркашу и, видимо, остался доволен. — Ну что ж, аймакчи так аймакчи... Потратим на них час-другой, как того требует гостеприимство. Располагайтесь. Макар, живо хворост, костер, чайник! Как во всяком хорошем доме...

Около скамеечки стояли наполненные семенами мешочки, лежали увязанные в аккуратные пучки какие-то травы.

Гайворон сел на лавочку и распечатал письмо. Через некоторое время он из-под очков поглядел на Аркашу, хмыкнул и снова углубился в чтение, покачивая головой.

— Так, так, Аркадий Степанович, то есть Николаевич, — сказал он, кончив читать, — так, коллега-с... Что ж, вы приехали кстати. Мне как раз нужен помощник. Тем более — вы любите ботанику... или, вернее, хотите ее полюбить?..

Аркаша смотрел на Гайворона широко открытыми, непонимающими глазами. Слова Гайворона удивили и меня. А Всеволод Иванович, ничего не замечая, продолжал:

— Неделю поживем здесь. А там видно будет. Я решу, когда вам ехать домой. Мне даны вашим отцом полномочия, юноша. А за доставку семян спасибо, Аркадий Степанович, то есть Николаевич.

Гайворон развернул сверток, принесенный Аркашей, и принялся рассматривать семена.

Аркаша покраснел и опустил голову. Он, видимо, попал в ловушку. Мне не терпелось спросить Всеволода Ивановича о содержании письма Аркашиного отца, но я подавил это нетерпение до более удобного случая, чтобы не расстраивать и без того огорошенного Аркашу.

Капчигай развел костер и вскипятил чай. Гайворон вынес из палатки котелок с медом, в котором желтели соты с прилипшими к ним крылышками пчел. Очевидно, мед был добыт тем же способом, каким недавно добывал его для нас Капчигай. Кроме того, Гайворон положил на разостланную газету высушенные коренья кандыка и лесной лук — колбу.

— Мед и акриды — вкусно, витаминозно, высокополезно, — торжественно отрекомендовал он кушанья. — А хлеб вышел весь.

Макар-Капчигай снял с шеста кипящий чайник, достал хлеб, мы присоединили свою провизию, и таежный пир начался.

Взяв корешок кандыка с газеты, Всеволод Иванович откусил кусочек и сказал:

— Эритрониум сибирикум — кандык. Предки Макара считали его одним из основных продуктов питания. Правда, Макар?

— Кандык-то наша еда, — подтвердил Капчигай.

— И определенно неплохая еда. А с медом это

уже лакомство. Отведайте, — предложил Всеволод Иванович. — Обратите внимание на колбу — иллиум урсинум...

После чая Всеволод Иванович, пользуясь последними лучами солнца, продолжал свою работу, а мы лежали около него.

Гайворон вынес из палатки гербарные папки и стал раскладывать травы из пучков, лежащих у его ног.

Временами он подолгу смотрел на какой-нибудь цветок и начинал вслух рассуждать:

— Гераниум робертианум. — Он поднимал стебелек на уровень глаз. — Липовая трава. Так, так, липовая трава. По убеждению шор-анчи, эта трава — лучшее средство против головной боли. Что ж, пока мы ее отнесем к лекарственным... Но другой вопрос: гераниум робертианум, как сообщил давно уже ботаник Крылов, тяготеет к местам, где произрастает липа. И это надо проверить..

Он разговаривал с растениями, как с живыми существами, и даже затевал споры:

— Цирцея лютериана, вы, голубушка, убеждены, что редчайшая особа в сих местах. Да, вам удалось провести не одного ботаника. Но теперь вам нечего кичиться, мы с вами, уважаемая, встречаемся частенько. И, пожалуйста, не выдавайте себя за флоруника. Вы обычное растение на альпийских лугах и в таежных местах. Да-с... Пожалуйста, не спорьте...

Аркашу заинтересовало, что за семена в мешочках, стоящих у ног Всеволода Ивановича.

— Это, юноша, клевер, вика, овсяница... Ради них я выехал сюда и отложил другие работы. Это для Академии наук, да-с, для Академии наук. Дикорастущие кормовые травы на склонах Алатау. Клевер, которому позавидуют альпийские луга Швейцарии. Сбор семян его мы с вами и продолжим завтра. Считайте, юноша, себя участником экспедиции Академии наук. Ваше имя будет упомянуто в отчете, точно так же как и Макар будет вписан в число моих научных сотрудников.

Оказалось, Капчигая действительно звали Макаром. Но в улусе за свое проворство и сметливость он

уже давно получил гордое имя Капчигая — Быстрого. Капчигай сидел на корточках, важно дымил трубкой — как-никак он был главным помощником урген-ген-кижи. По-видимому, и Аркаше понравилось зачисление его в экспедицию Академии наук. Он незаметно стал помогать Всеволоду Ивановичу разбирать травы...

Всеволод Иванович рассказал нам и о другой своей работе. Издавна установлено, что колба — хорошее средство от цынги, в ней содержится чудодейственный витамин «С». Но колба растет только в тайге. А она нужна и в Заполярье, и вообще везде. И Всеволод Иванович хочет, чтобы колба росла и в Стране Темира, и на Кавказе, и в Воронеже, и за Полярным кругом. Для этого надо было породнить колбу с обыкновенным луком. Несколько лет уже Всеволод Иванович и на грядках, и в комнатных ящиках, и прямо в тайге занимается скрещиванием колбы и лука.

Как я узнал позднее, имя таежного профессора Гайворона пользуется известностью далеко за пределами Страны Темира. За его работой следили академики, об опытах Гайворона писали в научных журналах, а он бродил по тайге в своем длинном брезентовом дождевике и соломенной шляпе, шаг за шагом раскрывая все новые и новые загадки горной флоры. Тайга была для него увлекательной лабораторией и местом научных открытий.

Всеволод Иванович, разогнув спину, поглядел на синевшую вдали вершину Мустага, на тайгу и задумчиво сказал:

— Горная Шория может стать не только страной железа, но и страной садов. Строители Сталинска назвали его городом-садом. Что ж, это правильно. Он будет городом-садом, в нем разрастутся, зацветут свои яблони, вишни, груши. Ведь есть же в Шории липа — дерево, которое вы найдете только за тысячи километров от Сибири. А здесь, в Шории, — целая роща. Это феномен, это реликт... Знаете, что такое реликт? Растение, которое нам рассказывает о своих предках — доисторических цветах и травах...

Когда стемнело и Капчигай разжег костер, Всево-

лод Иванович принес из палатки географическую карту, разостлал ее у огня. И мы начали путешествие в загадочную липовую рощу.

На берегу Кондомы пышно разросся этот лес — вековые, могучие липы, под кронами которых могли бы разместиться целые дома. В то время как шор-тайга уже готовилась сбросить свой летний наряд, липы еще цвели и в воздухе сладко пахло медом, липовой пыльцой, которую так любят пчелы. У лип — этих загадочных инородцев среди шор-тайги — была своя весна, свои обычаи. Липы гордо высились перед отступившими от них пихтами и елями и шелестели своей густо-зеленой листвой... Они были потомками древних, доледниковых лесов, в их листьях и корнях текли соки могучих доледниковых великанов, давно погребенных под толщами земли и превратившихся в залежи каменного угля.

Это были гигантские полутропические леса третичного периода: секвойи — мамонтовые деревья, грабы, каштаны, клены, буки, вязы, платаны, среди которых жили давно вымершие гигантские звери. В озерах плавали невиданных размеров и чудовищного вида рыбы.

Часть могущественной растительности тех времен теперь можно видеть лишь в Америке, на Амазонке, да на берегах Черного моря.

В тех лесах росла и липа.

Но вот на планете новые изменения, земля колебалась, нагромождались голые скалы, погребая под собою великолепные леса. Наступили холода, Сибирь покрылась льдами. Тропические леса исчезли, теперешний Кузнецкий Алатау представлял собою ледяные хребты, от которых сейчас остались в «живых» только Мустаг и Каратаг. Лишь в глубоких долинах, защищенных горными хребтами от ледников, сохранилась жизнь, но уже иная, способная выносить холода и страшные ветры. Это были наиболее стойкие, хвойные деревья: ель, пихта, кедр, родоначальники тайги, и среди них в одной из котловин — липа, единственная наследница густых тропических лесов, пережившая всех своих современников.

Изучение шорской липы составляло третий раздел работы таежного профессора.

Аркашу и Капчигая Всеволод Иванович отправил спать в палатку, а мы еще долго сидели с ним у костра, и немало удивительных историй о жизни растений, Стране Темира рассказал мне ботаник.

Я спросил его тихонько об Аркаше. Всеволод Иванович ответил без всякой таинственности:

— Николай Степанович — мой старый приятель. Мы с ним много походили по белому свету. Он собирался сам ко мне наведаться, да, видно, дела не пускают. Ну вот и прислал сына, просит, чтобы я занялся мальчиком. Пусть поживет в тайге, среди природы. Чересчур мечтателен и непрактичен.

Письмо Аркашиного отца, таким образом, мало объяснило странное поведение мальчика. Я поделился с Гайвороном своими наблюдениями.

— Что ж, может быть, у него какие-то свои затеи. Будет видно, — ответил Всеволод Иванович.

О затее Аркаши мы узнали значительно позже.

ГИНКГО

Всеволод Иванович поднялся чуть свет и тотчас разбудил всех.

— Вот что, дорогие мои, — сказал он заспанным мальчикам, — вот что, мои дорогие, давайте сразу же установим распорядок дня. Сейчас умывание на реке. Затем Аркаша разводит костер и кипятит чай. Макар заготовляет хворост на вечер. Как только трава обсохнет от росы, мы отправимся на гриву, будем пополнять гербарий. За дело!.. — Всеволод Иванович говорил это тоном приказания.

Вода в речке, подернутой белым туманом, была чертовски студеная, после умывания мы вернулись, дрожа от холода. Аркаша принялся разжигать костер. Гайворон, перебирая гербарные папки, пытливо поглядывал на мальчика, раздувавшего огонь.

— Человек, который хочет стать ученым-исследователем, должен уметь все,— сказал Всеволод Ивано-

вич назидательно. — И, прежде всего, он должен уметь разжечь костер в любых условиях: под дождем, в снежной яме, на любом топливе. Если он этого не умеет, для него закрыты пути в неизведанные края. Прошу это запомнить, Аркадий.

Покрасневшими от дыма, полными слез глазами Аркаша посмотрел на Гайворона и снова принялся раздувать никак не вспыхивавшую, влажную от росы траву. Капчигай, вернувшись с охапкой сухих кедровых сучьев, насмешливо посмотрел на Аркашу своими узкими, заспанными глазами, заполз в палатку и вытащил оттуда пук сухой травы из-под постели.

— Макар, тебя никто не просит вмешиваться, — строго остановил его Всеволод Иванович, — иди продолжай заготовку топлива.

Гайворон скосил глаза в мою сторону и лукаво подмигнул. Аркаша, багровый от смущения и напряжения, поднялся и, чуть не плача, отошел в сторону.

— Что ж, мы останемся без чая, — спокойно сказал Всеволод Иванович и вздохнул. — Вам, Аркаша, надо вернуться домой, для тайги вы еще не выросли. Но, так и быть, займемся.

Гайворон поднялся, подошел к Аркаше и, обняв его за плечи, подвел к кострищу.

— Давайте-ка, дорогой мой, вместе...

По его указаниям Аркаша переложил хворост, надрал бересты со старого пенька — и через несколько минут костер запылал.

Капчигай натаскал такую гору сухого хвороста, что ее, наверное, хватит на целую неделю. Поспел чай, и мы принялись завтракать. Аркаша, все еще смущенный, не поднимал глаз от земли и обжигался чаем.

Солнце уже стояло над тайгой. Стало тепло и весело в лесу. Защелкали, засвистали птицы, над травой загудели шмели и дикие пчелы. Черно-красная огромная бабочка, ночью прильнувшая к стенке палатки, отогрелась и улетела. Залаяла где-то поблизости собака.

— Ага, наверно, Смолин, — сказал Всеволод Иванович.

— И Шерегеш,— добавил Капчигай. — Его собака.

Той же дорогой, какой нас привел сюда Капчигай, из леса на поляну вышли два человека. Впереди шел седой шор-анчи с трубкой в зубах, с ружьем и сумой за плечами. За ним — бородатый, коренастый человек в дождевике, в высоких сапогах, с планшеткой, повешенной через плечо. Человек этот, как на трость, опирался на молоток с длинной рукояткой. Пестрая остроухая собачонка подбежала к нам, обнюхала пустые котелок и тарелку, стоявшие у костра, а затем по очереди каждого из нас.

Подошедшие поздоровались. Охотник снял ружье и сумку, присел к костру и, выхватив из него уголек, положил в трубку.

— Геолог Иван Петрович Смолин! — познакомил меня с бородатым человеком Всеволод Иванович.

Геолог, раскинув полы дождевика, присел к нашему застолью, и Всеволод Иванович налил ему кружку чая.

— Я думал, что вы уже перекочевали на Мрасс, — сказал геолог, прихлебывая чай.

— Нет, еще с неделю буду здесь. Понимаете, исключительные образцы кормовых нашлись. Придется задержаться.

Между ботаником и геологом начался разговор о работе.

Охотник с Капчигаем говорили по-шорски. Капчигай, по-видимому, рассказывал о нас с Аркашей, потому что охотник, попыхивая трубкой, сквозь дым несколько раз взглянул из-под нависших бровей в нашу сторону.

Из разговора Гайворона и Смолина я понял, что последний идет сейчас в Таштагол на совещание геологов всего района.

— Так вот вы и идите с Иваном Петровичем, — сказал мне Гайворон. — Ну, на денек задержитесь в тайге — а потом вместе в Таштагол. Иван Петрович вам кое-что покажет по пути.

Смолин согласился взять меня с собой, но предупредил, что дорога будет нелегкая и он пойдет не прямо, а будет завертывать в разные, его интересующие места.

Когда мы уже собрались в путь, Смолин хлопнул себя по карману дождевика.

— Ба, ба... Чуть не забыл. Я ведь вам подарок принес, Всеволод Иванович, — сказал он и, вытащив из кармана плитку сероватого сланца, подал ее Гайворону.

Всеволод Иванович протер очки и склонился над плиткой. На ней, будто рукой искусного резчика, было выгравировано очертание древесного листа, красивый тонкий узор покрывал камень. Это был мастерски исполненный природой снимок древнего растения.

— Гинкго, гинкго, — восторженно вздернув бородку, сказал Всеволод Иванович, не отрывая глаз от камня, — флора юрского периода. Прекрасно, прекрасно. Благодарю, благодарю, дорогой. — Всеволод Иванович растроганно пожал руку геологу.— Аркадий Николаевич, идите-ка сюда, полюбуйтесь.

Он вручил Аркаше плитку и тотчас отнял, как будто боясь, что неосторожным прикосновением Аркаша разрушит драгоценность.

— Если вы, Аркашенька, привезете несколько таких камешков домой, вы, дорогой, прославитесь. Может, подарить, а? — Гайворон дал Аркаше еще раз поглядеть на плитку и снова отнял.

— Это я нашел на Кондоме, выше Шалыма. Там целая скала в таких рисунках, — пояснил Смолин.

— Чем же мне вас отдарить, Иван Петрович? Это же такое добавление к моим коллекциям! — говорил Всеволод Иванович, обняв геолога. — Но я вас отдарю. Обязательно. Первой залежью золота, которая должна же мне попасться когда-нибудь в тайге.

Взволнованный, он удалился в палатку спрятать драгоценный подарок.

Шерегеш и Капчигай стояли в сторонке и глазами взрослых, снисходительно смотрящих на забавы детей, наблюдали за Всеволодом Ивановичем и геологом. Капчигай, смеясь, по-шорски сказал Шерегешу что-то, по-видимому, насмешливое по адресу ботаника и геолога. Шерегеш строго на него цыкнул и, с уважением поглядев на геолога, сказал:

— Ургенген-кижи... знает камень... А ты глупый еще. Совсем глупый — слова, как гальки, сыплешь.

Я распростился с Всеволодом Ивановичем и Кападчигаем.

Когда пришлось прощаться с Аркашей, он, потупив глаза в землю, сказал:

— В Новосибирске встретимся. Я завтра уеду отсюда. Обязательно.

ИЗЫСКАТЕЛИ

По еле заметной таежной тропе мы шли гуськом — впереди Шерегеш, за ним геолог, я замыкал шествие. Собачонка где-то все время пропадала, видно охотилась. Изредка она подавала голос откуда-нибудь со стороны.

— Шерегеш — это имя вам что-нибудь говорит? — спросил меня Смолин, кивая на идущего впереди проводника.

Мне было известно, что этим именем зовется одно из месторождений руды.

— Знаменитый человек, — сказал Смолин. — Вся руда на Кондоме в его руках. Он знает здесь каждый ручей, каждое дерево. И, пожалуй, сейчас он уже настоящий геолог. Отлично разбирается в качестве руды, работает с магнитометром. Вот только очень молчалив, за эти несколько лет я слышал от него не больше сотни слов. Сосет свою трубку и молчит. А понимает все с полуслова. Покажи ему место на карте — и не было еще случая, чтобы мы ошиблись в направлении. Шагает и шагает — так выматывает меня...

Шерегеш, немного согнувшись под тяжестью сумы, шел впереди нас неутомимым, легким шагом охотника и останавливался лишь затем, чтобы вынуть трут и огниво, высечь огонь и зажечь свою неистощимую трубку. Смолин сверялся с картой, вставленной за целлулоидную стенку его планшетки, вынимал компас и удовлетворенно крякал. Мы шли точно по марш-

руту. Делали короткие привалы у родников, чтобы напиться и передохнуть.

На одном из таких привалов я попросил Смолина рассказать мне о Шерегеше, которого он назвал знаменитым человеком.

— Рассказать вам о Шерегеше? — раздумчиво повторил геолог. — Но это значит — рассказать об открытии страны, которая теперь по справедливости называется Страной железа...

Мы сидели на берегу кипучего горного ручья. У ног геолога лежала грудка собранных им на берегу разноцветных галек, до блеска окатанных стремительной водой. Смолин по привычке легкими ударами геологического молотка раскалывал камешки, прищурив серые глаза, рассматривал изломы. Он вынимал из кармана пузырек с кислотой и, капнув на камешек, разглядывал, что происходит.

— «Рачения и трудов для сыскания металлов требует пространная и изобильная Россия... — неожиданно начал геолог декламировать. — Мне кажется, я слышу, что она к сынам своим вещает: «Простирайте надежду и руки ваши в мое недро и не мыслите, что искание ваше будет тщетно!..»

Геолог вслушался в эти произнесенные звонко и торжественно слова и восхищенно вздохнул.

— Ведь как это здорово сказано у Михайлы Васильевича Ломоносова! Еще в техникуме я прочитал это и каждое слово запомнил на всю жизнь.. Вот эти камешки мне рассказывают много такого, что, наверное, скрыто от вас. Интересные истории...

Держа на ладони фиолетовый кристаллик, Смолин ласково сказал:

— Вот куда тебя занесло, голубчик. Большой путь тебе пришлось проделать.

И разъяснил мне:

— Прослойки флюорита встречались мне в вершинах, где берет начало Кондома. А этот ручей — один из ее притоков...

Он взял из грудки кроваво-красный камешек с черными прожилками и расколол его, как орешек.

— Сургучная яшма. Если этой галечке придать огранку, отшлифовать, она станет почти драгоценностью, например, красивой брошью в золотой оправе...

Я не успел протянуть руку к самоцвету — Смолин равнодушно бросил его в ручей.

— Дымчатый топаз... Это уже князек среди самоцветов... Горный хрусталь... Голубая яшма... Гранат-альмандин... — Геолог, подкидывая на ладони камешки, перечислял их названия.

Я оглядел берег ручья, осыпанный галькой, поглядел в прозрачную воду, сквозь которую виднелось многоцветное дно. Выходит, мы попираем ногами россыпи драгоценностей!..

Геолог тем же безразличным движением метнул горсть камешков в сторону от себя и усмехнулся:

— Нас мало интересуют эти драгоценности, — он даже вытер ладонь о полу своего дождевика. — Мы ищем не самоцветы, а вот этот драгоценнейший металл...

Смолин вытащил из кармана дождевика бурую, ноздреватую глыбку, совсем некрасивую по сравнению с яшмой, и взвесил ее на ладони.

— Железная руда. Весьма богата железом. Вот что нужно сейчас стране. Этому сейчас мы, геологи, отдаем все свои помыслы и рачения, как говорил Ломоносов. Это драгоценность, это сила, это будущее гор и тайги, где мы с вами сейчас идем... Вот вы попросили меня рассказать о Шерегеше. А рассказывать о нем — значит надо начинать издалека, начинать с истории открытия железа в этом краю...

Между тем Шерегеш, сидевший неподалеку от нас, поднялся и, поправив лямки котомки, тронулся в дорогу, видимо решив, что пора прервать наш затянувшийся отдых.

— Да, пора двигаться, — сказал Смолин, — можно ведь разговаривать и в пути...

В тот год, когда началось строительство Кузнецкого завода, — начал Смолин, — я окончил на Урале геологоразведочный техникум и приехал в Томск, в распоряжение геологического управления. Перед геологами в ту пору поставлена была основная за-

дача — искать рудную базу для первенца сибирской металлургии. Среди геологов царило замешательство: где искать руду, куда бросить поисковые партии? Мы, молодые геологи, совсем терялись. Да и среди старых знатоков геологии Сибири шли разногласия. Одни предлагали искать руду на Енисее, другие — на Алтае. А скептики утверждали, что вообще в Западной Сибири надеяться на большие рудные богатства не стоит... Словом, план работ геологов по железной руде на тридцатый год был кое-как составлен и партии уже разъезжались в разные стороны без больших надежд на успех поисков. Вот в это время и явился в геологическое управление Алексей Чиспияков с реки Мрасса, принес образцы руды с горы Тылбес. А надо вам сказать, что как раз в Шорию-то ни одной поисковой партии и не предполагалось посылать, эти дебри считались почти непроходимыми, да и ранние разведки в этих местах не обнаруживали крупных рудных залежей, кроме давно известных, но небогатых Тылбеса и Темир-Тау. А вернее всего, что просто ничего о них никто не знал. Решили с Чиспияковым послать маленький отряд, чтоб проверить его показания и попутно обследовать отвалы старых золотоискательских работ на речке Ташелге, не встретится ли в гальке обломков железной руды. В этот маленький отряд, состоявший почти целиком из молодых геологов, только что начинавших работу, попал и я. На лодках, вьюком, пешком добирались мы до горы Тылбес. На это ушел почти месяц. Гора Тылбес действительно была железной, Алексей Чиспияков оказался прав. Но месторождение маленькое, с небогатым содержанием железа. Мы тронулись на Ташелгу, к Большому мрасскому порогу. Я не знаю более красивого в Шории места, чем Мрасс у Большого порога, вы там обязательно побывайте. Справа и слева поднимаются горные хребты, одетые вековым пихтачом и могучим кедровником. Миллионы лет поднимали эти горы, и миллионы лет их точила, прогрызала река Мрасс — и добилась своего: пробуравила между ними глубокое ущелье. Река в этом месте не поддается никакому описанию. Сравнение ее с диким, бешеным зверем, пожа-

луй, будет слабо. Она ревет тут так, что скоро глохнешь, ворочает такие каменные глыбы, что теряешь представление об их тяжести, они кажутся галькой в ручье. Вот это место и называется Большим порогом. Сколько там разбито лодок и плотов, нередко бывали человеческие жертвы, вам об этом еще придется услышать. Так вот, добрались мы до Большого порога, к месту впадения Ташелги в Мрасс. Тут стояла избушка русского рыбака Арефьича, со старухой своей доживавшего век в этой глухомани. Старик почему-то не очень долюбливал людей, удалился от мира в этот необитаемый угол. Он и нас встретил не очень радушно, молчаливо. Старуха согрела нам стариннейший самоварчик, заварила богородской травки, Арефьич, покряхтев, слазил в голбец и налил нам, непрошенным гостям, ковш старого, крепкого меда, от которого сразу зашумело в головах, так что мы начали даже толковать старику насчет стратиграфии и тектоники, убеждая его помочь нам в поисках руды. Он отмалчивался, конечно. На следующий день мы начали поисковые работы. И уже в этот первый день праздновали победу. Самое беглое знакомство с местностью показало, что мы приближались к крупным и богатым залежам железняка. Магнитная стрелка не знала, как себя вести, ее трепала лихорадка, она то повертывалась на юг, то на восток, то начинала делать полные круги, то вдруг останавливалась, как припаянная. Это уже была не аномалия, а настоящая магнитная катастрофа. Мы поняли, что напали на крупное месторождение руды. И вот охватила нас ярость открытия. А было нас всего четверо. Сами, как заправские лесорубы, валили вековые кедры и пихты, прорубая просеки, сами копали разведочные канавы, отрываясь от этого дела лишь затем, чтоб произвести магнитометрические наблюдения и топографические отметки на карте. Так увлеклись работой, что совсем забыли, где мы и в каком положении находимся. Уже и продовольствие кончилось, одежда, изодранная о сучья и камни, отказывалась прикрывать тело, а от сапог остались одни воспоминания. Да и сами мы, заросшие бородами, загорелые и исцарапанные, в изодранной одеж-

де, являли собой вид едва ли не более живописный, чем у Робинзона... Подобревший Арефьич кормил нас рыбой собственного улова, изредка баловал медовухой, которую мы выпивали, произнося вдохновенные тосты в честь наших открытий. Наконец мы догадались направить вниз по Мрассу на лодке гонца-шорца с сообщением о нашей находке и просьбой о срочной помощи. Дней через десять наш посланец вернулся и привел с собой еще двух лодочников; они привезли нам провиант, теплую одежду и некоторые инструменты и принадлежности. Работали мы до поздней осени, когда уже в воздухе начали летать белые мухи, с гор подули леденящие ветры. Пришла пора возвращаться. Арефьич сказал нам, что по Мрассу пойдет скоро шуга и тогда нам отсюда не выбраться. Нагрузив лодки образцами руды, мы тронулись вниз по темной, густеющей реке. На берегах уже лежал снег. Плыть по замерзающей реке было очень трудно, но мы чувствовали себя Колумбами, открывшими новую землю — Страну Темира. Впрочем, если говорить об открытии этой страны, то оно еще все было впереди, об этом надо рассказывать долго...

— А о Шерегеше? — спросил я у Смолина.

— Вот я и говорю, что о Шерегеше рассказ еще впереди. Может, я вечером об этом расскажу, на привале, — ответил геолог.

Шерегеш, шедший все время впереди нас, свернул с тропы в сторону, и мы пошли по густому лесу. Солнце уже село за горы, и в лесу стало темновато. Собака поднимала с земли целые выводки тетеревов, в рябиннике насвистывали рябчики, дорогу перебежал бурундук, мелькнув полосатой шкуркой и блеснув бусинками глаз. Раскинув хвост, над нами перелетела с кедра на кедр белка.

Смолин был, по-видимому, влюблен в тайгу, в этот многообразный, живущий своей жизнью мир. Он прислушивался к шорохам леса, подсвистывал птицам, похлопывал ладонью по гулким стволам деревьев. Музыка!..

В тайге уже совсем стемнело, когда мы остановились на ночевку и развели костер.

РАССКАЗ ОБ ОТКРЫТИИ СТРАНЫ ТЕМИРА

— Зима в Томске после нашей горно-шорской экспедиции пролетела быстро,— продолжал Смолин свой рассказ. — Она была заполнена горячкой камеральной обработки собранных в тайге материалов. Знаете, это ведь очень интересная работа, раскрывающая перед тобой целые миры. Положенная под мощные линзы микроскопа, тончайшая пластиночка минерала — шлиф раскрывает чудесный мир камня, сказочное царство красок. Какой это спектр цветов! Голубовато-серые плагиоклазы, пересыпанные разноцветными искорками серицита; лимонно-желтые эпидоты; играющие всеми цветами радуги мусковиты, отливающие нежными тонами утренней зари; опалоподобный сфен и среди всего этого великолепия черные кубики магнетита... Ей-богу, найдется еще поэт, который когда-нибудь раскроет перед людьми эти чудесные миры, они станут еще предметом искусства для человека, вооруженного наукой. Изучая шлифы, мы заглядываем в глубь земли, возвращаемся к временам и событиям, случившимся с нашей планетой сотни миллионов лет назад. Но вместе с тем мы заглядываем и в будущее недр земли. Геолог по радужной дороге шлифов прокладывает маршруты своих дальнейших изысканий и разведок; ведь и камни, как люди, объединены в большую семью, по одному можно угадать соседство других, по сочетанию нескольких — найти дорогу к искомому минералу... Цветное многообразие исследования под микроскопом переносится на геологическую карту изучаемого района, и она становится похожей на ковер самой затейливой, удивительной окраски. Так на карте выглядел теперь и наш район. Среди розовых полей гранита, голубых полос мрамора и зеленых лент сланцев выступили буроватые пятна железной руды. Камеральные подсчеты показали, что мы наткнулись на довольно крупное месторождение руды. Правда, для такого гиганта, как строившийся Кузнецкий завод с его могучими домнами-великанами, способными переваривать в своих утробах целые поезда шихты, это месторождение было, конечно, весьма

скромным. Но наша находка родила у геологов веру в то, что в горах Алатау могут быть еще и более крупные залежи.

Семнадцатый партийный съезд поставил перед геологами задачу — резко расширить геологические работы. Геологические поиски было решено вести на больших площадях, в определенные районы послать большое количество партий, которые делали бы сплошную геофизическую съемку района.

Начался большой геологический поход и по Горной Шории. Для него понадобилось много людей, и не только специалистов — геологов, геофизиков, разведчиков, коллекторов, — но и организаторов, хозяйственников, квалифицированных рабочих. Зимой в помощь нам было мобилизовано сто коммунистов — опытных, проверенных на разной работе людей, но совсем не сведущих в геологии. Они возглавили партии и отряды разведчиков. Сказать по правде, мы, геологи, не очень верили, что эти люди будут полезны. Мы называли их «комиссарами». Они кончили краткосрочные курсы, на которых лекции по геологии читали лучшие профессора — Усов, Коровин, самые опытные наши геологи-практики. «Комиссары» наши в большинстве оказались такими ревностными учениками, что вскоре начали подгонять своих учителей, быстро осваивали науку, увлеклись делом. Многие потом оказались очень хорошими начальниками партий. Вот завтра вы увидите нашего в Таштаголе, он из «комиссаров». Деловой, знающий и смелый человек.

Еще набрали весной парнишек и девушек из последних классов школ. После короткой подготовки стали они коллекторами, магнитометристами.

Весной вся наша армия двинулась в Шорию и растеклась отрядами по берегам Томи, Мрасса, Кондомы, по тайге и горам Кузнецкого Алатау.

Мне хотелось продолжать разведки на Ташелге, проверить некоторые свои предположения, родившиеся во время камералки, но пришлось направиться на Кондому. Мы, участники экспедиции по Мрассу, уже считались знатоками Алатау и были распределены по новым партиям.

Сейчас что — мы уже как по проспектам здесь ходим, есть колесные дороги, хорошо откорректированы карты, изучена местность. А тогда мы шли буквально на ощупь — по нехоженой тайге, через неизведанные горы и неожиданные реки, каких и на карте не значилось, по таежным тропинкам, которые не всегда охотно показывали лесные редкие жители, иногда уклонявшиеся вообще от встречи с нами.

Тащить все пришлось на себе — инструменты, снаряжение, запасы продовольствия. С вьючными лошадьми нам не везло, наверное от неумелого с ними обращения, одна ногу себе сломала в буреломе, другие сбили спины. Словом, осталась у нас в ходу всего одна лошадь. Шли медленно, бывало, по нескольку дней бились, чтоб найти место подъема на перевал или брод через горную речку. У нас в партии работало несколько коллекторов, вот вроде вашего Аркаши, впервые попавших в тайгу, да две девушки. Жалко смотреть было на них — так изматывались в пути. Правда, духом не падали, но не раз я видел, как ночью на привале, у костра, кто-нибудь из них записывает свои впечатления в тетрадочку, да нет-нет и горестно вздохнет, размажет по чумазой щеке тайную слезу.

Ведя наблюдения, пока что не очень нас радовавшие, добрались мы до Кондомы и стали лагерем на ее берегу. Отсюда решили вести разведки по обоим берегам.

На Кондому пришли несколько геологических отрядов, в разных местах начавших работу. Прежде всего мы постарались сблизиться с местным населением, надеясь, что найдутся и другие чиспияковы, шорцы — охотники, рыбаки, которые могли знать о железе.

Мы не ошиблись. Первым из них пришел вот он, наш знаменитый Шерегеш, — Смолин кивнул на сидевшего у костра охотника, смотревшего в огонь и, очевидно, со вниманием слушавшего рассказ геолога. Собачонка, свернувшись в клубок, спала около него.

— Род Шерегешей жил издавна на Кондоме, по старинному обычаю, имел свою родовую «тайгу», то есть охотничьи угодья, границы которых по неписаному таежному закону определяли горы: «Вон от той

горы и до той и между этими». В эту «тайгу» никто из других родов не заходил, не трогал дичи и ореха, принадлежавших Шерегешам. Конечно, и сами Шерегеши уважали суверенные права соседних родов. Так вот род Шерегешей и обосновался издавна на северном склоне горы Кубес.

Несколько десятков лет назад старик Шерегеш с двумя сыновьями — Михаилом и Александром,— охотясь в своей «тайге», наткнулся на черные камни, полузаросшие травой и мхом. Старик сказал сыновьям, что это не простой камень, из такого камня его дед выплавлял железо. Род Шерегешей вел свое начало от древних темир-узы, кузнецов, но кузнечным делом заниматься давно перестал.

Старик сделал затесы на деревьях, около которых лежали железные камни, чтоб по затесам, когда понадобится, отыскать это место. Старый Шерегеш вскоре умер, а сыновья, не предполагая заниматься кузнечным делом, забыли о находке. Четверть века лежали эти камни забытыми в тайге. Вспомнил о них Михаил Шерегеш, когда на Кондому пришли мы, геологи, и ему стало известно, что мы ищем железо. Затесы на деревьях, сделанные его отцом, уже давно заплыли. Охотник провел в тайге несколько дней, чтоб отыскать место, где лежали железные камни. И вот явился к нам в лагерь и вызвался проводить нас к этому месту. С ним отправился геолог Батов и скоро принес образцы хорошей железной руды. Мы немедленно начали разведки по склонам горы, на которую нам указал старый охотник, и натолкнулись на богатые залежи руды. Это месторождение мы решили назвать в честь первооткрывателя именем Шерегеша, под таким названием оно и было нанесено на карту и значится в документации. А сам Шерегеш с тех пор так увлекся поисками железа, что стал постоянным проводником геологов и отрывается от этого дела только на время охотничьего сезона и шишкобоя. Вот он скоро уйдет от меня — в тайге поспевает орех. А потом охота, и он будет белковать далеко за Мустагом.

Почти одновременно с открытием Шерегеша мы узнали о крупных успехах и других наших партий на

берегах Кондомы. Шорский охотник Кизерев из улуса Усть-Кочура указал геологу Пятницкой на рудную гальку в одном из горных ключей, и тут было открыто рудное тело.

А самое интересное в Шории Таштагольское месторождение, куда мы с вами сейчас идем, помог найти русский приискатель Скворцов. Еще в 1912 году, разыскивая золото на ключе Таштагол, он не раз встречал черную тяжелую гальку, в которой разгадал железо. Вот он явился к нам: «Чо, робята, железо, однако, искать прибыли? Так вы меня спросите, я тут по золотничному делу все места наскрозь изучил. Искал золотишко, но и другие полезные породы примечал, хоть они и были мне ни к чему». Я отправился с ним на ключ, где он когда-то видел железную гальку. И уже первые ее образцы показали, что это руда, какой мы еще не видели в Шории,— богатая железом и без вредных примесей, вроде сернистых соединений, встречавшихся в рудах других месторождений. На следующий день мы отправились на ключ с геологом Батовым, взяли магнитометр. Первый же маршрут с магнитометром показал, что мы стоим на такой аномалии, какой еще нигде не встречалось. А через некоторое время, ведя уже разведку на горе, наткнулись мы на такое, что всей нашей партией долго кричали «ура» и даже произвели салют из своих дробовиков. Перед нами высилась скала красновато-черного мартита — замечательной руды! Железо само выпирало из недр Таштагола. Такого мне еще не доводилось никогда видеть. Даже слезы из глаз потекли, когда я увидел эту железную скалу, — может ли быть лучшая награда разведчику за все его искания и работу, полную трудностей и лишений!

Мы работали на Таштаголе все лето, и каждый день разведок сопряжен был и с радостными находками и с многими трудностями работы и жизни в этих суровых, совсем еще не обжитых местах.

Вот уже и осень подошла, начались дожди, они в этих местах затяжные, проливные да еще с ветром. В палатках наших все отсырело, грязища по горло. Маленькие ручейки превратились в реки, Кондома

вздулась от осеннего паводка. Броды через реку стали опасны или совсем недоступны. Да и связь с «Большой землей», как мы называли Кузнецк, совсем прервалась из-за бездорожья. Все трудней стало подвозить продовольствие на стан нашей партии. Вымазанные грязью кули с мукой тащили на волокушах, пробовали даже приспособить сани. Лошади, изнемогая на перевалах, ложились в грязь и не вставали. А возчики били коняг, поминали всю свою родню и всевышнего, размазывая по лицу грязь и слезы. В конце концов пришлось прибегнуть к переноске клади на руках по этапам.

Лагерь наш располагался на левом берегу Кондомы, у подножия Таштагола. Чтобы совсем не оторваться от «Большой земли», пришлось наводить мост через бешеную Кондому. По пояс в ледяной воде мы ставили козлы, заводили лодки, настилали на них тяжелые сырые плахи. А ночью новый подъем воды — и уносило наполовину наш мост, срывало лодки, снова приходилось строить все заново. В это время не прекращались работы и на разведке — вырубались просеки, рылись канавы и шурфы. В раскисшей глине по колено возились наши бедные коллекторы — девушки и ребята,— обстукивали молотками каждый камень, зарисовывали выработки на обратной стороне обоев, которые, за неимением бумаги, мы раздобыли в кооперации. В мокрых палатках геологи, на пустых ящиках разложив планы, вычерчивали месторождения железа — все отчетливей проступавшие рудные тела.

Словом, никто не собирался свертывать работу, хотя условия, прямо скажу, были невыносимые. Мы начали строить в лагере дома, из дикого камня сооружали камельки, которые отчаянно дымили. Но под крышей было куда лучше, чем в протекавших палатках.

Надвигалась зима, на Мустаге уже появилась белая шапка, в высокогорье выпал снег, он вот-вот должен был появиться и в долинах. И все-таки мы не прекращали работы, хотя это было уже против всяких правил. Дело в том, что геологоразведочное дело считалось сезонным, летним. Магнитометрические наблю-

дения, топографическая съемка, рытье разведочных канав и дудок принято производить летом, а зимой полагалось вести камеральную обработку собранных летом материалов. Но ведь Кузнецкий завод строился и зимой, домны готовились к пуску. Не могли и мы ждать лета. Посоветовались, поспорили и решили, что можно производить камеральную работу на месте разведок и продолжать разведки без перерыва. Это было вообще впервые в геологической практике, и кое-кто называл нас сумасшедшими. Тем, кто хоть немного сомневался в успехе дела, чувствовал себя слабым, было предложено уйти сразу, как только установится санный путь. Пусть уходят, чтоб в более тяжелое время не расстраивать остальных. А что предстояли нам трудные времена — это знали все. И наш начальник партии прямо об этом говорил. Никто из лагеря не ушел. Работы продолжались полным ходом.

А на разведках Шалыма оказалось еще труднее. К местам поисковых работ приходилось подниматься по тропинке, вьющейся по небольшому ключу, только пешим порядком, таща на себе вьюки. Разведчики свой лагерь прозвали «Орлиным гнездом», он находился на почти оголенном хребте, где всегда свирепствовал ветер. Буровые станки и двигатель разведчики туда занесли на руках, так как лошади не могли взять крутого подъема.

И на Шалыме работа продолжалась зимой. Топографы вели съемку на лыжах, то и дело дыханием отогревая и протирая стекла инструментов. Ну, я думаю, вы представляете, каково было зимой, в промерзлом грунте, в камне, бить шурфы и канавы. Пришлось над местом работ возводить тепляки, в которых при свете «летучих мышей» применяли и взрывные работы, когда земля не поддавалась кайле.

Словом, жилось и работалось трудно. Но зато какой дружной семьей мы жили! Знаете, у нас даже свадьбы справляли — по-таежному поженили мы двух молодых геологов и девушек-коллекторов, построили для молодоженов комфортабельные землянки... Весело отпраздновали Новый год, из Кузнецка с оказией нам доставили новогодние подарки. Это новогодие стало

днем рождения Страны Темира, она шаг за шагом раскрывала перед нами свои сокровенные недра. Мы еще только начали разведки, но уже верили, что Таштагол, Шалым, Шерегеш станут в будущем вполне достойной рудной базой Кузнецкого гиганта...

Смолин замолчал, закуривая. Шерегеш уже давно спал, костер догорал. Геолог задумчиво посмотрел на костер и тихо закончил рассказ:

— Пришлось мне написать домой, в Свердловск, что свидание откладывается до лета. А летом, конечно, и подумать было некогда о поездке. Ну вот, так и получилось, что с семьей я в эти годы виделся всего дважды. Наконец жена взяла да и приехала с сынишкой в Сталинск. Теперь все в порядке, сынишка начал учиться, жена работает в заводоуправлении.

Смолин при этом доверчиво улыбнулся и умолк.

— Ну, пора и поспать, нам ведь завтра придется порядком пошагать, — сказал он, устраиваясь на ложе из пихтовых лапок. Он накинул капюшон плаща на голову и улегся.

Я подложил в костер сухих кедровых сучков и стал записывать его рассказ в тетрадь, наполовину уже заполненную рассказами металлургов. Для записи легенд и песен о Стране Темира, очевидно, придется заводить новую тетрадь.

КАМЕНЬ НА ЛАДОНИ

С компасом, с картой в истрепанной планшетке, с молотком на длинной рукоятке в руках и котомкой за плечами всю свою жизнь этот человек проводит в пути по неизведанным краям земли. С проводником — местным охотником или просто местным жителем — он идет в пустыни или тайгу, взбирается по узким уступам на холодные вершины гор, переправляется через неведомые реки, которых нет на картах. Жгучие морозы, иссушающий зной, встречи с хищными зверями, а иногда и голод — все это привычно разведчику недр, искателю земных кладов.

Такова профессия этого человека.

Конечно, он идет не за тем чудесным кладом — сундучком с золотом и каменьями, какой в старину в ночь под Ивана Купала, в ночь цветения папоротника, искали многие люди. Но он постоянно несет в себе неугасающую мечту древних рудознатцев — открыть такой земной клад, который принесет людям богатство и счастье. Он всегда работает для народа, для своей страны. По его следам к открытому им кладу идут строители, возводят город, ставят машины, пробивают ходы в каменные горы, в земные глубины. И текут из недр богатства, будь то черное золото — уголь, нефть или железо — или настоящее желтое золото, которое теперь, и особенно в нашей молодой, строящей свое будущее стране, отнюдь не самый драгоценный металл.

Там, где еще недавно разведчик разжигал свой одинокий костер, там, где стояла его маленькая палатка, будут сверкать электрические огни, молодой просторный город раскинется в долине. И немногие обитатели этого города будут знать, что своим местожительством и работой они обязаны человеку, который открыл для них клад в этих местах.

Хорошо бы при строительстве новых городов называть улицы именами разведчиков, по чьим следам пришли строители, ставить памятники этим людям.

В Магнитогорске, в Сталинске, в Хибинах, в Соликамске, на Камчатке и во многих других новых городах следовало бы это сделать.

В Стране Темира для разведчика земных кладов столько еще не хоженых маршрутов, столько не открытых еще богатств, что ему хватит работы на всю жизнь. И не одному, а сотням, армии разведчиков. По берегам Кондомы, Мрасса, Томи и сотен безыменных горных и таежных рек Страны Темира возникнут рудники, заводы, селения. И по ним мы когда-нибудь восстановим весь путь, какой прошли геологоразведчик Иван Смолин и его сотоварищи.

Так думалось мне, когда геолог закончил свой рассказ.

К Таштаголу мы подошли к вечеру следующего

дня. Шерегеш незадолго перед этим простился с нами и свернул на тропинку в свой улус, расположенный на одном из притоков Кондомы.

— Ну, теперь я с ним увижусь только зимой, — сказал Смолин, — шишковать пошел. А когда возвратится, то непременно потребует от меня отчета о том, что сделано без него. Возможно, и сам принесет образцы руды, он ведь побывает за это время во многих местах, охотники уходят на промысел к границам Хакассии и Горного Алтая.

Мы шли берегом Кондомы по местам, где должна была прокладываться железная дорога к Таштаголу — будущему руднику.

— Вот тут через Кондому будет перекинут настоящий мост, — Смолин показал на висячий мостик, переброшенный на канате через бурлящую реку.

Поселок из двух-трех десятков домиков находился на правом берегу Кондомы. На другом берегу у подножия горы, густо поросшей хвойным лесом с редкими светлыми пятнами берез и осин, прилепились несколько избушек да белая палатка. На вершине горы виднелось несколько разведочных копров.

— Вот там наша база, — махнул геолог рукой по направлению горы, — а тут закладывается первая штольня будущего рудника. Пройдет несколько лет, и здесь наступит другая жизнь. Будет рудник, будет город... Таш-та-гол! — Смолин несколько раз повторил это слово, разделяя его на слоги: — Таш-та-гол! Вы знаете, что означает это слово? Некоторые переводят его как Каменный лог. Но вот я слышал другой перевод, и он мне больше по душе и вообще содержит больше смысла, поэтического смысла. Шерегеш тоже настаивает на таком переводе, а шорцы любят и понимают поэтическое слово. Таш-та-гол — Камень на ладони. Смотрите, какое название придумал кто-то, вероятно не предполагая, каким великим смыслом оно наполнится в будущем...

Смолин достал из кармана дождевика глыбку руды, взвесил на ладони.

— Камень на ладони, вот этот камень, в котором заключено будущее этих гор, тайги, дикой Кондомы.—

Геолог ласково смотрел на камешек, и его заросшее бородой лицо посветлело, серые с прищуром глаза улыбались. — Понимаете, когда я беру в руку руду, слово «Таштагол» наполняется для меня огромным, волнующим содержанием. Камень на ладони — и мне представляется, что вся наша страна сейчас держит Горную Шорию на своей ладони и разглядывает ее: какой клад открылся в Кузнецком Алатау! Чем больше мы его разгадываем, тем драгоценней он нам кажется!

Мы перешли через бурлящую Кондому по раскачивающемуся мостику и стали подниматься к горе Таштагол.

— Вот пробуду несколько дней в тайге, в отдалении от этого места, и, когда возвращаюсь сюда, вон в ту избушку под горой, где я живу уже не первый год... волнуюсь, будто после разлуки возвращаюсь в родной дом.

Мы поднялись еще выше, почти к самому разведочному копру. Отсюда открылся вид на раскинувшийся на другом берегу поселок, серебристую, закатного солнца, извилистую Кондому и Шалымский перевал, уже окутанный голубоватой дымкой вечера.

— Мы стоим с вами на железе, — продолжал Смолин и обвел рукою горы. — Под ногами у нас гудит и вздрагивает от взрывов земля, это в забоях рвут руду. Там, в подземном городе, стучат, поют бурильные станки, грохоча, вываливается из люков руда в вагонетке, по штрекам и штольне мчатся электровозы с длинными составами...

Я знал, что подземного города еще нет, но мне явственно представилось все, что рисовал геолог. Я слышал гул горы под ногами, видел широкие штольни, освещенные цепочками огней, голубые вспышки на проводах, высекаемые электровозами, и горняков, все глубже уходящих к сердцу горы.

— А вот там, — геолог протянул руку в распадок меж гор, к берегу Кондомы, — там выстроят электростанцию и станцию железной дороги, где поезда из Кузнецка будут грузиться таштагольской рудой. А на том берегу — город.

Высокий бородатый человек в длинном дождевике, освещенный закатом, протягивал свой геологический молоток то в одну, то в другую сторону, и в моем воображении ясно вырисовывались то высокие рудничные копры, то россыпи огней в дремучем пихтаче, то высокие здания.

Со стороны Шалыма послышался мощный гул, будто гром раскатывался по горам и тайге. Я с удивлением всматривался туда — какое еще чудо вызвал этот человек, увлекший меня своей мечтой?.. И действительно, это походило на чудо: из-за мохнатых вершин Шалыма вынырнул самолет и, наполнив все окрест гулом, низко прошел над нами. Проводив его спокойным взглядом, Смолин сказал:

— Вот ему легко, он сейчас за двадцать минут перевалил через горы, по которым пеший, да и конный пробирается неделями.

Геолог снова повернулся к долине, уже затянутой синевой. Там мигали редкие огоньки поселка, слышались выхлопы движка первой таштагольской электростанции, освещавшей селение. Еще не погасло зарево заката, но над горами уже загорелись необыкновенно крупные и светлые звезды.

— Вон там, в долине, по берегам Кондомы, скоро раскинется город Таштагол, — продолжал Смолин. — Вон, видите, улица Энтузиастов, такая же широкая и красивая, как проспект Энтузиастов в Сталинске. Вон дворец горняков, смотрите, как он сверкает у подножия горы. Вон там стадион, а выше — парк, зеленые аллеи, круглые фонари...

Велика сила мечты человека, который сам творит будущее и знает, что мечта его — сама жизнь!

И видели мы в темной долине будущий город, сияющий множеством огней, светлый город Таштагол — молодую и светлую столицу Страны Темира.

— А мы сдадим эксплуатационникам месторождение, и придется мне податься в новые места. Скорей всего на Усу, там предстоит много интересной работы, — задумчиво проговорил геолог.

ВСТРЕЧА НА ПЕРЕВАЛЕ

Геологи после трех дней жарких споров над картами и расчетами, после долгих разговоров о руде, ушли из Таштагола продолжать разведки в горах. Смолин отправился «оконтуривать хвосты Таштагольского месторождения». Так он выразился, прощаясь со мной.

Я уже несколько дней отсиживался в поселке. Не было лошадей, не было попутчиков на Кабырзу. Тяжелый дождь непрерывно поливал землю.

Попутчик наконец нашелся. Молодой, длинноногий ветеринар в очках направлялся из Кузедеева в колхоз «Шор-Анчи». Он, как и я, ждал лошадей, но наконец махнул рукой и решил идти пешком.

— Надо идти невзирая на атмосферу, — решительно сказал он, — меня ждут. Вот и пойдем вместе, а то одному в тайге скукота — пихты да дятлы. Поговорить не с кем.

На лицо ветеринара, покрытое на щеках медно-рыжим пушком, детским румянцем и веснушками, по-видимому, ни горное солнце, ни бураны не действовали. Одет он был тоже не по-таежному: в серое пальто реглан, какую-то ужасно цветистую кепку. Весь его путевой багаж составляла полевая сумка.

Мы тронулись в путь по берегу Кондомы. Встретившийся нам старик шорец поздоровался и, покачивая головой, оглядел наши ноги:

— Пошто в тайгу так пошел? — сказал он укоризненно. — Совсем плохой обутки...

И правда, оба мы обуты в ботинки, а у меня еще раньше отмокли и потерялись каблуки.

Но спутник мой, носивший редкое имя Конкордий, отметил, что он пятый год работает в тайге и все это время ходит в ботинках.

Через полчаса дорогу нам перегородила бурливая речушка, впадающая в Кондому. Конкордий удивился: такой речки здесь он не предполагал, наверное, она появилась от дождя. Он разбежался и перемахнул ее, — длинные ноги ему позволяли преодолевать и не такие препятствия. Мне пришлось перебираться, прыгая с камня на камень.

Мы вошли в густой лес, и ливень здесь стал почти незаметен. Пахло прелыми листьями и грибами, посвистывали рябчики и бурундуки.

Конкордий шел впереди и без умолку повествовал о своих походах по горам и тайге.

Чтобы укрыться от дождя, мы шли не по дороге, а по тропинке, вьющейся под навесом пихт в стороне.

Вдруг Конкордий останавливается, оглядывается по сторонам, и лицо его становится задумчивым.

— Кажется, это не то! Мы не по той дороге дернули. Придется обратно немножко пройти.

Он несколько раз меняет направление и наконец находит тропу.

— Это ничего. Обычный случай в тайге, — говорит он спокойно и продолжает рассказ, прерванный полчаса назад.

Так мы идем еще час и другой. Намокшая, тяжелая одежда и ремни рюкзака давят на плечи, в ботинках хлюпает вода.

Пришли к новой речке — эту и Конкордий не мог перепрыгнуть.

— Надо разуться, — сказал он, вздыхая.

Мы разулись, засучили брюки и вброд перешли речушку, оказавшуюся, к счастью, мелкой. Но вода была такая студеная, что я сразу продрог до костей.

Пройдя шагов тридцать вдоль речушки, мы обнаружили старый, но крепкий мостик.

— Как же это так, Конкордий! — сказал я с обидой, стуча зубами от холода.

Конкордий протер очки и невозмутимо отвечал:

— Ну что ж... Два года назад его здесь не было. Обычный случай...

Мы, наверное, отмахали добрый десяток километров, когда ветеринар запутался совсем. Тропа, по которой мы шагали, сошла на нет.

— Что за черт? — удивился Конкордий. — Места знакомые... Должна быть уже дорога, а тут и тропы нет. Не понимаю.

А я начинал понимать, что попутчик мне попался не очень надежный, с ним, наверное, придется еще хватить лиха. Дело близилось к вечеру. Конкордий,

уже встревоженный и суетливый, начал метаться то в одну, то в другую сторону. Мы уходили вперед, возвращались, расходились в разные стороны. Никакой тропы не было. Бесстрастные кедры и пихты шумели своими вершинами над двумя чудаками. Мы то и дело перекликались между собою.

— Ну что ж, сделаем привал, подкрепимся, — предложил Конкордий, стараясь казаться спокойным. — А потом я в два счета..

Мы сидели под кедром и молча жевали хлеб, размышляя о перспективе неизбежной ночевки в тайге.

И вдруг откуда-то из глубины леса донесся приглушенный женский голос. Звонкий альт выводил грустную мелодию.

— Ну вот, я же говорил, что дорога где-то близко, — сразу расцвел Конкордий.

Вытянувшись во весь свой рост и приложив ладони ко рту, он протяжно аукнул. Эхо повторило крик Конкордия. Женский голос тотчас умолк. Конкордий аукнул снова. И тогда глуховато откликнулся голос женщины. Перекликаясь с нею, мы пошли вперед.

У кедра, прислонясь спиной к стволу, стояла девушка-шорка лет семнадцати, одетая в мужской лыжный костюм и белый берет. В одной руке она держала полковриги хлеба, а в другой узелок, по-видимому, с одеждой и книгами. Ее черные узкие глаза оглядели нас без страха, скорее сердито.

— Зачем кричали? — сурово спросила она. — Дорог в тайге много...

— Да вы не пугайтесь, гражданочка, — сказал Конкордий.

— Зачем пугаться людей... Ты не страшный, азыг страшнее... Идите своей дорогой. А я одна иду...

Пришлось объяснить девушке правду и сказать, кто мы такие.

— Ладно, пойдем вместе, — согласилась она и пошла вперед.

Маленькая, широкоплечая, она шагала уверенно и быстро и снова запела по-шорски. Слов я не понимал, но мотив песни был очень знаком. В песне девушки прозвучало имя Сулико. Девушка по-своему

пела известную грузинскую песенку, чуть изменяя мотив.

Трогательно звучала грустная и страстная песенка далекого южного народа здесь, в тайге, в устах шорской горянки.

Конкордий, конечно, не мог долго молчать, и девушке пришлось отвечать на его вопросы. Ее зовут Кезен. Кезен Каныштарова. Она возвращается из районного центра Кузедеево в родной Чилису-Анзасс, с курсов воспитательниц. В своем колхозе она соберет малышей в детские ясли и будет учить их разным играм и песням.

Ей надо скорей попасть в Чилису-Анзасс. Она оставила чемодан в Таштаголе, его переправят с караваном, который пойдет из Таштагола через неделю.

Я предложил ей положить ковригу, которая уже порядочно намокла, в мой рюкзак. Мы разговорились. Узнав, что я записываю в Шории песни и сказки, Кезен расхохоталась. Вот какой чудак! Разве в городе люди не поют песни? Разве у людей в городе нет голосов? Она песню о Сулико услышала в Кузедееве — очень хорошая песня — и вот всю дорогу поет ее и уже половину переложила на свой язык. В Чилису-Анзассе она обязательно научит этой песне всех девушек. А сколько русские поют других хороших песен! Она их немало несет с собой в тайгу.

— Ты, видно, смеешься надо мной, — сказала она, став серьезной. — Зачем смеешься? Человек не пойдет из города в тайгу за песнями...

Мне пришлось долго уверять горянку.

— Ладно, я сама тебе наши песни пришлю, — наконец доверчиво пообещала она. — А в Кабырзе спроси Марию и Дарию — мои подруги. Много песен знают, сами их складывают...

Уже вечерело. В тайге темнеет быстрее, чем в степи.

Мы уже с час поднимались в гору по скользкой каменистой тропинке, среди мокрых ветвей, больно хлеставших по лицу. Конкордий совсем раскис и тащился где-то позади. Да и я так устал, что готов был упасть на землю и не двигаться. Пусть дождь, пусть

тайга, лишь бы припасть к земле и лежать, вытянув мокрые ноги, расправив ноющие плечи.

Но впереди шла Кезен, ее маленькие ноги в стоптанных башмаках переступали с камешка на камешек, она гибко уклонялась от набухших влагой ветвей и не обнаруживала никакой усталости.

Едкий пот со лба попадал в глаза, ремни рюкзака врезались в плечи, и казалось, растерли тело до костей. А в довершение всего дожь усилился, сбивал с ног. Пришлось пережидать под пихтами.

— Товарищ Канынштарова, — тоскливо спрашивал Конкордий, — далеко ли еще до Чжалзая?

— Еще один перевал.

— Так, может, лучше нам здесь переночевать, обсушиться у костерка? — робко предложил я.

— Ночуй здесь! — спокойно ответила Кезен. — А я пойду. Чжалзай недалеко, дойду.

Девушка, по-видимому, не хотела оставаться в тайге с чужими людьми. Но и мы не рисковали отставать от нечаянного проводника, без которого нам и завтра не добраться до улуса.

Как только ливень немного поредел, Кезен, перекинув узелок через плечо, тронулась в путь, словно забыв о нас.

Подъем становился все круче. У меня гулко забилось сердце и застучала кровь в висках. Мы, должно быть, поднялись на большую высоту. К ногам, казалось, были привязаны камни — так тяжело было их передвигать. А Кезен шла и шла, по временам смахивая с лица дождевые капли. Ее лыжный костюм давно промок насквозь, облепив тело, и, наверное, очень мешал идти.

Уже совсем стемнело. Я спотыкался, падал, задыхаясь, поднимался и снова шагал, чуть различая силуэт Кезен, идущей впереди.

— Товарищи, передохнем! — откуда-то из темноты доносился голос изнемогающего Конкордия. — Что вы, на поезд, что ли, опаздываете, в самом деле?

— Отдыхайте, а я пойду, — неизменно отвечала Кезен, не останавливаясь.

Мне начало казаться, что девушка или нас испы-

тывает жестоко, или хочет освободиться от нашей компании. Кажется, она даже тихонько посмеивалась над нами.

«Ну нет, девушка, не уступлю, — думал я, — напрасно ты думаешь, что имеешь дело со слабеньким горожанином, над которым потом можно будет посмеяться среди своих подружек». В каком-то смутном полусне, прикусив соленые от пота губы, я шагал за Кезен, больно ушибая колени о камни, карабкался, цепляясь за кусты.

— Конкордий, не отставай, подтягивайся, друг! — кричал я и слышал в ответ тоскливый отзыв:

— Ползу-у!

Сильней билось сердце, страшно хотелось пить. Ловя воспаленными губами дождевые капли, я ощупью медленно продвигался вперед. Дождь вдруг перестал, подул холодный сильный ветер, зашумели и заскрипели деревья. Ветер бил в лицо, валил с ног. Я споткнулся об острый камень и, вскрикнув, упал, почти теряя сознание.

Надо мной склонилась Кезен, помогла встать и тихо, серьезно сказала:

— Нельзя. Надо идти. Худо будет.

Девушка сама дрожала от холода. К нам подполз Конкордий.

— Надо идти, худо будет! — старалась перекричать рев ветра Кезен. — Скорей надо идти.

Из-за туч, мчавшихся низко над нами, проглянула на мгновение луна, и я увидел тревожно блестящие глаза девушки на усталом и осунувшемся лице. Двинулись вперед, преодолевая теперь уже не только крутой подъем, но и встречные удары ветра.

Наконец мы достигли вершины. И где-то внизу робко замелькали огоньки, как светляки, рассыпанные в котловине. И в этот миг ветер хлестнул по лицу снежными хлопьями.

Вот чего опасалась Кезен! Приближался снежный ураган. Он шел с «белков». Снегопад тотчас скрыл огоньки в долине.

— Скорей, скорей! — кричала Кезен.

Мы с Конкордием побежали за ней. Снег все густел, буран нарастал. Мы скатывались вниз, падая, поднимались, съезжая по осыпающемуся щебню тропы. Каким-то только ей доступным чутьем Кезен находила дорогу в этой белой ревущей мгле, среди отвесных уступов. Сквозь буран изредка мелькали огоньки внизу, на них-то безошибочно и вела нас Кезен... Спуск в долину длился, вероятно, с час, показавшийся нескончаемым.

Мы постучали в первое освещенное окошко, и нас тотчас впустили.

В избе жарко топилась железная печка, светло горела лампа-молния. Блестели фольговые оклады на старых иконах в переднем углу.

Мы попали в дом к рабочему золотого прииска, крепкому бородатому старожилу. Жена его, расторопная крупная женщина, охала над Кезен: промокший лыжный костюм на девушке замерз и хрустел, как брезент. Широкое лицо Кезен, исцарапанное ветками, было бледно и как-то особо миловидно. Лихорадочно сияли узкие, с голубыми белками и черными ресницами милые глаза.

О нас с Конкордием и говорить нечего — вид у нас был самый плачевный. Конкордий сразу подсел к печке, и она зашипела от его прикосновений.

— А ну-ка для сугреву, — дружелюбно гудел около нас хозяин, подносяпо стаканчику неизвестно откуда появившегося спирта. — Давай, давай без стеснения, для здоровья. Разве мыслимо в непогодь в такой одежонке. Зараз простуда...

Уговорили выпить и Кезен. Сняв мокрую одежду, мы с Конкордием свалились на пушистые половики возле печки и тотчас заснули...

Утром, после хорошего, крепкого сна, сладко ломило тело и трудно было расправить руки и ноги. Одежда наша оказалась заботливо высушенной. Кезен, по-видимому, встала давно и готовилась в путь. Хозяйка добродушно ворчала на девушку:

— Взъегозилась ни свет ни заря, хоть бы обсушилась как следует. Да вон можно бы у соседей лошаденку принанять, близко ли дело до Чилису. По-

дождала бы хоть, пока дорогу пообветрит, вон какая мокрядь после бурана.

Кезен наотрез отказалась от лошади, она привыкла ходить пешком. Отсюда ее путь лежал в сторону от нашей дороги. Мы с Конкордием решили нанять лошадей.

Я пошел проводить Кезен до развилка дорог. Она была весела и разговорчива.

— Видишь, — говорила она, указывая на горы, — замерзли бы вчера, если бы не поторопились.

На взгорьях между деревьями белел снег — следы ночного урагана. Внизу снег уже стаял.

— А вы шибко сердились на меня вчера? — лукаво прищурилась Кезен.

Я с благодарностью крепко пожал маленькую руку девушки.

— Приедешь в город, песни получишь, — сказала она на прощание, — все песни, какие поют в Чилису-Анзассе.

Долго смотрел я вслед маленькой коренастой девушке в лыжном костюме, с краюшкой хлеба под мышкой, с узелком, перекинутым через плечо, уходившей все дальше в лес. Она шла не оглядываясь. До меня долетел ее голос. Кезен запела и скрылась за деревьями...

Всю дорогу до Кабырзы я напевал тихонько трогательную песенку о Сулико...

ДЕНЬ В КИЗЕСЕ

Конкордий и Сережка — наш проводник и коневод — ехали впереди вдвоем на маленькой рыжей лошаденке. Ветеринар сидел прямо и величественно, за ним на крупе лошади прилепился маленький Сережка, держась одной рукой за хлястик Конкордиева пальто, другая все время размахивала прутиком. При этом мальчуган громко свистел и чмокал, погоняя лошадь.

Конкордию пришлось до отказа опустить стремена, и все-таки колени его торчали почти на уровне лошадиных ушей. Кобылка под такой громоздкой ношей

с удивительным проворством взбиралась по горным тропинкам, сгибаясь, как кошка сползала вниз; ее маленькие и острые, как у козы, копытца привыкли к горному пути. Я ехал на сивом мерине, который послушно трусил подо мной давно усвоенной рысцой и не обращал внимания ни на какие понукания. Наверное, понадобилось бы какое-то страшное потрясение, чтоб заставить его изменить свой темп; думаю, что даже появление медведя его бы особенно не обеспокоило.

Мы перевалили гору и попали в сеть бесчисленных притоков Турлы. Несколько часов длилась непрерывная переправа: мы переезжали одну речку и ехали искать брод через другую — и так, казалось, без конца. Сама Турла вилась среди густого тальника, как убегающая змея. Представляю, что бы мы тут делали с Конкордием, не будь с нами Сережки, который пока что безошибочно указывал броды и тропинки.

Лошади, всхрапывая, переносили нас через потоки, перепрыгивали через ручьи. Конкордию приходилось поднимать свои непомерно длинные ноги, тело его не раз было готово перекинуться через голову лошадки, но пока все обходилось благополучно.

Словом, это было веселое путешествие. День радовал ясностью и теплом.

В долине лежал среди золотого березняка маленький живописный улус Кизес.

Лишь только мы въехали в улицу, навстречу нам вышел из крайнего домика молодой низкорослый шорец в светлой ситцевой рубашке, в синих галифе, с полевой сумкой, висевшей у него через плечо на ремешке.

— Эзенок, председатель! — сказал Конкордий, поднимая кепку.

— Здорово был! — ответил шорец. — Люди сказывали — сюда едешь. Давно ждем. Пошто запаздываешь? Три теленка захворали, лечить надо. Хотел за тобой сам посылать.

— Ничего не слышал, никто не передавал, — неохотно слезая с лошади, сказал Конкордий и спросил меня: — Вы как, подождете, пока я осмотрю больных?

Я согласился ждать. Председатель завел наших лошадей в одну из оград и ушел с Конкордием на скотный двор. Сережка отправился за ними, строго наказав мне смотреть за лошадьми. Я прилег на мягкую траву среди ограды.

Над входом в избу на солнечной стороне рдели развешанные для дозревания букеты рябины, боярки, калины, на жердях, вдоль стены, подсыхали связки табачных листьев, пушистые пучки озагата — запасы на долгую таежную зиму.

Около низенькой амбарушки, черной от времени, работали две женщины. Столь же древняя, как амбарушка, с темным морщинистым лицом старуха жилистыми коричневыми руками поднимала и опускала тяжелый деревянный пест в деревянную же ступу. Пест глухо стучал, из ступы поднималась мучная пыль. Старуха толкла поджаренный ячмень для толкана.

Другая женщина, молодая, в черном подоткнутом платье, с большими усилиями вращала рукой круглый каменный жернов, укрепленный на оси на другом таком же камне. На разостланной около холстине лежала кучка крупнозернистой серой муки. Рядом стоял мешок с зерном. Женщина брала горсть зерна и высыпала его в отверстие в верхнем жернове, не переставая его вращать. Она разогнулась, глянула на меня усталыми черными глазами и, стерев с лица пот концом платка, снова склонилась к своей первобытной работе. Старуха как будто не заметила моего прихода.

Глухо стучал о дно ступы пест, похрустывая и поскрипывая, терся камень о камень.

Тербен — ручная мельница из двух каменных плит, и сак — деревянная ступа, неизменная спутница тербена, с давних времен служили для приготовления нескольких горстей толкана — извечной пищи шорца-бедняка в прошлом.

Об этом писал путешественник Георги, двести лет назад побывавший в кузнецкой земле:

«Землепашество их не знатное, мало кто в оном упражняется, и пашни таковых земледельцев едва могут величиной сравняться с знатными русскими огородами...»

Горек был хлеб шор-анчи, таежного охотника и кузнеца, горного жителя. На жалком поле, раскорчеванном от леса и камней, обычно трудились одни женщины. Мотыгой, называемой «абылом», женщина взрыхляла землю, чтобы бросить в нее несколько горстей семян. Иногда абыл заменяла салда — неуклюжая соха, в которую впрягалась вся семья шор-анчи; лошадь была недоступна бедняку. Когда наступало время жатвы, женщина шла на поле и руками выдергивала драгоценные редкие колосья прямо со стеблем и после просушки обжигала колосья на огне, чтоб затем вытрясти из них зерна. Недаром и месяц жатвы в Шории называется «эртен-ай» — месяц сжигания... Обмолот давал несколько берестяных «уланов» зерна.

Из ячменя изготавливается толкан, который пили с чаем или варили из него бражку-абыртку, согревавшую охотников на зимнем промысле.

Глядя на тяжело дышавшую, вращающую жернов усталую женщину, на сухие темные руки старухи, однообразно поднимающей и опускающей свой тяжелый пест, я думал о тяжелом прошлом шорского народа-труженика, об остатках этого прошлого в сегодняшней жизни...

Вернулись Конкордий с председателем колхоза, и ветеринар сказал, что ему придется остаться на день-два в Кизесе.

— Подозреваю эпизоотию,— озабоченно сказал он.

Попрощались с Конкордием. Сережка сел теперь в седло, а позади него пристроился председатель колхоза, — ему с нами было по пути на колхозный ток, где шел обмолот нового колхозного урожая. Председатель оказался общительным, разговорчивым человеком.

— Тербен ругаешь, сак ругаешь, — говорил он мне. — Правильно, товарищ, ругаешь. Совсем плохая работа от дедов осталась. Да теперь у нас тербенов и саков почти нет. Муку из Таштагола возим. Зимой будем свою мельницу на Турле строить. Мотор обещали из города. Мельница будет работать, электричество зажжем в избах, будет светло, как в Ташта-

голе. Тогда последний сак в печке сожжем и на нем хлеб испечем. — Он белозубо радостно рассмеялся...

Тропа вела на взгорье. Из-за леска доносились машинный гул и вскрики людей. Мы выехали на открытое место. Золотилось свежим жнивьем большое поле, уставленное суслонами. Посреди него стрекотала конная молотилка, около которой работало человек двадцать колхозников.

И вдруг, перекрывая гул молотилки, разлилась над полем разухабистая русская плясовая, где-то близко заиграл патефон.

Я удивленно взглянул на председателя.

— Музыку любим, работать веселей,— горделиво ответил он.

Я нагнулся с седла и выдернул несколько колосьев из суслона — длинных и тяжеловесных. Крупные, тяжелые зерна пшеницы посыпались на ладонь.

— Однако по три килограмма на трудодень придется, — сказал председатель. — Да еще мед с пасеки, да орех. Ладно живем.

Мы подъехали к молотилке. С покрытыми золотистой пылью темными лицами шорцы в мокрых от пота холщовых рубахах и женщины в длинных черных платьях и белых платках работали дружно, весело. А у полка молотилки, подавая снопы в барабан, стоял здоровенный бородатый дядя и хрипловатым баском командовал:

— Подавай, подавай, робята! Бабы, отгребай мякину побыстрей, не держи машину... Митрий, кого привел? Уполномоченный из району, что ли? — не отрываясь от работы, закричал он председателю. — Давайка, товарищок, бери вилы да становись на помочь, — весело обратился он и ко мне.

— Это наш полевод Иван Мироныч, русский человек, — пояснил мне председатель. — Третий год у нас в колхозе, хлеб сеять нас учил, шибко полезный человек. Издалека приехал, переселенец из Белоруссии. Пять семей к нам в район приехали, он к нам пришел. Шибко хороший человек, землю любит...

Иван Миронович крикнул мальчишкам, гонявшим двух лошадей в приводе, чтоб остановились, и сам

перестал бросать снопы в барабан. Молотилка смолкла. Иван Миронович скомандовал:

— Передышка и перекур!

Утершись рукавом, подошел к нам.

— Ну, здоровеньки бывали! — и протянул мне руку. — Как, по делу к нам или мимоездом из району?— спросил он.

Я вынул пачку папирос, и она быстро разошлась по курильщикам. Курили почти все женщины, вытащившие было свои трубки.

— Кури, робята, раз товарищ угощает! — смеялся Иван Миронович, неловко держа в крупных черных пальцах папироску.

Он охотно рассказал о себе:

— Приехал сюда из самой Могилевщины, из колхозу «Чарвонай шлях». Переселились мы в Сибирь, а я вот сюда, на самую целину подался. К охоте и рыболовству имею пристрастие. А уж тут для этого раздолье. И пчелка хорошо ведется тут. Ну вот и обосновался. Народ дружный, работящий, уживаемся ладно, без разногласий, хоть и разных языков... Эй, Настенька, ты чего музыку прекратила?! — вдруг закричал он в сторону леска.

Там под соломенным навесом сгрудилось десятка два детишек — четырех-пятилетних мальчиков и девочек. И среди них сидела русская девушка в красном платочке и белом платье. Она держала на коленях патефон. Очевидно, это был полевой детсад и воспитательница занимала детей музыкой.

— Дочка моя, — пояснил мне Иван Миронович,— в городе учится, в техникуме. Приехала на побывку, так мы ее к делу пристроили.

Девушка завела патефон, и над полем полилась песня о Москве.

— Ну, давай, робятушки, за работу, — объявил Иван Миронович и пошел к молотилке.

Снова загудела машина, колхозники дружно взялись за работу, Иван Миронович успевал принимать снопы от двух подавальщиков и отправлять их в барабан. Золотистыми волнами хлынула солома из-под

молотилки. На току вырастал холм намолоченного зерна...

— Видишь, сколько хлеба у нас нынче! — сказал мне, прощаясь, председатель колхоза. — Тербеном и саком его не перемелешь. Будем большую мельницу на Турле ставить, большой амбар строить...

Гул молотилки и звуки музыки, разносившиеся по лесу с колхозного тока, долго сопровождали меня в пути, и навсегда запомнились мне лица людей, увиденных в маленьком кизесском колхозе.

ЧЕЛОВЕК-ПЕСНЯ

Улус Қабырза расположен как бы на острове. Чтобы попасть в него, надо обязательно переправиться через реку.

А река, опоясывающая селение, особенная, какую не каждому случалось видеть. У левого берега она голубая, прозрачная, у правого — рыжевато-зеленая, мутноватая.

С вершин Алтайских гор, из ледников, выбежала быстрая прозрачная речка Қобырсу. Звонкая, игривая, она мчится в долине. Из таежных кряжей, корчуя деревья, размывая горы и от этого становясь мутновато-желтым, мчится наперерез Қобырсу гневный Мрасс, словно дикий конь с пышной пенистой гривой.

В долине они сталкиваются — Қобырсу и Мрасс. Перекатывая камни, вздымая валы в сажень вышиной, реки бьются грудь о грудь, не желая уступать дороги друг другу. Они устремляются в каменное ущелье и мчатся бок о бок по каменному руслу. Оттого и вода тут разная — у левого берега голубая, у правого желтоватая. Но Мрасс сильней Қобырсу. Он шаг за шагом, километр за километром прижимает и прижимает Қобырсу к левому берегу и уже где-то за улусом, в тайге, совсем ее поглощает. И река отсюда зовется Мрассом.

Высокогорный улус Қабырза, как уже сказано, расположен в долине, опоясан реками. А вокруг горы тайга, и за фиолетовыми ее отрогами при закатном солнце видна бело-голубая вершина Қаратага.

Қабырза — один из самых отдаленных улусов Страны Темира, и горе тому заезжему человеку, который заберется сюда в весеннее или осеннее распутье, когда по рекам идет лед или шуга. Путешественник застрянет здесь на долгое время, может и зазимовать.

Этим Қабырза напоминает арктические зимовки.

Однако улус не какое-нибудь оторванное от мира, глухое селение. Сюда летом по таежным тропам тянутся караваны вьючных лошадей, по рекам скользят быстрые лодочки — кебе.

А главное — есть в Қабырзе, как и во многих других пунктах, своя рация, которая ежедневно, ежечасно связывает улус со всем миром. Вечерами к радиоузлу собирается народ, и радист, веселый и общительный человек, рассказывает жителям все новости, какие ему за день удается поймать в эфире. Так незримыми небесными путями связана Қабырза со всей страной в любое время. Случится в тайге пожар, кто-нибудь заболеет опасно в Қабырзе или другом горном улусе — радист отстукивает ключом торопливые тире и точки, и весть из Қабырзы летит куда надо. Через час-другой самолет вылетит или лесной пожар тушить, или — с врачом на борту — спасать заболевшего охотника.

Приехав в Қабырзу, я тотчас нашел моего знакомца — старого охотника Қарола, с которым мы ехали в поезде до Темир-Тау. Старик, ничуть не удивившись моему приезду, встретил меня радушно и гостеприимно. В маленькой избе, где он жил только со своей старухой, для меня нашлось место, и Қарол никуда меня не отпустил, заявив, что я ведь приехал в Қабырзу по его приглашению. Вчера он вернулся из тайги и принес с собой несколько рябчиков, пойманных им волосяной петлей, туесок меду диких пчел. Старуха приготовила праздничный обед. За обедом я спросил о Торчуке — певце, о котором я столько слышал в пути. Оказалось, что Торчука в улусе сейчас нет, он — пчеловод и живет за рекою на пасеке. Қарол на мой вопрос о том, как мне встретиться с Торчуком, ответил несколько загадочно:

— Будет солнце садиться — пойдем на Кобырсу. Торчука услышим...

Карол после обеда принялся за починку деревянных капканов — шергеев, я сидел возле и слушал его неторопливый рассказ об охоте на азыгов — медведей, которых Карол на своем охотничьем веку добыл изрядно; точный счет убитых зверей, по охотничьим правилам, никогда не называется.

Под вечер мы отправились на берег Кобырсу.

Солнце спустилось за горы, отчего зубчатые вершины их загорелись золотым пламенем. Вся в гаснущих бликах, трепетала быстрая река, гудела, как могучая басовая струна.

Мы уселись на прибрежном камне, закурили. С другого берега долетела песня. Молодой чистый мужской голос выводил своеобразный мотив, рассчитанный на горное эхо. Голос отдавался в разных сторонах, и казалось, что поет не один человек, а несколько звонкоголосых певцов перекликаются между собой.

На том берегу, на горе, в молодом пихтаче, пронизанном золотистым светом заката, появился человек. Он запел громче и замахал фуражкой над головой. В песне его выделялись слова: «Кебе киба-а-а!..»

Из ближних к реке изб стали выходить люди — женщины с детишками на руках, старики и старухи с дымящимися трубками и мальчишки. Человек на том берегу, завидев людей, еще раз протяжно пропел:

— Кебе киба-а-а!..

И тотчас требовательно закричали мальчишки:

— Сарыны, сарыны, киба!

Взрослые, усаживаясь на берегу, поддакивали мальчишкам.

Человек на том берегу засмеялся и запел какую-то веселую песню.

Двое мальчиков сбежали к воде и столкнули в реку одну из лежавших на берегу лодок. Ловко отталкиваясь шестами, они погнали кебе через бурный поток. Певец было перестал петь, но мальчики повернули лодку по течению и, пролетев мимо певца, потребовали:

— Сарыны, сарыны, Торчук!

Торчуку пришлось покориться. Он смеялся и пел. На берегу собиралось все больше жителей улуса. Они поддерживали требование маленьких лодочников. А мальчики, гоняя лодку вверх и вниз по реке, заставили Торчука спеть несколько песен и лишь тогда приняли его в лодку.

Старый Карол, очевидно уже привыкший к этим своеобразным «концертам», спокойно сидел около меня и, слушая пение Торчука, покачиваясь, говорил:

— Яхши, яхши... Эдак, эдак, Торчук.

Он рассказал мне, что настоящее имя певца Семен, но люди зовут его Шор-Торчуком — Соловьем. И ему приходится петь всякий раз, когда надо переправиться в улус. Лодки у него нет, но стоит ему выйти на гору и запеть, как тотчас в улусе найдется десяток лодочников, которые с удовольствием перевезут певца. Перевезут, если он споет. Перевоз оплачивается песней, которую слушает весь улус. Все уже привыкли к этому.

Сегодня по случаю того, что в улусе находился приезжий человек, добровольные лодочники вздули цену за перевоз, и жители имели удовольствие слушать своего любимца больше, чем обычно.

Наконец Семена перевезли. Он выскочил из лодки и сразу подошел ко мне:

— Эзенок, аргыш! — сказал он и протянул мне руку, как давно знакомому. На молодом коричневом его лице весело блестели смородиновые узкие глаза и белые зубы. — Песни наши приехал слушать?.. Будем петь песни много.

Я удивился тому, откуда он знает, кто я и зачем приехал.

— Хо, в горах все слышно! — засмеялся Семен.— Лучше радио слышно. Вот слушай!

Он закинул голову, из горла его вылетел высокий, переливистый звук, тотчас многократно повторенный в горах.

— Слышишь, сколько языков в тайге!.. Сразу все передают... Карол, когда приехал, слово о тебе сказал,

мне слышно... Ты приехал, сказал «здравствуй», я услышал...

Семен смеялся. Смеялись женщины и мальчишки. Семен вытащил из кармана дождевика несколько кедровых шишек, бросил мальчишкам, предложил и мне.

— Ночью в тайге ветер большой гулял, шишек насшибал, сколько хочешь бери, — пояснил он.

К нам подходили новые люди. Охотники, произнеся свое учтивое «эзенок», усаживались около нас на корточки, не вмешиваясь в разговор, дымили своими трубками. Прибежали девушки, смуглые, черноволосые, похожие одна на другую. Двух из них мне Семен представил:

— Дария и Мария. Шибко хорошо поют.

Миловидная, маленькая Дария, одетая по-городски, смущенно спряталась за спину своей высокой подруги Марии, молодой, сильной женщины с широким румяным лицом...

Люди говорили по-шорски. Семен пересмеивался с девушками и серьезно о чем-то беседовал со стариками. Те посасывали трубки и, сплевывая, степенно соглашались:

— Эзе, эзе, Торчук...

Почти внезапно наступила темно-синяя ночь. Крупные и очень яркие звезды, какие можно видеть только в горах, повисли прямо над головой. В темноте почти не видно было лиц, вспыхивали огоньки трубок, освещая на миг то стариковское, морщинистое лицо, то молодые, блестящие глаза юноши.

— Петь, Торчук, надо! — раздался чей-то голос.

Его поддержали многие. Семен, усадив подле себя Дарию и Марию, приготовился петь. Он пересказал мне песню, которую собирался исполнить. И вот зазвенел его молодой голос:

Хочу на лицо твое, Кунарыкг,
Хоть раз поглядеть при народе.

Звучным альтом ему ответила Дария:

Разве не видел ты, Аккулун,
Солнца ясного на восходе?

Снова Аккулун просит красавицу:

Дай потрогать косы твои, Кунарыкг,
Порадуй хоть раз меня!

Озорница Кунарыкг звонким голосом Дарии снова ему ответила:

Иди-ка лучше погладь, Аккулун,
Хвост породистого коня...

Долго еще Аккулун упрашивал Кунарыкг показать ему свою красоту, смеялась Кунарыкг над влюбленным.

Голоса певцов, сливаясь, как струи Кобырсу и Мрасса, плыли по реке, отдавались в горах. Народ не шелохнувшись слушал певцов, лишь изредка вырывался общий вздох восхищения:

— А-боо!.. Яхши, яхши!.

А потом Дария и Мария пели песню о Ленине:

Если даже увянет душистый цветок,
На земле аромат его останется.
Если и умер аргыш Ленин,
Имя его навеки на земле останется...

Так пели девушки высокими грустными голосами. Пели они еще песню о звезде Шолбан [1], которая девушкам предсказывает счастливую любовь, юношам — удачу в охоте. Семен спел песню о Мрассе, любимой реке горного народа, и песню о Золотом озере — Алтын-Коль.

Сидевший рядом со мной Карол ударил себя ладошками по коленям и сказал:

— Мой песню слушай, шор-кижи!

Он, раскачиваясь, запел о своей охотничьей жизни. Еще маленьким он упал с кедра, куда лазил за шишками, и сломал себе руки и ноги. Не раз он встречался с медведем один на один, не раз бурные горные реки выбрасывали его из лодки. Но охотник Карол не унывал. Хороша охотничья жизнь, есть у охотника лыжи, есть ружье, в тайге много белок, в тайге у него свой шалаш... Хорошо охотнику живется. Он приносит

[1] Шолбан — Венера.

пушнину в лавку и берет в обмен на меха порох, свинец, ситец, сладкий табак и конфеты в серебряных бумажках для своих внуков. Эх, хорошо охотнику живется!..

Долго пел старый охотник, тут же сочиняя свою песню...

В эту ночь долго не смолкали молодые и старые голоса над рекой Кобырсу...

ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ

Старый Карол, у которого я квартировал, вдруг засобирался в гости к своему дружку охотнику, жившему, по его словам, совсем неподалеку. Он вытащил откуда-то старенький, но, по-видимому, предназначавшийся для парадных случаев домотканый кафтан — шабур, приготовил пучок свежего озагата для обувки.

— Шибко давно не видался с Шулбаем-дружком, — рассуждал старик, обертывая ступню озагатом и натягивая на нее чирок. — Шулбай хоть и молодой еще, на пять зим меня моложе, да ведь у охотника жизнь может и укоротиться, всяко бывает. Нельзя старым дружкам долго не встречаться, так можно и совсем друг друга не повидать.

— А далеко ли все-таки живет Шулбай? — спросил я, зная о своеобразном измерении пути шорцами, особенно когда дело касалось гостевания.

— Зачем далеко, всего день и ночь пути от Кабырзы, вверх по Мрассу.

— Пешком пойдешь?

— Зачем пешком! На кебе по Мрассу пойду, а потом маленько, один перевал, и пешком.

— А Шулбай сказок много знает? — как можно равнодушнее продолжал я, тайно надеясь на приглашение Карола сопутствовать ему.

— Э-э, что сказки! У Шулбая правды не переслушаешь — столько он по тайге исходил, столько всякого видел!

Тут уж я прямо напросился в спутники, клятвенно

заверив, что постараюсь не мешать встрече старых друзей. Но Карол даже обрадовался:

— Вот и ладно, вдвоем в дороге веселее. А ты, наверно, и гостинец какой-нибудь Шулбаю захватишь?— лукаво подморгнул Карол, пощелкав пальцем под скулой.

Я тотчас понял этот интернациональный намек и сбегал в лавочку за бутылкой.

И мы поплыли в гости к Шулбаю в старой и легкой кебе Карола. Орудовать шестом с железным наконечником я не умел и поэтому не хотел мешать старику. Да он и один легко и привычно справлялся, ловко отталкиваясь шестом. Железный наконечник шеста звенел о каменистое дно. Лодочка прижималась поближе к берегу и ходко шла против мощного и порывистого течения Мрасса. Там же, где камни или порожек делали невозможным продвижение кебе шестом, мы перетаскивали ее волоком или тянули на бечеве, — тут не бесполезен оказался и я.

Переночевав на берегу, в полдень мы добрались до маленького улуса, он приютился в залесенном логу, спускавшемся к Мрассу.

Анчи Шулбай сидел у порога своей избы и чистил огромное тяжелое ружье с шестигранным стволом. Он выглядел ничуть не моложе Карола и очень походил на него. Завидев нас, Шулбай поднялся, отставил ружье и пошел к нам навстречу.

— Хорошие гости к добру, худые гости к нам в улус не приходят, — приветливо сказал старый охотник и подал руку.

Карол, глядя на ружье Шулбая, стоявшее у стены, тихонько, почти на ухо, спросил у хозяина:

— Азыг-ба?.. На самого пойдешь?

— Эзе, эзе... Маленько есть...

Старики раскурили трубки и уселись на крылечко. Между ними началась таинственная беседа на родном языке. Как я понял, разговор шел о медведе, хотя беседа велась иносказательно. По обычаю, который еще блюдут некоторые старые охотники, об охоте на азыга нельзя говорить громко и лучше не называть зверя по имени. Он может услышать, обидеться. Сей-

час они осмеливаются упоминать его собственное имя — «азыг». А раньше все говорили о нем только в третьем лице: «он», «сам», «хозяин леса» и т. п. Потому что азыг не простой зверь, он ближе всех стоит к богу тайги Ульгеню и, по преданию, сам был когда-то человеком. Поэтому к азыгу шорцы относились с почтением, что не мешало им, однако, убивать медведей десятками.

— Шибко ко времени пришли, — обращаясь ко мне по-русски, сказал наконец Шулбай. — На охоту пойдем. Вчера бычка зарезал азыг-та, наказывать его надо. Когда солнце пойдет спать, азыг ужинать захочет, опять к мясу придет, запрятал его в лесу. Будем с ним разговаривать...

Оказывается, вчера медведь совсем неподалеку от улуса задрал отбившегося от колхозного стада годовалого бычка, уволок его в тайгу и спрятал остатки в надежном месте. Искавшие бычка люди по следам азыга нашли это место. Сам азыг где-то скрывался. Шулбаю, самому опытному в улусе медвежатнику, поручили «наказать» разбойника.

Шулбай снова принялся за ружье. Это было диковинное орудие, наверное не меньше как столетнего возраста, и называлось оно «кузей-мылтыком». Стрелять из него с руки невозможно. Один его шестигранный ствол весит около пуда. Поэтому стреляют из него с подпорок. Это целая пушка, на заряд ее уходит с полстакана черного пороха и добрый кусок свинца.

У Шулбая есть хорошая тульская бердана, но на азыга он всегда ходит со своим старым кузей-мылтыком. Это почти священное ружье, перешедшее к Шулбаю по наследству от деда, купившего его у «казака» — русского — за сотню белок. На русское происхождение ружья указывает и его шорское название — «кузей»; очевидно, произошло от «фузеи», как в старину назывались у нас ружья...

У охотников, особенно у медвежатников, не принято называть число добытого зверя, но, судя по подсчетам Карола, не меньше сотни азыгов кончило свое лесное житье от выстрелов Шулбаева кузей-мылтыка...

Поэтому Шулбай и предпочитает его тульской бердане.

Старики занялись приготовлениями к охоте, Карол тоже тщательно осмотрел и протер свою старую бердану. Шулбай рассказал мне о ружьях, какие бывали в старину, разъяснил, как анчи оценивают качества охотничьего ружья.

Самое хорошее ружье «чуректу-мылтык» — «ружье с сердцем», убивает зверя наповал одним выстрелом. Счастлив охотник, обладающий таким ружьем: ни один его выстрел не пропадет даром, не страшно встретиться с самым могучим и злым зверем. Шулбай относит свое ружье именно к «чуректу-мылтыкам», он не помнит случая, чтоб понадобилось стрелять зверя вторично. Бывают еще ружья, «держащие кровь»: они бьют навылет, но не кончают зверя сразу, он уходит раненым, за ним приходится еще гнаться, а иногда тратить несколько зарядов. Это плохое ружье, охотник старается сбыть его с рук...

Шулбай показал мне свое охотничье хозяйство: деревянные и железные шергеи — капканы, волосяные силки, ловушки на мелкого зверя и птицу, разные манки, то посвистывающие бурундучком или рябчиком, то пощелкивающие, как глухари.

Порывшись в своей охотничьей сумке, лежавшей у ног, Шулбай достал какой-то непонятный костяной предмет и сказал:

— Слыхал, в наших ныбак так поют? — Шулбай загудел низким грудным голосом:

Эхэ-э... Ай-Толай золотой лук натягивает,
Стрелу с девятью глазами пускает,
Девятью голосами стрела поет... Эхэ-э...

Я разглядывал предмет, лежавший на ладони Шулбая, — грубо обточенную полую кость, заостренную на конце. Вдоль трубки просверлено несколько круглых дырочек. Это был наконечник деревянной стрелы — соган. Дырочки в наконечнике назывались «глазами». Когда стрела взвивалась с тетивы, воздух попадал в эти дырочки, и стрела свистела, гудела, пела на разные голоса.

Стрелы, как мне рассказывал Шулбай, различались по назначению: боевые, охотничьи, стрелы-вестницы. Когда на стойбище шор-анчи нападали враги, человек брал ревущую стрелу и пускал ее ввысь. Над тайгой взвивался звук, похожий на рык раненого зверя, и люди знали, что надо идти кому-то на помощь. Другие стрелы обладали нежными голосами, зовущими любимую на свидание, соседей на пир. А когда рой стрел, воющих, насвистывающих, ревущих стрел летел на врагов, особенно на чужеземцев, не знавших такого оружия, пришельцы падали на землю в суеверном ужасе.

— Возьми себе, меня будешь помнить, — великодушно протянул мне Шулбай редкостный сувенир. — Я его в тайге нашел. В прошлом году дарил такую же соган ученой женщине, ургенген-кижи, она из Москвы приезжала. Шибко радовалась. Себе еще найду, бери, бери...

Старый анчи, наверное, не подозревал, какую драгоценность он мне дарит, не знал, что поискам таких древних предметов, рассказывающих историю нашей земли и человека, ученые-археологи отдают годы странствий и раскопок. Я горячо поблагодарил старика и тут же одарил его пачкой табаку.

Когда солнце пошло на закат, старые охотники закончили свои приготовления. Они переобулись, обернув ноги свежим озагатом, покрепче перетянули обувь и пояса. Зарядили свои «мылтыки» и надели все охотничье снаряжение. Старики были молчаливы — нельзя перед охотой зря болтать языком. Двух лаек, крутившихся около нас в предчувствии охоты, Шулбай решил не брать с собой: зверь выслежен, он сам придет на охотника, собаки могут только помешать. Шулбай привязал обиженно завизжавших лаек к стойке крыльца.

Мне Шулбай вынес свою бердану и несколько патронов — на всякий случай, мало ли что может случиться в тайге. Кроме того, хозяевам просто неудобно вести на охоту безоружного человека, да еще приезжего.

Мы тронулись в путь, лайки провожали нас жалобным завыванием.

Впереди шел Шулбай, за ним Қарол, я замыкал шествие. Охотники шли, минуя густые заросли калинника и рябины, легко перепрыгивая через поваленные временем и бурями деревья. Через час пути я начал уставать, а старики шагали как ни в чем не бывало.

В мягкой своей обуви они продвигались вперед совсем бесшумно, ни один сучок не треснул под их шагами. Когда я наступил на сухую веточку и она чуть слышно хрустнула под ногой, старики сердито на меня оглянулись.

Мы спустились в распадок, где журчал звонкий, прыгающий с камешка на камешек ручей, исчезающий в чаще тальника. Здесь, на промытой песчаной отмели, старики остановились, наклонясь к земле. Увидел и я следы зверя, оттиски его кургузых тяжелых лап, вдавленные в песок. Тут азыг после обильной трапезы пил студеную родниковую воду, а может, выслеживал хариусов, обычных в таких ручьях и всегда привлекающих зверя-лакомку...

Охотники перекинулись двумя-тремя тихими фразами и оглянулись на меня. Я понял это как предупреждение — соблюдать еще большую осторожность при ходьбе. Они пошли вверх по ручью, ступая настороженно и оглядываясь по сторонам, — зверь мог быть поблизости. Мы, по-видимому, подходили к месту, где должны были встретиться с медведем.

Шулбай остановился около могучей пихты — ветви ее опустились почти до земли — и знаком подозвал меня.

— Будешь тут стоять, все увидишь, — тихонько сказал старик и указал на место под пихтой, где ветви своим шатром могли укрыть человека.

И правда, отсюда я видел многое: и распадок, и ручей, и небольшие прогалины среди деревьев.

Старики, объяснившись между собой знаками, разошлись в стороны, вглядываясь в одно и то же место в полусотне шагов впереди. Там, возле старого, полуповаленного толстого дерева, вился рой мух над грудой хвороста и выдернутых с корнями молоденьких

сосенок. Вероятно, под этой грудой и лежали остатки бычка, зарезанного азыгом.

Шулбай спрятался в пышном кусте калины, в трех десятках шагов от груды хвороста, Карол расположился по другую сторону прогалины в корневищах огромной пихты. Они сели лицом против слабого ветерка, бродившего меж деревьев. Солнце уже опустилось за кроны леса, косые лучи пробивались между ветвей, накаляя шершавые стволы сосен и кедров, зажигая бликами зелень на прогалинах. Было тихо, лишь посвистывали дрозды да постукивали в разных местах неутомимые дятлы; слышалось журчание ручья в распадке.

Быть может, еще час прошел в настороженном ожидании. Азыг появился как-то очень робко и тихонько. О его приближении я догадался лишь по тому, как старые охотники одновременно и совершенно бесшумно приподняли свои ружья и направили их в сторону полуповаленного кедра. Ни одна былинка не треснула под лапами зверя, не шелохнулась ни одна из нависших веток — так осторожно он подкрадывался, вор, опасающийся засады. Я увидел его лишь тогда, когда через поваленный ствол около груды хвороста с кряхтением и каким-то глуховатым бормотанием перевалилась темно-коричневая мохнатая туша. Ветерок донес слабый, кисловатый запах звериного логова. Я вздернул ствол своей берданы и поймал на мушку голову медведя. Покачивая огромной, тяжелой головой и поуркивая, медведь направился к груде хвороста. И тут в настороженной тишине прогремел кузей-мылтык Шулбая. Казалось, земля покачнулась подо мною — так оглушительно взорвался выстрел, смешавшийся со страшным, трубным ревом зверя. Азыг поднялся на задние лапы и поводил пробитой насквозь головой. Выстрела Карола я почти не слышал в грохоте таежного эха, еще разносившего рев азыга и гром Шулбаева мылтыка. Но, видимо, пуля Карола и прикончила зверя; он ткнулся мордой в землю, широко раскинул передние лапы и затих...

Все произошло так быстро, что я, признаться, не успел даже пережить того замирания сердца, какое

вызывает охота на крупного зверя и у охотников и даже у свидетелей. Ей-богу, я даже разочаровался; происшедшее на моих глазах больше походило именно на «наказание», о котором говорил Шулбай дома, чем на охоту.

Шулбай первым подошел к убитому азыгу. Вышел и я из своей засады и уже в пути догадался спустить поднятый курок берданы.

Дальнейшие действия старых анчи меня озадачили. Шулбай и Қарол, подойдя к убитому зверю, вдруг завыли и запричитали, ударяя себя руками по головам и по бедрам, и, раскачиваясь, стали ходить вокруг неподвижного азыга. Не переставая причитать, Шулбай подобрал с земли большой камень и, наклонившись над головой зверя, принялся этим камнем вышибать клыки из пасти азыга, затем отбросил их в сторону.

Оба охотника, всхлипывая, то и дело упоминали Ульгеня — бога тайги. Потом сразу деловито умолкли, и не верилось, что еще минуту назад они так скорбно и неистово горевали над убитым. А Қарол даже подмигнул мне весело и лукаво.

Я припомнил рассказ Всеволода Ивановича Гайворона о суевериях шор-анчи, и мне стали понятными действия Шулбая и Қарола. Охотники соблюдали старый таежный обычай.

Азыга уже не существовало на свете, но, по верованию анчи, жила еще его душа; охотники спешили, не теряя времени, ее обезвредить. Поэтому Шулбай и выбил клыки азыга, чтобы душа его, переселившаяся в другого зверя, не вздумала больше ими пользоваться и нападать на колхозных телят. Қарол сучком выколол глаза азыгу — пусть душа зверя ничего больше не увидит.

Немного передохнув, охотники принялись свежевать медведя. Пуля Шулбая продырявила череп азыга, выйдя над правым глазом. А Қарол, воспользовавшись тем, что зверь поднялся во весь рост, всадил свой заряд ему под мышку — в самое сердце...

Вспоров шкуру медведя вдоль живота, старики снова затянули скорбную песнь и причитания, возобновили свои хитрые разговоры с душой покойного

и стали уверять Ульгеня в своей полной непричастности к смерти азыга. В то время как Шулбай продолжал снимать шкуру с медведя, Карол стегал обнаженное розовое тело азыга прутиком и, всхлипывая, давал напутственные инструкции его душе:

За черемухой лазил-де, свалившись, умер—скажи,
За шишками лазил на кедр и, упав, разбился — скажи,
За косулей погнавшись, с утеса свалился и умер — скажи,
Смородиной лакомясь, в трясине увяз — скажи...

Так должна была отвечать душа азыга, представ перед Ульгенем. Шулбай между тем продолжал ловко свежевать зверя.

В это время и появились возле нас колхозники — трое молодых парней, соседей Шулбая. Впереди них мчались, заливаясь лаем, собаки, почуявшие зверя и готовые вцепиться в него. Тревожно пофыркивала лошадь, которую тянул на поводу один из парней. Они пришли, чтобы помочь доставить добычу в улус.

Паренек с веселыми смородиновыми глазами, смеясь, наблюдал за священнодействием стариков над тушей медведя и, насмешливо кивнув на них, сказал мне:

— Старые люди. Темные еще. Все по-старому делают. Купера книги читал? Про последних могикан? Вот Шулбай и Карол — наверно, последние могикане в тайге. Больше нет. А мы не верим ни в азыга, ни в Ульгеня...

Этому пареньку, видимо, хотелось извиниться за отсталых стариков. А мне пришлись по душе действия старых шор-анчи. Потому что более издевательского отношения к Ульгеню трудно и придумать. Лукавое богохульство охотников над душой азыга, пожалуй, уже не имело ничего общего с былым суеверием и страхами, хотя старики, видимо, считали, что они свято блюдут старый обычай.

В улус мы вернулись уже при звездах. Маленькое селение, однако, не спало, — добыча медведя всегда праздник.

К тому же азыг, убитый сегодня, стал общественной собственностью: ведь он зарезал колхозного телка.

И вот перед домиком Шулбая разметал свои крылья большой костер, и в круглом объемистом котле варилась медвежатина, над углями поджаривался медвежий окорок. Все жители улуса, от грудных детишек до древних старух, лакомились жирным, душистым мясом. А шкуру азыга, растянутую на стене Шулбаевой избы, по общему согласию присудили старому охотнику. Кстати оказался и привезенный мною гостинец Шулбаю...

Очень довольные поездкой, мы на следующий день вернулись с Каролом в Кабырзу.

ЧЕРЕЗ ПОРОГИ



ВНИЗ ПО МРАССУ



рожив в песенном улусе еще неделю, я начал торопиться с отъездом из Кабырзы, хотелось успеть до непогоды послушать знаменитого Морошку, записать от него возможно больше сказок, а затем по Мрассу и Томи добраться до Сталинска.

В улусе стало известно, что завтра вниз по Мрассу отправится крупное судно — карбуз — здешнего леспромхоза. Вечером я распрощался со всеми моими кабырзинскими знакомыми, пожалел, что не увиделся еще раз с звонкоголосым Семеном, — он накануне ушел шишковать в тайгу. И вообще в улусе остались немногие — кабырзинцы спешили в погожие осенние дни снять урожай ореха. Карол, уходя в тайгу, оставил мне узелок «гостинцев» для внучки Натальи, который я должен был увезти с собой в Сталинск.

Рано утром я вышел на берег. Утро, на счастье, выпало чудесное — солнечное, золотистое. Реку покрывал ковер из солнечных бликов и желтых, оранжевых, багряных листьев. Тайга осыпала в Мрасс свой увядший летний наряд, и река несла на своих струях цветистый, пестротканый покров красавице Томи.

Посудину, называемую карбузом, я отыскал у берега, возле леспромхозовской столовой. Это большая плоскодонная, хорошо просмоленная лодка, с короткой толстой мачтой, с двумя тяжелыми гребями —

одна на корме, вместо руля, другая на носу, «запашная». Карбуз стоял в бухточке, крепко пришвартованный к берегу. Двое рабочих в брезентовых куртках и резиновых сапогах грузили в карбуз какие-то мешки, сбрую и свернутую палатку. Эти рабочие и оказались экипажем судна; капитана звали Петро, а рулевого — Михайлой.

Я быстро договорился с капитаном. Контракт включал, кроме некоторой оплаты, причальный «магарыч» при благополучном прибытии в конечный порт.

— Вот и добре, договорились! — сказал Петро. — Мабуть, у вас ще и табачок есть, тоди и совсем гарно, я дома кисет забув, вертаться ж у хату нельзя, сами понимаете...

Мы закурили и уселись на борту карбуза.

— Река-то совсем бешеной стала, — говорил Михайла, коренастый коротыш с белобровым красным лицом. — Вода, однако, на метру, не менее, прибыла...

Верно, горная река, вздымая валы, билась в каменном русле, сжатая горами.

— Когда же отплывем? — спросил я у капитана.

— К обеду, мабуть, выйдем. Расписания у нас нема, — ответил Петро. — Вот пассажиры соберутся, мы и тронемся. Идите в палатку и дремлите себе, что на солнце жариться. А как придет наш директор, то и попроситесь у него для формы, а о нашей рядке молчите, бо это мы полюбовно, так как посторонних на карбуз не принимаем, директор против...

Я забрался в натянутую посередине карбуза палатку. Михайла ушел и через некоторое время вернулся, ведя, к моему удивлению, в поводу двух лошадей, на одной из которых сидел верхом мальчуган-шорец лет двенадцати. Мое удивление возросло, когда Михайла стал заводить лошадей в карбуз и устраивать их на корме за палаткой. Он привязал их к мачте и задал овса.

— Ха, чудак какой, — ответил Михайла на мой вопрос. — Ясно, с нами поплывут. Что ж, нам собственным паром, что ли, назад-то вертаться?

— Это ж моторы, две лошадиные силы, — добавил Петро и указал брензентовой рукавицей на ма-

ленького шорца, — а Ванька заместо моториста будет. Понял?..

Начали подходить пассажиры. Пришли трое молодых шорцев в новых лыжных куртках, густо усеянных всякого рода значками. Значки — предмет особого щегольства в тайге; чем их больше на груди, тем больше почет парням у девушек. Ребята эти, как мне сказал Михайла, едут на призыв в Красную Армию. Один из них, паренек в красноармейской фуражке, подошел ко мне, сказал учтивое «эзенок» и спросил, куда я еду. Разговорились.

Паренек выглядел печальным.

— Понимаешь, какое дело, — говорил он, — у меня здоровье сто процентов, а комиссия в армию не берет. У меня семья шибко большая: десять и один человек. Братья мои и сестры. А отец в прошлом году помер. Мать получала на семью восемь тысяч рублей от государства. А комиссар-то сказал: «Ну что восемь тысяч? Это хорошо, что восемь тысяч, жить легче. А помогать матери-то надо». Так он сказал и в армию не взял. Я большую обиду получил. Поеду в Кузнецк на комиссара жалобу подавать. Мне в армию надо, от товарищей нельзя отставать. Я бригадир в колхозе, хорошо работал... Люди смеяться станут, скажут: «Сто процентов здоровья, а сидит дома». Нехорошо. Как думаешь, могут взять меня? Скажи, пожалуйста.

Я как мог утешил бригадира, он даже повеселел.

Двое других сидели на берегу у самой воды и тихонько пели:

Моя милая, ты еще потоскуешь,
Когда я уеду в Красную Армию.
Приеду командиром в свой улус —
Приходи поглядеть, милая...

Пришел добродушный толстяк следователь, возвращавшийся в Сталинск из командировки. У следователя громовой голос: даже когда он говорит спокойно, чуткое горное эхо откликается ему из ближних скал. Пришли еще двое каких-то командировочных, с которыми, как и со мной, у экипажа, по-видимому, был особый контракт, так как один из них незаметно сунул капитану светлую бутылку.

И, кажется, наш «корабль» наконец готов к отплытию. Карбуз спустили на воду, пассажиры кое-как разместились в судне.

И вот наконец появился последний, и, как оказалось, самый главный пассажир. Важный, давно не бритый человек в военном френче и необъятных синих галифе оказался директором леспромхоза, начальником всей кабырзинской тайги. Увидев в карбузе незнакомых ему пассажиров — командировочных и меня, директор, почесав щетинистую щеку, приказал капитану высадить лишних. Мы все трое предъявили свои удостоверения, он их внимательно прочитал и, возвращая мне мой документ, сказал:

— Недействительный документ, даты выдачи нет. И почему ко мне не явились, раз ехать собрались?!

Разгадав причину недовольства начальства, я стал его мягко уговаривать, за всех троих осторожно походатайствовал и капитан.

— Не могу, — отрезал директор, — уже десять пассажиров и тонна груза. А вода вон какая бешеная, река порожистая, нельзя с перегруженным карбузом идти... Вывернет карбуз — кто будет отвечать? Я, директор, буду отвечать за аварию. Поняли? Не могу...

Тут вмешался толстяк следователь, загрохотал своим басом:

— Ну чего, директор, бюрократишь, бери. Вывернет, так веселей тонуть будет, компания больше.

И Петро, капитан, сказал:

— Тремя больше-меньше — роли не играет, так и так перегруз.

Начальство снова поскоблило щеку и, смилостивившись, приказало:

— Садись!

Карбуз наконец отчаливает. Петро и Михайла баграми отталкиваются от берега, следователь, стоя на корме, прикладывает ко рту ладони рупором и дает «отвальный гудок». Эхо гулко перекатывает его трубный глас.

Петро и Михайла встают на греби. Картинно красуется на носу корабля директор в своем зеленом френче, синих галифе и начищенных сапогах. Карбуз,

подхваченный течением, разворачивается и выходит на середину реки.

Из столовой появляются несколько обедавших там рабочих и две пышные поварихи — тетя Нюра и тетя Стюра. Следователь еще раз дает прощальный «гудок». На берегу машут руками и хохочут над следовательским басом. А он, довольный, спрашивает у пассажиров:

— Как, ничего у Мозгунова голосок? Шаляпинский...

Плавание наше началось.

Тяжело нагруженный, глубоко сидящий в воде карбуз плывет, как легкая щепка, по могучим валам потока. Почти на каждом километре Мрасс принимает в себя бесчисленные притоки: бурные таежные реки с разноцветными водами, горные ручьи, то свергающиеся водопадами со скал, то бьющие дугой из расселин. И вокруг такая красота! Темно-зеленые хвойные леса на горах, среди которых, как яркие узоры ткани, выделяются золотистые пятна березняка, багряные фонтаны осин. И над всем этим — высокое бирюзовое небо, ясное осеннее солнце.

Никогда не устанешь смотреть на красоты шорской природы! Изумительные скалы, словно высеченные рукой ваятеля с причудливой фантазией, — великая работа ветра, воды и солнца. На голом камне, каким-то чудом занесенные сюда, растут стройные сосны и пихты. А вот и береза, прилепившись на узеньком уступе, тянет свою наполовину опавшую золотую голову в небо.

Вдали, за каймой темно-зеленой, почти черной тайги, за сизыми отрогами гор, виднеется в тумане белоголовый старик Каратаг — Черная голова. Здесь вокруг нас золотистая осень, теплые лучи солнца, а там, на Каратаге, мороз, вековые снега и постоянно воющие бураны туманят его вершину...

Карбуз медленно плывет по широким плесам, раскачиваясь, ускоряя бег, мчится по перекатам. Впереди встает отвесная гора, перегораживая реку. Наше судно устремляется прямо на эту каменную стену. Еще минута — оно со всего разлету ударится о нее, конечно

разобьется в щепы. Всхрапывают, чуя опасность, лошади, косят свои умные глаза на воду, готовясь ринуться через борт.

— Держи коней! — кричит нам, сидящим поблизости к лошадям, директор.

Я ухватываю одну из лошадей за повод и гриву. Дух захватывает — так быстро мы летим прямо на скалу. Но карбуз в каких-нибудь двух метрах проносится мимо камня, река делает крутой поворот, и впереди расстилается широкий спокойный плес.

Я смотрю на скалистые берега и почти на каждом километре пути отмечаю какие-нибудь богатства по признакам, о которых мне рассказывал геолог Смолин во время нашего совместного перехода. Вот на отвесной серой скале около трещин светло-зеленые пятна и подтеки, словно поросли мха. Это выходы меди. Где-то внутри горы залегает далеко уходящими прослойками в камне медная руда. Вода размыла прослойки и вынесла медь из горы наружу, она на воздухе окислилась и позеленела.

А вот выходы каменного угля. Черной извилистой линией прорезают они насквозь отвесный желтый берег и, все суживаясь к поверхности, исчезают под корнями деревьев.

По берегам Мрасса можно читать историю земли. Стремительный поток, как ножом, разрезает горы. По разноцветным волнистым слоям горных пород, по изгибам слоев можно судить о том, как миллионы лет тому назад расплавленные массы пород волнами набегали друг на друга, застывали в судорожных корчах, потом снова приходили в движение от потрясавших планету извержений раскаленных масс и снова успокаивались в хаотическом смешении.

А вот на другой скале уже человеческая рука начертала письмена, повествующие о жизни людей многие века тому назад: олень с ветвистыми, как молодая береза, рогами ринулся прочь от человека, пускающего в него стрелу; среди деревьев, не похожих ни на березы, ни на кедры, идет огромный в сравнении с деревьями зверь, быть может, тогдашний медведь, а может, и еще какой-то невиданный и не доживший до нас хищник;

десятки человеческих фигурок, нарисованных так же упрощенно, как рисуют самые маленькие дети, палочками и кружками.

Камнем по камню человек, предок шор-кижи, тысячу, а может, и больше лет назад выдолбил эти «писанницы», вероятно не предполагая, что его искусство будет для потомков величайшим памятником.

Никто, кроме меня, в карбузе не удивлялся ни природе, ни богатствам, ни «писанницам», украшавшим берега Мрасса. Жителям Страны Темира все это привычно.

Сидевший рядом со мною мальчик-шорец Ваня тихо тронул меня и показал рукой вверх, на один из уступов скалы, почти перерезавший Мрасс. Я поднял глаза и увидел на уступе застывшего, как изваяние, горного козла. На огромной высоте он стоял и смотрел на нас. Быть может, спускаясь к водопою, он увидел на реке наш карбуз и, чувствуя себя вне пределов досягаемости, заинтересованный, поджидал приближения этого невиданного чуда. В карбузе переполошились. Директор заряжал вынутую из палатки бердану, Мозгунов вытащил свой наган. Но ни тот, ни другой стрелять не стали — до козла было по меньшей мере метров полтораста, и с каждой секундой мы удалялись от него.

Тогда следователь набрал побольше воздуха в грудь и, приложив к губам ладони, так рявкнул, что содрогнулись вокруг леса и горы, зазвенело в ушах. Козел спружинил ногами, и тело его плавно переместилось по воздуху на соседний уступ, а еще через секунду исчезло из виду. Голос человека был, видно, куда страшнее рева медведя. Долго еще горное эхо грохотало мозгуновским басом над рекой.

Белотуманная вершина Каратага отражалась в Мрассе. Казалось, стоит причалить к берегу, пройти километр-другой по тайге — и сразу попадешь на «стойбище шайтана», в снега, в буран, бушующий над пустынными горами, поросшими кедрачом, заметно редеющим к вершине. На самом деле до подножия Каратага пришлось бы идти несколько суток через буреломы и непролазную чернь, а подъем на его вершину занял бы всю неделю. Так обманчивы горные расстояния.

И вместе с нашим карбузом плыл по Мрассу цветной ковер осенних листьев, разрываясь на перекатах и быстрине и снова широко расстилаясь на глади плесов...

ЕЩЕ ОДИН ПАССАЖИР

Впереди, там, где Мрасс делает пологий поворот и перекат переходит в спокойный плес, на скале появилось три человека — два маленьких и один высокий. Высокий махал нам шляпой и что-то кричал.

Директор вышел из палатки и отдал распоряжение причалить к берегу несколько ниже скалы, на которой стояли люди. А они уже спускались к воде по узким уступам, схватываясь то и дело руками за кусты, чтоб не сорваться в реку.

И когда мы проплывали мимо них в каких-нибудь двадцати метрах, я узнал Всеволода Ивановича Гайворона, Капчигая и, к большому моему удивлению, Аркашу. Того самого Аркашу, который с такой неохотой ехал со мной в Калары и собирался на другой же день стоянки Гайворона отправиться назад...

Карбуз ударился бортом о каменный берег. Подбежавший первым Капчигай подхватил брошенный Михайлой конец и ловко захлестнул его за ствол сосны. Обрадованный, я первым выпрыгнул на берег. Подошел, сверкая очками, Всеволод Иванович в своем длинном балахоне и знаменитой соломенной шляпе, которая теперь больше походила на сорочье гнездо — так она истрепалась. За ним шел Аркаша. Трудно было узнать в этом загорелом оборванном юноше того Аркашу в чистеньком зеленом плаще и болотных сапогах, с новеньким рюкзаком за плечами, горожанина Аркашу, с которым я расстался, казалось, совсем недавно. Плащ его, порванный во многих местах, кроме того, еще и прожжен на боку — след ночевки у бивачного костра. А от великолепных болотных сапог остались целыми одни голенища, остальное перевязано веревочками, меж которыми торчат пучки озагата.

Аркаша протянул мне руку. Ладонь его стала твердой и шершавой, рукой путешественника, которому приходилось иметь дело и с топором и с камнем.

— На Каратаге не были? — спросил он простуженным баском и кивнул на белую вершину Каратага. — Напрасно, очень интересные места, мы там исследовали высокогорную флору...

Макар-Капчигай, такой же, как прежде, степенный шорский мужичок, вел разговор с нашими шорцами-призывниками. Он раскурил свою огромную трубку и, неистово дымя, рассказывал что-то, кивая то на Всеволода Ивановича, то на Аркашу.

Всеволод Иванович между тем вел переговоры с директором — нашим адмиралом. Они, по-видимому, давно знакомы.

— Забирайте моего помощника, милейший. Места ему надо немного.

— Не могу, Всеволод Иванович. Верьте слову. Перегруз.

— Пустяки, милейший, пустяки. — Гайворон начинал сердиться и покрикивать. — Что вы мне чепуху говорите! Одним пассажиром больше-меньше...

— Не могу, не могу, уважаемый.

— Аркадий, полезайте в лодку, мы посмотрим, потонет ли она от этого! — приказал Гайворон.

— Сейчас, сейчас, Всеволод Иванович.

Аркаша подошел к Капчигаю.

— Я тебе, Макар, обязательно пришлю ту книгу, помнишь, рассказывал... И снимки пришлю...

— Ладно, ладно, если пришлешь. Буду читать, — спокойно сказал Капчигай. — Сам-то приедешь? Вместе опять будем ходить...

Мальчикам, видно, не хотелось расставаться, они крепко подружились. Аркаша сунул руку в карман плаща, вытащил свой складной перочинный нож с красной рукояткой и протянул его Капчигаю:

— Я тебе еще вчера хотел подарить, Макар.

Черные глаза Капчигая радостно блеснули, нож этот был, очевидно, предметом его тайной зависти. Но великодушие и на этот раз не изменило Капчигаю.

— Зачем дарить, менять будем! — сказал он, несколько поспешно принимая подарок.

Он расстегнул пояс, снял с него вместе с ножнами охотничий нож и подарил его Аркаше.

— Бери, бери, помнить будешь.

— Ну, Аркаша, в лодку, в лодку! — снова приказал Гайворон, не обращая внимания на хмурое лицо директора. — Передавай отцу все, что я тебе сказал.

— Но вы же сами обещали приехать, Всеволод Иванович. — Аркаша держал Гайворона за руку.

— Может быть, может быть, зимой... Если позволит работа или придется ехать в Москву.

— Нет, обязательно, Всеволод Иванович, мы будем ждать, ведь мы же условились, ведь я же в школе скажу, мы подготовимся.

— Возможно, весьма возможно. Но — в лодку, в лодку, а то еще отчалят и оставят. — В глазах и в голосе Гайворона была ласковая строгость.

Аркаша прыгнул в карбуз.

— Вот видите, — сказал насмешливо Гайворон директору, — в лодке никаких изменений не произошло...

Когда мы прощались с Всеволодом Ивановичем, он тихо сказал мне, кивнув в сторону Аркаши:

— Нравится вам наш путешественник? Ему крепко доставалось и от тайги и от меня. Горячая голова, но в общем юноша хороший. Мы с ним собрали такие образцы на Каратаге — флора-уника!

Гайворон рассмеялся.

— Я его и к Смолину на неделю прикрепил, ну а с тем ему было еще потрудней, рудознатец и горолаз наш особенно с ним не церемонился. Между прочим, Смолина вы можете увидеть в Ташелге, он туда спешно зачем-то уплыл несколько дней тому назад. Какие-то там аномалии новые...

Я забрался в карбуз. Капчигай отвязал канат от сосны, и судно наше тотчас подхватило течением.

— Приезжайте, Всеволод Иванович, обязательно! — кричал Аркаша и размахивал кепкой.

— Сам-то приходи, Аркашка! — донесся крик Капчигая. Он стоял рядом с Гайвороном.

Всеволод Иванович смотрел нам вслед из-под руки, так как истрепанные поля шляпы уже не заслоняли его глаза от солнца.

Признаться, и мне почему-то грустно было расставаться с «Сиволотом Ванычем», как его зовут шорцы. Вот он стоит на берегу и смотрит нам вслед — человек, отдающий всю свою жизнь любимой науке, видящий свое призвание и счастье в работе, в изучении природы, которой отданы все его привязанности. Живая природа стала ему домом и семьей. Бесчисленные растения — маленькие нежные цветы на тонких стеблях — он с отеческой нежностью подолгу держит в своих ладонях. Они рассказывают ему, точно так же как геологу Смолину камни, о своей жизни. Влюбленно перебирает он травы, излечивающие от болезней человека, травы, из волокон которых можно создать ткань, травы — озорные захватчики почвы и травы — злаки, кормящие живых обитателей земли. Мне вспомнились стихи одного моего знакомого поэта, с детства влюбленного в природу и посвятившего ей лучшие свои строки:

Товарищ, возьмите проверьте
Вот этот цветок молодой,
Быть может, в нем наше бессмертье
Горит неоткрытой звездой.

Всеволод Иванович в раскрытых бутонах цветов, в лепестках, пронизанных жилками, в нежных побегах, читает великие законы природы и жизни. Он хочет породнить многие растения, чтобы соединить воедино их полезные качества, так же как знаменитый садовод Мичурин лесную ягоду породнил с садовыми плодами. И выходит, что Гайворон работает для всех людей, ищет новые блага для нас всех.

Карбуз уже далеко отплыл от места остановки, а Всеволод Иванович и Капчигай все еще стояли на берегу и смотрели на нас. Вот высокий, прямой человек в длинном балахоне обнял за плечи своего низенького спутника, и они медленно пошли в тайгу.

Аркаша шумно вздохнул.

— Ну, рассказывай, что ты интересного видел, как

жил в тайге, — обратился я к задумчиво смотревшему в воду Аркаше.

— Да разве расскажешь все... Тут надо целый день рассказывать.

Аркаша развязал рюкзак и достал две толстые папки и картонную коробку.

— Вот, Всеволод Иванович подарил, — сказал он, подавая мне папки. — А собирали вместе.

Я раскрыл папку. Это был гербарий — дневник путешествия Гайворона с ребятами по тайге. Под каждым из засушенных цветов и листиков четко выписаны латинские названия растений, место, время их находки.

Кондома, Кизас, Турла, Мрасс и десятки других таежных рек и урочищ. И чудесные горные цветы, начиная с нежнейшей «виола-унифлора» — фиалки, кончая редкой в горах «цирцеей-лютерианой»...

В этой яркой книге, составленной из стебельков и листьев, запечатлен маршрут экспедиции, путь ее изысканий и открытий и, наверное, многих испытаний и приключений, какие пережили изыскатели.

Аркаша раскрыл коробку. Переложенные мхом, в ней лежали камешки всех цветов — самоцветы, какие мне показывал геолог Смолин на берегу горного ключа, и еще какие-то, которых я никогда не видел: с золотыми и серебряными блестками, с ярко-алыми прожилками и крапинами.

— Это я сам собирал, когда мы шли со Смолиным. Конечно, это так, для ребят, в школу. Мне-то они неинтересны. Мы же искали железо, — сказал Аркаша точь-в-точь так, как мне говорил геолог: «Не интересуюсь драгоценностями».

Я невольно улыбнулся.

— Ну конечно, — горячо продолжал Аркаша, заметив мою улыбку, — ведь их тут сколько хочешь, искать не надо, на любом берегу. А вот железо, марганец — это труднее и нужнее. Мы со Смолиным на Кондоме одно месторождение оконтуривали... Вот интересная работа — геолога...

Я любовался вдохновенным лицом Аркаши и ви-

дел, что пребывание в тайге и общение с ботаником и геологом сделали свое дело.

— Ну и что же ты выбрал — геоботанику или геологию? — спросил я, вторгаясь в Аркашины мысли.

— Пожалуй, геологию, она гораздо трудней и серьезней, — не поняв моей иронии, серьезно ответил Аркаша. — Тут столько работы для разведчика...

Мы догоняем салик, на котором плывут двое шорцев. Это плот, связанный из двух-трех десятков бревен, — обычное средство передвижения шорцев вниз по реке. Оно и удобно и выгодно. Надо человеку съездить в Мыски или в Сталинск, он на берегу срубает десяток хороших лесин, связывает из них плот — и судно готово. А в Сталинске этот лес можно выгодно продать. Так что путешествие окупается и даже приносит доход.

— Эзенок! — кричат нам с салика.

— Эзенок! — хором отвечаем мы.

— Кая паарчам? — спрашивают с салика.

— Мен паарчам Кузнецк! — отвечает за всех наш капитан Петро.

Это традиционное приветствие на Мрассе — поздороваться и спросить: «Кая паарчам? («Куда идешь?») Именно не «плывешь», не «едешь», а «идешь». Встретятся верховые шорцы на таежной тропе и обязательно спросят друг друга: «Куда идешь?» В поезде опять-таки: «Куда идешь?» Так принято.

Если мы обгоняем салики, то нас обгоняют кебе — узкие, выдолбленные из одного ствола лодочки шорцев. У нас их зовут душегубками. Действительно, диву даешься, видя, как среди бушующего потока легко и уверенно скользит это утлое, вертлявое суденышко. Шорцы им управляют мастерски. Пловец стоит на ногах, в руках у него шест, которым он ритмически отталкивается о дно реки; кебе стремительно и легко, как игла, мелькает среди бурунов. Так они поднимаются вверх по реке, а переплывая поперек, пользуются одним веслом.

Наш карбуз вдруг подхватило течение. Впереди на полкилометра река кипела и рокотала, перекатывая камни.

— Это ж разве порог! — улыбаясь кричит Петро-капитан и ворочает тяжелой гребью, проводя карбуз между огромными камнями, вздымающимися из бурлящей воды.

Карбуз ныряет, закапываясь носом в буруны, подпрыгивает на могучих валах потока. Мчимся мы со скоростью глиссера — так, что в ушах свистит. В какие-нибудь две минуты мы проскочили километровое расстояние. Петро утирает брезентовой рукавицей побагровевшее от напряжения, мокрое лицо и говорит:

— Вот впереди порожки так порожки! Красиловское бучило, ух! — Петро трясет головой.

Мы снова плывем по зеркальному плесу среди чуткой осенней тишины. И вдруг откуда-то из-за поворота реки слышатся трели знакомого прекрасного голоса:

Не счесть алмазов в каменных пещерах...

Песня индийского гостя из «Садко», поет ее Собинов, и так крылато звучит она на просторе, переливаясь горными отголосками... Навстречу нам около правого берега вверх по течению поднимается карбуз, точно такой же, как наш. Его тянет на бечеве пара лошадей, бредущих по воде. На одной из лошадей сидит мальчик-шорец и звонкоголосо покрикивает на пристяжную.

Вот для этого же и в нашем карбузе стоит пара лошадей и едет с нами «моторист» Ванька. На обратном пути он будет главным действующим лицом в плавании.

На встречном карбузе, нагруженном ящиками, мешками, играет патефон. Серебряный тенор Собинова стелется над Мрассом. Команда карбуза, развалившись на мешках, наслаждается музыкой. Следователь Мозгунов, самолюбиво решив перекрыть Собинова, приветствует встречное судно «гудком», вложив в него всю мощь своего баса. Со встречного отвечают тем же. Над рекой гремит хохот. И снова разливается, плывет прекрасный собиновский голос:

Не счесть жемчужин в море полуденном...

Вслед за встречным карбузом, как говорят — в

кильватер, идет кебе. Двое шорцев, стоя один на носу лодки, другой на корме, согласованно взмахивают шестами. Железные наконечники шестов звенят о каменное дно реки. При каждом ударе шестов о дно с верхом нагруженная лодка, разрезая воду острым, как нож, носом, продвигается на несколько метров.

Солнце уже шло на закат, река покрывалась розовыми бликами. Очень быстро начало темнеть. Мы причалили к отлогому берегу, под могучие, высоченные пихты. Пусть идет любой ливень, под надежным этим прикрытием на нас не упадет ни одна капля. Карбуз крепко причален к толстой пихте. Вывели на берег лошадей, и они с наслаждением долго катались по земле. Мы с Аркашей выбрали мягкое моховое ложе под одной из пихт и стали устраиваться. К нам присоединились призывники. Директор и команда карбуза решили ночевать в палатке.

Набрать сухих, смолистых веток было делом нескольких минут. И вот запылал на берегу огромный костер, освещая красным пламенем воду, плескавшуюся у берега, подбрасывая с треском вихри крупных искр. Искры ударялись о ветви пихт, рассыпались, обвивая мохнатое дерево золотым серпантином, и оно становилось похожим на новогоднюю елку.

Мы заварили ведро чаю и всей компанией, которую не пожелал разделить только директор, ужинавший отдельно, уселись за чаепитие. Ребята-призывники радушно предложили всем туес светлого, как слеза, меда.

Сидевший между мной и Аркашей паренек в красноармейской фуражке, прихлебывая из кружки чай и уплетая мед с хлебом, все продолжал говорить о своем:

— Неправильно комиссия решила. Если меня там, в Сталинске, комиссия не возьмет, могу я добровольцем идти? Могу, а? Ты как скажешь, а? — обращался он то ко мне, то к следователю.

— А ты настаивай, убеждай, раз желание имеешь, — советовал ему Мозгунов. — Кто хочет, тот всегда добьется!..

Алексей Мижаков — так звали этого паренька,

рвавшегося в армию, — после чая пел со своими товарищами песни; пробовал к ним присоединиться и следователь, но бас его не укладывался ни в какую мелодию, и все только смеялись.

Один за другим засыпали пассажиры. В тайге совсем стихло. Небо затянуло черными тучами, и густая тьма лежала между деревьями. Только изредка прокричит ночная птица, треснет сухая, отвалившаяся от дерева ветка, да пофыркивают лошади, задремавшие невдалеке от костра. Наверное, в эту ночь к освещенной костром луговине подкрадывался не один таежный обитатель и смотрел на спящих людей и лошадей горящими глазами. И уходил, зная, что и с огнем и с людьми связываться рискованно...

КРАСИЛОВСКОЕ БУЧИЛО

Утро наступило серое, неприветливое, шел мелкий холодный дождик. Отплыли мы с места ночлега молчаливо, невесело.

— Сверху вода и снизу вода! — добродушно провозгласил неунывающий Мозгунов.

Хорошо выспавшись, он расположился завтракать на корме. Так как сердитый директор сегодня не вылезал из палатки и не занимал своего адмиральского места, то мы с Аркашей устроились на носу карбуза, к нам присоединился и Алексей Мижаков, очевидно искавший нашей компании.

Берега Мрасса стали еще живописнее, а сама река еще стремительнее, даже на глаз заметно — она скатывалась под гору.

Вот мы проплываем мимо удивительной скалы, которую, по словам Алексея Мижакова, называют в народе Царскими воротами. На вершине пирамидальной скалы высится гранитная арка с полукруглым сводом, и в этой голубой бреши растет высокая стройная березка. Царские ворота находятся метрах в восьмидесяти над водой и смотреть на них надо, запрокинув голову. Народ сложил легенду об этом удивительном произведении природы.

Эту брешь в скале пробила стрела могучего богатыря по имени Ай-Толай — Полнолуние. Здесь Ай-Толай сразился со свирепым повелителем этих гор Кара-Каном, взимавшим с подневольного народа непосильный албан — дань. Вольнолюбивый Ай-Толай вызвал Кара-Кана на поединок. Кара-Кан на пути Ай-Толая нагромоздил скалы, через которые не мог перепрыгнуть богатырский конь. Тогда Ай-Толай пустил из своего лука девятиглазую и девятиголосую стрелу, оперенную крыльями орлов. И эта стрела пронзила скалу и поразила Кара-Кана в самое сердце...

А Царскими воротами эту скалу назвали русские по сходству с церковными «царскими вратами» — через них выход в небо...

Немного дальше мы увидели еще более интересную скалу, называемую Могилой шор-кижи. Над водою вздымается серый каменный обелиск. На вершине его — черный камень, издали напоминающий фигуру человека с занесенным в небо кулаком. Чудодейственная работа природы — воды и ветра, так обточивших этот камень, — стала также предметом легенды, отдаленно связанной с образом Прометея.

— Старики наши так сказывали, — толковал нам Алексей Мижаков. — Задолго до нашего времени, в первые годы земли, жил богатырь Шуна — первый шор-кижи на этой земле, богатырь, сильней которого не было на всем свете людей. А на земле случилась большая беда — потеряли люди огонь, а как добыть его, еще не знали. Тогда Шуна взялся достать огонь для своего народа. Поднялся Шуна на самый высокий бом, хотел с него дотянуться до неба рукой, звезду снять и, как уголек, ее людям принести. А бог-то на небе шибко рассердился, гром, тучи пустил, молнии стал в богатыря метать. Одна молния в грудь Шуне попала, сгорел богатырь, черный, как уголь, стал и на вершине бома остался. Как протянул руку к небу, так вот и теперь стоит. И стали люди эту скалу звать Могилой шор-кижи — первого шорского человека Шуны...

Из-за поворота, который мы миновали, выскользнула кебе. В ней сидело несколько гребцов, и весла

взлетали и опускались в воду так слаженно и красиво, что казалась лодка крылатой, она будто летела над водой. Один из гребцов запел. И до нас донеслись слова знакомой шорской песни, которую я слышал в Кабырзе.

Кебе быстро догнала нашу посудину. В певце я узнал Семена Торчука, кабырзинского соловья. И наши ребята-призывники радостно приветствовали своих односельчан и певца-любимца. Начался традиционный переклик.

— Кая паарчам? — певуче крикнул Семен.

— Кузнецк паарчам! — неслось с карбуза и взаимное: — Кая паарчам?

Семен, оказывается, тоже плывет в Сталинск, на совещание пчеловодов, «маленько лекции читать», как он выразился.

— Э-хоо! Быстро же вы плывете, пассажиры! — иронически выкрикивает Семен.

Товарищи его хохочут.

— Как твоя корапь называется, капитан? — обращается он к нашему Петру-капитану.

Петро повертывается к насмешнику спиной. А Семен сам и отвечает на свой вопрос:

— Черепахой твоя корапь называется!

Наш капитан багровеет от гнева и под общий хохот мрачно отдает распоряжение Михайле, стоящему у рулевой греби:

— Ударь их, Михайла, носом!

Михайла делает попытку направить карбуз прямо на лодчонку. И горе было бы дерзкой кебе, попади она под этот удар, но гребцы ее дружно касаются воды короткими веслами — и кебе уже далеко впереди нас... Молодой звучный голос Семена стелется по реке:

На горе Шаныштыг птица поет,
Сердце радуется мое, э-хоо...

Кебе все дальше от нас, и уплывает с нею песня Семена...

К концу дня издалека стал доноситься до слуха глуховатый непрерывный гул, будто где-то далеко в горах идет тяжелый товарный поезд.

— Вот и Большой порог слыхать, — пояснил Петро.

— А еще плыть до порогов верст десять, — добавил Алексей Мижаков. — Сегодня не дойдем...

Начались разговоры о знаменитых мрасских порогах, о которых мне говорил Смолин и рассказывали другие. Переправа через них крайне опасна, и мало кто из переправляющихся через самое опасное место — Красиловское бучило — не помянет эти пороги худым словом. Редкий год обходится здесь без жертв. Алексей рассказывает, что совсем недавно на порогах погиб опытный лодочник. Достаточно было одного неловкого движения, как лодку разбило о камень в щепы, а лодочник исчез в бурунах навсегда.

«Чертово место!» — говорят все о порогах.

Такие большие суда, как наш карбуз, через пороги спускаются редко. Обычно делается так. Следующий с верху карбуз останавливается в Хомутовке, в трех километрах от порогов. Отсюда пассажиры пешком, а грузы вьюком спускаются по берегу вниз на семь километров, в Ташелгу, где погружаются на другой карбуз или иное судно и продолжают плавание.

Так собираемся поступить и мы, как нам об этом сказал капитан.

Только шорцы переправляются через пороги на своих утлых кебе, на саликах — и чаще всего благополучно.

На закате мы достигли Хомутовки и причалили к берегу. Могучий гул порогов здесь слышен совсем отчетливо. Петро и Михайла тотчас уехали верхом на лошадях вниз по берегу, в улус Ташелгу, осмотреть карбуз, на котором мы должны продолжать свое плавание дальше, после Больших порогов.

Через несколько часов они вернулись с самым неутешительным докладом директору, мы слышали его все. Карбуз за лето так рассохся, что плыть на нем без большого ремонта нельзя. Других карбузов в улусе нет, да и лодки все в расходе.

— Однако доведется свой карбуз через порог спускать! — браво высказался Михайла.

Петро-капитан молчал. Молчал и директор, царапая ногтем заросшую щеку.

— Да... Це треба разжувать, — явно в адрес нашего капитана пробасил следователь.

— Спускать надо карбуз, другого выходу нету! — еще решительней повторил Михайла.

— А ты не боишься? — спросил я у него тихонько.

— Как не боюсь... Боюсь. А раз надо... была не была, — ответил крепыш.

К собранию нашему подошел худощавый паренек в лихо заломленной фуражке, из-под которой рыжей гроздью свешивались разудалые кудри. Парень прислушался к нашему разговору и, усмехаясь, сказал:

— Не суметь вам, чего треплетесь! Разобьетесь.

— А ты, поди, сумеешь? — задирается Михайла.

— Если попросите, спущу. В целости. За сотню целковых, — спокойно отвечает паренек.

Около нас собираются хомутовские жители. И мнение у всех единодушное: если лодочники наши ни разу через порог не спускались, то лучше им за это и не браться — и карбуз могут погубить и сами пострадать. Только Васька Тарабаров, здешний лесоруб и отчаянный лодочник, сможет провести карбуз через пороги. В прошлом году он ухитрился провести через пороги салик, на котором находились... две коровы.

Кудрявый заносчивый паренек и есть этот самый Васька Тарабаров. Стоит себе фертом, поплевывает, из-под кудрей своих поглядывает на наших лодочников и явно набивает себе цену.

И тут воспрянуло в нашем капитане его «моряцкое» самолюбие, и он, сплюнув не менее артистично, чем Васька, с напускным равнодушием говорит:

— Какой может быть разговор! Раз надо, сами управимся, великое ли дело!

И хорохорится Михайла:

— Двое — не один, и на воде не первый раз.

Васька, с достоинством посвистывая, уходит. Один из хомутовцев, старик, говорит нашим лодочникам:

— Глядите, робята, как бы греха не вышло. А наше дело было упредить вас.

— Да ничего, ребята — орлы, справятся! — подает наконец голос директор. — Литр поставлю.

— А кого мне привлекать потом? — спрашивает следователь, по-видимому, усомнившийся в успехе предприятия. — Тебя, директор, придется.

— Видно будет, — отвертывается тот.

Директорское слово окончательно решило дело. Петро и Михайла сразу становятся сосредоточенными и важными, они уходят к карбузу.

Аркаша отправляется туда же, и я вижу, как он в чем-то горячо убеждает капитана. Он, вероятно, отговаривает Петра от рискованной затеи. Петро мрачно отмахивается, отрицательно трясет головой. Аркаша что-то снова горячо доказывает, и Петро, по-видимому, начинает соглашаться. При моем приближении Аркаша умолкает и начинает заниматься своим совсем развалившимся сапогом.

Я зову его ночевать на берегу, под пихтами, он отказывается и говорит, что Петро разрешил ему ночевать в карбузе, чтоб завтра утром посмотреть на спуск судна...

Наши призывники-шорцы, уходившие куда-то на поиски знакомых, возвращаются навеселе. Алеша Мижаков, узнав, что Петро и Михайла решили сами вести карбуз через пороги, говорит:

— Купаться, видать, им охота. Почему Ваську не взяли? Денег жалко? Дороже будет. Если б кебе или салик, я бы сам взялся. А карбуз не сумею. И Петька не сумеет. Ну, его дело.

Утром, чуть рассвело, мы, пассажиры, нагрузились своими вещами, чтобы идти по берегу вперед и посмотреть, как будет спускаться наш карбуз через пороги.

Петро и Михайла уже возились около карбуза. С лодки убран весь груз, остались только две железные бочки из-под керосина. Петро и Михайла хмуроваты и сосредоточенны. Они укрепляли греби на уключинах. Аркаша о чем-то снова тихо, но энергично переговорил с капитаном. Мы пошли.

Надо было торопиться, чтобы успеть дойти до места, откуда хорошо видны пороги, сейчас скрытые при-

брежными скалами и лесом. Кламар и Убуйтайгазы — мрачноватые в утреннем тумане горы, меж которыми бьется Мрасс, — казалось, сдвинуты так близко друг к другу, что реке дальше некуда деваться. Из туманной этой глубины доносится могучий рев порогов.

Мы гуськом двигались по тропе, петлявшей по лесу и перевалам. Впереди верхом на навьюченных лошадях ехали директор и Ванька, за ними шли Мозгунов и командировочные, мы с Аркашей замыкали шествие. Призывники наши ушли давно вперед.

Аркаша приторочил свой тяжелый рюкзак к седлу, на котором ехал Ванька, и шел налегке, почему-то все время оглядываясь.

Вдруг он, чертыхаясь, плюхнулся на землю и принялся за свой сапог. Действительно, подошва левого сапога совсем отвалилась и, загибаясь назад, мешала идти. Он остался возле тропинки, чтобы перевязать сапог. Я пошел вперед, рассчитывая, что он нас нагонит.

Через полчаса пути мы достигли самих порогов. Река, сжатая Кламаром и Убуйтайгазами, сердито ревела. Надо было кричать, чтоб слышать друг друга. Мы поднялись на голую скалу, окатанную мощным потоком. Отсюда сквозь деревья показался первый порог. Он не выглядел таким страшным, как рассказывали. Правда, река, стиснутая здесь скалами, вздулась, как в весенний паводок, и, натыкаясь на каменную гряду, скрытую водой, с грохотом перекатывала свои седые от пены валы, над которыми бушевала пурга водяной пыли. Но спад воды казался довольно пологим и не походил на водопад, какой рисовался в воображении прежде.

— Идут, идут! — заорал Мозгунов, которого только и можно было услыхать сквозь грохот и гул реки.

Следователь, махнув рукой, кинулся на выступ скалы, чтоб лучше видеть. Я взобрался за ним, бросив внизу рюкзак.

Вот оно и Красиловское бучило — второй и действительно страшный порог. Река, разъединенная на несколько узких рукавов скалами, выгнув спину, как разъяренный зверь, с ужасающей быстротой мчалась меж камней и с трехметровой высоты срывалась вниз,

поднимая саженные гребни, захлестывая в ярости все на пути, как будто тут Мрасс прорвал каменную плотину. С невольным холодком в сердце я успел представить положение тех, кто, попав в эту ревущую прорву, в последний раз видел и высокое небо, и белые облака, и водяную радугу над головой...

Из-за поворота у первого порога, показался наш карбуз.

Я невольно вскрикнул. В карбузе было три человека. Прижавшись всем телом к короткой мачте, стоял Аркаша, бешеный ветер трепал его белые волосы. Так вот о чем шли у него тайные переговоры с капитаном, вот почему он отстал. Это было все обдуманной хитростью: отправиться с нами пешком по берегу, затем незаметно отстать и вернуться к карбузу. Он знал, что никто не разрешил бы ему это рискованное путешествие.

Петро, уже мокрый с ног до головы, стоял на корме и изо всей силы бил гребью по воде, проводя карбуз среди камней, выпиравших из бурунов. Коротыш Михайла стоял на коленях в носу и тоже работал гребью. Его то и дело окатывало волной. Карбуз глубоко зарывался носом в пенистые валы. Хотелось закрыть глаза — так жалки и беспомощны были и суденышко, и трое людей в нем среди бушующей и ревущей стихии.

Карбуз бросало из стороны в сторону, как легкую щепку. В какие-то несколько секунд он промчался через Верхний порог. Но самое страшное ожидало их впереди — Красиловское бучило.

И вот карбуз снова в бурунах. Суденышко так подбросило вперед, что нос его, где прижался к борту Михайла, исчез под водой, а корма поднялась и весло капитана беспомощно гребло в воздухе. Карбуз вынырнул на мгновение, и со страшной быстротой его понесло в самое бучило. Никакие греби не могли бы его теперь сдержать или направить. Слабо долетели до нас сквозь грохот потока какой-то легкий хруст и гул железных бочек, очевидно ударившихся о камень. Карбуз исчез в бурунах.

Казалось, все кончено. Но мы увидели снова нашу

злополучную посудину, несущуюся кормой вперед уже ниже водопада. Михайлы в лодке не было. Петро лежал на дне карбуза. Аркаша, напрягая все силы, ворочал гребью, чтоб поставить лодку вдоль валов, которые каждую секунду могли ее перевернуть через борт. Когда и как он смог перебраться от мачты в корму и схватиться за весло? Это казалось чудом ловкости и смелости.

Но усилия его одного были бесполезны. Карбуз вперед кормой несло к третьему — Косому порогу. Лишенное управления, суденышко было обречено. Река делала крутой поворот, и рычащий поток мчал карбуз прямо на темные огромные валуны, углом перегораживающие реку.

Разбивая колени о камень, обламывая ногти, я вскарабкался на соседнюю скалу, чтобы видеть всю реку и Косой порог. И увидел только Михайлу. Он сидел на маленьком каменном островке метрах в трех от берега. Глаза его были испуганно вытаращены, он утирал рукавом разбитое в кровь лицо и отплевывался. Еще увидел я одну из железных бочек, которая, как поплавок, ныряла и кружилась в водовороте.

Карбуза нигде не было.

Михайла неопределенно махнул мне рукой, перекрестился, неуклюже, по-тюленьи бултыхнулся в воду, и кипящий пенистый поток выбросил его на прибрежный камень.

Я спустился со скалы к самой воде и побежал вперед, думая, что карбуз, может быть, выбросило на берег ниже. Позади меня бежал Михайла, за ним следователь, директор. Михайла что-то кричал мне, но я ничего не слышал и не мог остановиться.

Мы выбежали из перелеска, скрывавшего от глаз реку и левый берег. И я сразу увидел карбуз, выброшенный вверх дном на огромный валун метрах в двадцати от противоположного берега. На днище карбуза лежал человек, судя по синей фуфайке, Петро-капитан. Аркаша исчез.

Плюхнувшись около меня на землю, потный, запыхавшийся Мозгунов шумно выдохнул:

— Пропал Аркашенька! — и дико выругался.

Подбежали и директор с Михайлой. Бледный до синевы директор почему-то заорал на меня:

— Кто парнишке разрешил, а? Кто отвечать будет?!

Михайла, очевидно уже давший на бегу объяснения начальству, стоял, стирая рукавом кровь с разбитого и заплывшего лица, и растерянно твердил:

— Я ж говорю, он сам, сам упросился...

Вдруг на том берегу из леса, согнувшись под длинной лесиной, показалась маленькая фигурка. Аркаша был в одних трусиках. Неизвестно как попав на берег, он уже принимал меры к спасению товарища по несчастью. Значит, и Петро жив. Но без посторонней помощи он на берег попасть не мог. Между камнем, на который выбросило обломки карбуза, и берегом буйствовал узкий поток, не менее бешеный, чем бучило. Буруны свирепо налетали на камень, ежеминутно грозя слизнуть и остатки карбуза, и лежащего на них Петра. Река, как будто обозленная своей неудачей, бешено кидалась здесь на ускользающую от нее добычу.

Аркаша что-то кричал и размахивал руками. Петро медленно, будто нехотя, начал подниматься, встал, держась за ребра карбуза.

План Аркаши состоял, очевидно, в том, чтобы перебросить через поток жердь, по которой Петро мог перебраться на берег.

Еле справляясь с лесиной, Аркаша оттащил ее на десяток метров выше по берегу и стал медленно спускать на воду. Течение вырвало из его рук конец жерди, и она перегородила узкий поток между камнем и берегом.

Но не успел Петро и шага сделать к этому спасительному мостику, как лесина под напором воды выгнулась дугой и в следующее мгновение, легко переломленная потоком, исчезла.

Петро махнул безнадежно рукой и снова лег на камень, он, по-видимому, плохо себя чувствовал. Вода перекатывалась через него.

Аркаша снова исчез в лесу.

Мы с Мозгуновым решили бежать в улус Ташелгу.

Надо же что-то предпринимать, оказать помощь потерпевшим. Но об этом успели уже позаботиться наши шорцы-призывники. Снизу около нашего берега шли две кебе, в каждой из них стояло по два гребца, энергично работавших шестами. В первой кебе стоял посередине Алексей Мижаков, а во второй, к удивлению нашему, мы увидели Василия Тарабарова, который работал шестом так же ловко, как его напарник-шорец.

Надо было торопиться. Страшно подумать, как там, на камне, чувствует себя бедняга Петро. Вода в реке такая холодная, что рука не терпит. И пронизывающий до костей утренний сырой ветер. Сдюжит ли Петро еще хоть полчаса? Да и Аркаша, ведь он там в одних трусиках, почему-то сбросил одежду...

Аркаша между тем, стоя снова на берегу, проделывал какие-то замысловатые движения руками и ногами, всем телом и что-то кричал Петру. Капитан медленно поднялся и вяло, неуклюже стал повторять движения Аркаши. Предприимчивый Аркаша, убедившись, что ему одному не удастся выручить Петра, заставил капитана греться движениями, поддерживая в нем бодрость.

Мы бежали навстречу лодкам.

Я сел в кебе Алексея Мижакова, следователь — в другую.

— Давай, давай скорей! — кричал Алексей, подавая мне короткое весло. — Сейчас мы напрямик перемахнем. Так, Вася? — обернулся он к Тарабарову.

— А как иначе, наперерез надо,— ответил Вася, пренебрежительно сплюнув в бурную реку.

— Это где же, через этот перекат? — спросил Мозгунов, кивнув на кипящее, пенистое течение.

— Прямо, прямо, — ответил Вася, нахлобучивая кепку на рыжие свои кудри и усаживаясь в корме кебе с коротким веслом.

— Ну нет, — сказал следователь, — это второй катастрофой пахнет. А Мозгунов не мальчишка, чтобы сдуру лезть в пекло.

И он вылез из лодки. Его заменил Михайла.

Алексей Мижаков, сидя на корме, ударами корот-

кого весла направил кебе наискось течению. Мы своими веслами гребли изо всех сил, помогая ему. За нами вел лодку Тарабаров. Кебе нашу подбрасывало, болтало, как скорлупку, мы каждую секунду могли очутиться в воде. Но Алексей, сбив свою красноармейскую фуражку на затылок, смеялся, ловко отбивался веслом от волн и кричал то ли нам, то ли реке:

— Киба́, киба!.. Давай, еще давай!

Вторая лодка шла параллельным курсом и так же плясала на волнах, как наша. И Тарабаров, играя веслом, также кричал:

— Давай, давай!..

Кебе разрезала волну за волной, одну выше другой. Это была какая-то дерзкая игра с ревущей, бешено бушующей стихией. Но было совсем не страшно: веселое лицо нашего Алексея внушало спокойствие, а его выкрики — какое-то бесшабашное желание вместе с ним кричать реке: «Что, взяла? Попробуй-ка, возьми!..»

С десяток минут длилась эта схватка с потоком. Мокрые от брызг с ног до головы — кебе почти до половины наполнилась ледяной водой, — мы к берегу причалили благополучно и поспешили к пострадавшим.

Аркаша посиневшими от холода губами что-то говорил; из-за грохота потока слов разобрать было невозможно, но я догадался, что он торопит с помощью Петру, который, сильно прихрамывая, подпрыгивал на камне и размахивал руками.

На плече Аркаши кровоточила глубокая и длинная царапина, вероятно поранился он, возясь с лесиной. Я промыл ему рану, перевязал, заставил его закутаться в мой плащ и выпить глоток из фляжки со спиртом, которую мне сунул следователь, вылезая из лодки.

Пока Тарабаров и Мижаков срубали высокие и прямые березы, мы развели на берегу большой костер, возле которого я и усадил лихорадочно дрожавшего Аркашу.

Мы принялись сооружать переправу для Петра — скрепили по две лесины кольцами из таловых веток,

затем веревками связали звенья. По методу Аркаши спустили это сооружение на воду, немного выше того места, где находился Петро. Поток мгновенно втиснул лесины между берегом и камнем. Петро, держась руками за переправу, спустился в воду. В это время перегруженный лесинами поток вздулся и легко слизнул с камня остатки карбуза.

Обхватив руками и ногами лесины, Петр стал медленно, скрываясь под водой, перебираться к берегу. Он высовывал из воды голову, делал широко раскрытым ртом глоток воздуха и снова исчезал в бурунах. Лесины выгнулись под напором воды и тяжестью тела капитана и могли вот-вот лопнуть. А секунды тянулись страшно долго, и казалось — Петро никогда не выберется из бешеного кипения воды. Вот он снова исчез в пене и брызгах, собрав все силы, рванулся к берегу. И только мы успели его подхватить, как вода переломила и умчала переправу.

Мы долго растирали закоченевшего Петра спиртом, дав, конечно, изрядную порцию и внутрь. Василий Тарабаров, отогревая у костра руки и покуривая, без насмешки, соболезнующе говорил нашему капитану:

— Ты ж, чудак, по добру сказал бы мне, вместе бы и спустили карбуз. Думаешь, я бы за той сотней погнался? Это ж так, для азарту было сказано. У меня к этому делу просто интерес. Сколько я и саликов и карбузов через пороги провел, ни с кого денег не брал. Раз со мной бы спустился, потом и сам стал бы управляться. Тут же просто дорожку надо знать, чуть промахнул — и крах! А ты из гордости и об этом не спросил. Вот и пострадал сам и карбуз погубил, чудак...

Аркаша, разрумянившийся, с лихорадочно блестящими глазами, рассказал, как он спасся. Когда карбуз пронесло через Красиловское бучило и, наполненным водой, потащило вперед кормой к Косому порогу, Аркаша понял, что дальше ждать нечего. Река делала изгиб, здесь течение было чуть спокойней. Воспользовавшись тем, что карбуз занесло в это место, Аркаша, сбросив плащ и сапоги, бросился в воду и вплавь до-

стиг берега. А Петро остался в лодке, и его выбросило на камень с остатками разбитого о скалу карбуза.

— Ты, видать, парень ничего, смелый, — сказал Василий Тарабаров. — Видел я, как ты на Косом пороге один действовал.

Похвала отчаянного мрасского лодочника заставила Аркашу покраснеть еще больше.

Василий Тарабаров, оказывается, не утерпел, бросил работу, пришел утром на берег Мрасса и издали наблюдал всю историю на порогах.

Петро и Аркаша надели просохшую одежду. Нашлись, между прочим, и сапоги Аркаши — их выкинула река на берег, не польстившись на такое рванье.

Мижаков и Тарабаров на кебе перевезли нас всех на другую сторону реки, где нас ждали остальные пассажиры карбуза. Директор попробовал было напуститься сначала на Петра, а потом на Аркашу, но Мозгунов его осадил.

— Ты, когда в Кабырзе принимал пассажиров на борт, что кричал? Кричал, что за все ты, директор, отвечаешь. Ну вот и отвечай. А на ребят нечего, им без тебя сейчас не сладко, еще не отдышались. Понял?

Директор махнул рукой и ушел к лошадям, которых Ванька караулил давно уже на тропе.

Мы попрощались с Василием Тарабаровым, который пошел к себе в Хомутовку. Очень понравился нам всем этот лесоруб, лихой мрасский лодочник.

Всем гуртом мы направились в Ташелгу — путешественники, потерпевшие кораблекрушение...

РАССКАЗ О НЕОБЫКНОВЕННОЙ ГАЛЬКЕ

В Ташелге нам пришлось задержаться. Лодок здесь оказалось достаточно, но почти все население маленького улуса шишковало в тайге, и плыть с нами никого не нашлось, пользоваться лодкой без хозяев не принято.

Уплыли только наши шорцы-призывники; в лодочнике они не нуждались, а кебе доверила им старая

женщина, оказавшаяся родственницей одному из призывников.

Петро и Михайла занялись ремонтом рассохшегося за лето карбуза, и работы этой, судя по всему, им хватит дня на три.

Ничего не оставалось, как ждать этого карбуза или — на наше счастье — возвращения из тайги кого-либо из ташелгинских лодочников.

Мы с Аркашей попытались навести справки о Смолине. Удалось узнать, что здесь несколько дней назад появлялись геологи, но снова ушли в тайгу. Был ли среди них Смолин, этого мы не узнали.

Деятельный Мозгунов раздобыл удочки и пригласил нас на рыбалку. Аркаша, видно, чувствовал себя неважно и остался в избушке, где мы устроились на ночлег. Мы со следователем накопали червей и отправились на Мрасс. Мозгунов выбрал относительно спокойную заводь и там уселся с двумя удочками. А я по камням добрался до небольшого переката, зная, что хариуса всегда ловят на быстрине. Длинную лесу с тяжелым грузом сразу подхватывало стремительной водой и несло по течению. И лишь только леса удалялась от камня, на котором я стоял, как тотчас на наживку накидывались ельцы и окунишки. Я начал их успешно таскать. Но, глянув вниз, в прозрачную воду около моих ног, я решил, что не стоит ради ельцов и окунишек отпускать лесу далеко от себя — рыбья мелкота суетилась возле самого камня. Присев на камень, я возле него опускал метр лесы, и тотчас на крючок попадался окунишка или елец, на одного червяка я вытаскивал их по нескольку штук, так что мне это быстро надоело, да и на уху набралось уже достаточно.

А следователь вытащил двухфунтового налима, о чем и оповестил меня своим басом, перекрывшим гул реки. Я решил еще раз попытать счастья на хариуса и, перебравшись на берег, закинул удочку с отвесного камня, около которого бурлил омуток. Лесу заносило за угол камня, и она натягивалась до звона. И вот я почувствовал по удилищу, как она задрожала, послышались два-три властных рывка, — явно брался за на-

живку кто-то солидный. А следующий рывок был такой, что я чуть не выпустил удилища из рук, не удержал и подал его в ту сторону, где находилась леса. Леса так натянулась, что мне пришлось кинуться по берегу, чтоб ослабить натяжение. Я попробовал мягко потянуть на себя, но леса напружинилась еще сильней и нисколько не подалась кверху. Вдруг она, взрезая воду, описала дугу и пошла против течения. И тут я разглядел в зеленоватой воде, затененной каменным берегом, темную большеголовую рыбину — оказался это не хариус, а таймень чуть не аршинной длины. Я побежал по ходу моего неожиданного пленника. Вытащить его на берег обычным рывком удочки нечего было и думать, а подвести к берегу — нечем его подсачить. Оставалось следовать за его ходом, пока не вздумает таймень рвануться куда-нибудь в сторону или в глубину, — тогда он просто порвет мою лесу, и все кончится. Таймень продолжал ходить вдоль камня, а я покорно подавал за ним удочку, боясь сильным натяжением лесы его обеспокоить. Мозгунов, заметив мои страдания и угадав, что попалась крупная добыча, вытащил свои удочки и поспешил ко мне.

— Поймал язя, которого и вытащить нельзя? — крикнул он мне на ухо. Вглядевшись в воду и заметив темную тень, ходившую вдоль камня, он ахнул и сделал страшное лицо: — Б-батюшки-и!

Стоя позади меня, он даже ухватился за удилище, и так, в обнимку, мы прошлись с ним по берегу взад и вперед за нашей страшной добычей.

— Побегу в деревню за сачком. А ты его пока води, води легонечко... выматывай... но легонько, легонько, не серди, — умоляюще шипел мне в ухо следователь.

Наконец он оторвался от меня и убежал.

Таймень останавливался, сильно работал плавниками против течения, потом резко поворачивался. И сердце у меня падало: сейчас рванет... Я до отказа отпускал лесу, он уходил в глубину и делал там круг, подходил к самому берегу. У меня от настороженного напряжения уже ныли руки, вспотела спина, но если б рыба вздумала кинуться на середину реки, я, наверное, последовал бы за ней.

Таймень, уйдя на глубину, ненадолго успокоился. Я осторожно потянул на себя, он как будто даже подался. Я еще потянул; он, очевидно, почувствовал боль и опять беспокойно заходил в глубине вдоль берега...

И это продолжалось долго, очень долго, так что не вернись через несколько минут Мозгунов, я бы не выдержал и пошел на решительную схватку. Но следователь уже шумно дышал мне в затылок и шептал:

— Давай сменю, давай. А ты сачок бери.

Я передал ему удилище и передохнул. Мозгунов притащил большую накидку, укрепленную на длинной жерди.

Он еще долго водил тайменя, и по его лицу я мог судить о силе переживаний, какие одолевали меня минуту назад, — с багрового лица Мозгунова струился крупный пот.

Я поднял накидку и стал осторожно, чтоб тенью своей не вспугнуть тайменя, спускаться поближе к воде. Все-таки мы, наверное, умотали сильную рыбу. Мозгунов, чуть натягивая лесу, стал подводить рыбину к тому месту, куда я опустил накидку.

Но, наверное, еще минут пятнадцать продолжалась эта безмолвная и дьявольски изматывающая и жертву, и добытчиков борьба. У бедняги Мозгунова уже заметно тряслись руки и ноги. Наконец ему удалось подвести тайменя близко к берегу, а я в это время с великим напряжением и осторожностью, погрузив глубоко в воду накидку, подводил ее к месту, где стоял таймень. И добыли мы таки этого красавца, черт возьми!

Когда я выбросил накидку с тяжело бьющейся рыбиной на берег, следователь, бросив удилище, навалился всей тушей на тайменя, будто боясь, что тот еще может вернуться в воду. Он поднялся, тяжело дыша, держа обеими руками рыбину под жабры. Таймень хлестал его тяжелым своим хвостом по коленям.

— Шалишь, теперь от Мозгунова не уйдешь! — торжествующе рокотал следователь. Таймень весил, наверное, килограмма четыре. Диковинно, как этакий крупный хищник позарился на червячка.

Мозгунов так и в улус вошел, держа в вытянутых руках все еще бьющуюся рыбину, и вид у него был победный. А я за ним тащил всю снасть и его двух налимов, нанизанных на таловый прут.

Конечно, мы тотчас затеяли приготовление из этой роскошной добычи всяческих яств — ухи, жаркого, шашлыков, для чего на дворе с Аркашей и подошедшим Михайлой развели под таганом жаркий огонь и мобилизовали всю наличную посуду. А Мозгунов с Петром разделывали добычу. Директор, понаблюдав некоторое время наше ликование, взял удочку и отправился на реку...

Уже вечерело, когда мы тут же на дворе, у костерка, уселись всей компанией вокруг ведра с ухой и выложенных на капустные листья ломтей тайменины.

И наслаждались же мы этим нежданным пиршеством, разговоры и обед растянулись часа на два. Мозгунов успел уже в нескольких вариантах и все с новыми подробностями рассказывать историю поимки съеденного тайменя.

Тут и подошел к нашему пиршеству Смолин.

Выглядел он утомленным, наверное много прошел за этот день.

— Вижу, компания у огня сидит. Дай, думаю, посмотрю, что за люди, — сказал он устало. — Да еще сказали мне, что кто-то тут геологов спрашивал.

Мы стали его приглашать к остаткам ухи и тайменины. Он отхлебнул несколько ложек, съел кусочек рыбы, но без охоты, и закурил. Почти не слушал он и рассказа Мозгунова, обрадовавшегося новому слушателю. На усталом бородатом лице геолога лежало какое-то раздумье. Он и на наши с Аркашей вопросы отвечал нехотя и мозгуновское повествование о нашем кораблекрушении на порогах и о добыче тайменя почти не слушал. Что-то, видно, произошло с ним.

Геолог сказал мне, что сюда, на Ташелгу, пришел, чтобы обследовать магнитные аномалии, засеченные недавно с самолета. По распоряжению из Сталинска его спешно направили сюда, как хорошо знающего эти места. Пока он ничего определенного не выяснил и

завтра уйдет в тайгу на несколько дней для дальнейших поисков.

Смолин поднялся, я пошел с ним — в надежде все-таки выяснить, чем он так озабочен или расстроен. Я осторожно спросил у него об этом.

— Сегодня я узнал кое-что такое... Для меня, геолога, это настолько важно... Один мой товарищ сказал мне о догадке, а может быть, уже и открытии, значение которого... Что ж, если хотите, зайдем, поговорим, — сказал Смолин, когда мы подошли к избушке, в которой он, очевидно, квартировал.

Хозяйка-старуха зажгла коптилку, поставила на стол крынку молока и нарезала хлеба, но Смолин отказался от ужина. Мы присели к столу. Геолог молча, задумчиво смотрел на мигающий огонек лампешки.

— Недавно я прочел книгу воспоминаний академика Ферсмана, — заговорил он тихо, как бы продолжая думать про себя. — И как прав, как прав старик, когда он говорит, что работа геолога всегда сопряжена с борьбой. Борьбой со своим и чужим незнанием, с косностью сложившихся представлений, наконец с косностью самой науки... Сейчас я, пожалуй, это по-настоящему понял и как-то лично на себе ощутил... Встретился мне сегодня Константин Владимирович Радугин, наш геолог. И рассказал о своей догадке, об открытии, которое должно потрясти каждого геолога, если он любит свое дело, науку... Потрясти потому, что ведь к этой догадке мог прийти и я, и другой, дойти до того, чего достиг Радугин... Нет, не думайте, что это зависть, что тут говорит уязвленное успехом другого самолюбие. Дело совсем в другом. Я разделяю всей душой радость этого открытия. Потому что разгадана — и чрезвычайно просто разгадана — геологическая задача, на которую нам всем, геологам, пришлось бы, и, может, безуспешно, потратить еще много сил и времени. Эта находка товарища сразу несказанно обогатила всех нас, потому что она открывает путь для всей науки. Как этому не радоваться, черт возьми!.. Но как не досадовать, не негодовать на собственную косность, недальновидность, на леность собственного ума! Ведь вот однажды сам столкнулся с фактом, ко-

торый должен был приковать внимание. А я прошел мимо; косность мешает видеть вещи, которые не укладываются в обычные представления, раз усвоенные и кажущиеся незыблемыми...

Смолин вынул из кармана и высыпал на стол горсть речной гальки — серых с черными пятнышками и прожилками, хорошо окатанных водой голышей.

— Ничего особенного, правда? — спросил он. — Галька, обычная галька. Мы называем и до сих пор считали это известняком и кремнистым сланцем. Такой галькой усеяны русла и берега горных рек. Внимание геологов она привлекла лишь потому, что на ней иногда встречается черный налет окисла одного очень нужного нам ископаемого, поисками месторождений которого мы занимаемся попутно с разведками железа. В отдельных камешках этого галечника интересующий нас минерал встречается — вот посмотрите — в виде темных прожилок или тонкого налета на поверхности камешка. — Смолин протягивал мне один камешек за другим; на некоторых камешках темнели тончайшие прожилки, другие покрыты корочкой инородного общей массе гальки минерала. — Видите, содержание минерала в галечнике столь незначительно, — продолжал Смолин, — что, конечно, о добыче его из этой гальки смешно и думать. Присутствие таких жилок и корочек ничего не могло нам сказать и о том, где искать месторождения этого минерала. Мы объясняли налет на гальке как результат отложения местных почвенных вод и поэтому не связывали происхождение корочек и прожилок интересующего нас минерала с той породой, на которой их находили. Мы искали месторождение обычного вида. Я сам не раз бывал на той речке, где сейчас работает Радугин, много раз держал в руках камешки с налетами на них этого минерала. И десятки других разведчиков побывали там, но месторождений никто и нигде не обнаружил, даже обычных признаков месторождения найти никому не удавалось. Посмотришь, посмотришь на этот невзрачный серый камешек, да и бросишь со вздохом. Так бывало и со мной и с десятками моих коллег... А Радугин глубоко задумался над этим явлением. Он пере-

брал десятки тысяч голышей. И установил, что налет, корочка или прожилки окисленного минерала имеют определенную структуру на гальке этого района. Он находил образцы, на которых минерал располагался на поверхности, обволакивая гальку коркой, постепенно переходящей в породу. И это было только именно вот на таких полосчатых камешках. Значит, есть какая-то, пока совсем неясная, закономерность в этом неразрывном соседстве, если даже не родстве известняка и минерала, который мы искали. Глубокое сомнение охватило изыскателя — да уж не известняк ли или кремнистый сланец эти странные камешки? Он вдумывался в геологическую родословную, в насчитывающую миллионы лет биографию этого серого тонкослойного камешка.

Он знал, что несколько сотен миллионов лет назад здесь была островная вулканическая страна, с вулканизмом которой связано образование интересующего геолога минерала в древнейших толщах. За длительную геологическую историю эти толщи много раз перемалывались морскими волнами и разрушались. У Радугина возникла мысль: не могло ли появиться месторождение искомого минерала при образовании осадочных толщ? И когда он еще раз посмотрел на корочки, покрывающие известняк и имеющие как бы постепенные переходы от минерала к породе, когда он прикинул на руке вес этого «известняка», он окончательно уверился в том, что перед ним не простой известняк, что этот серый невзрачный камешек и есть сама руда искомого минерала. Химический анализ подтвердил предположение Радугина.

Вы понимаете, что раскрыла перед нами эта речная серая галечка? Не только очень нужные нам ископаемые богатства, но и новый вид месторождения, новые пути, новый метод раскрытия, разведки, определения рудных ископаемых, необычного характера и строения. Это научный подвиг человека, преодолевшего и общее и свое незнание, преодолевшего косность установившихся, обычных, как будто и строго научных, но догматических представлений... Это же такой

урок нам, геологам!.. Да вот, вероятно, и вас заставит как следует задуматься эта галечка!..

Смолин взволнованно пересыпал гальки с ладони на ладонь, взял одну из них, поглядел на нее, подставил к огоньку коптилки и протянул мне:

— Нате вам одну, на память еще об одном открытии Страны Темира. Пишите о ней поэму, роман, она, честное слово, достойна того, чтоб ее воспеть...

Взволнованный рассказом геолога, я долго не мог уснуть в эту ночь, думал не только о великом открытии Радугина, но и о том, что и слово надо искать вот так же, как геолог ищет тайну руды. Найти бы вот и для себя такую галечку, да нет, не только найти, а научиться видеть и в обыкновенной серой гальке великое и необыкновенное.

А галечку, подаренную мне геологом, я держал в крепко сжатой ладони и решил, что всегда буду носить при себе, чтоб она постоянно напоминала о том, что надо всегда искать и искать...

НЫБАКЧИ МОРОШКА

Из Ташелги путешествие пришлось продолжать на кебе. Мы плыли в лодке четверо: я, Аркаша, Мозгунов и шорец — хозяин кебе.

Купанье для Аркаши не прошло даром: у него с вечера поднялась температура, ранка на плече воспалилась. Он зябко кутался в свой дождевичок. Мозгунов развлекал его шутками.

Я уговорил Аркашу сделать со мною остановку в Устюнгуале и немного отдохнуть.

Со знаменитым ныбакчи Морошкой встретились мы раньше, чем предполагали.

В полдень, когда мы плыли уже далеко от Ташелги, на берегу впереди показался дым. Около маленького шалаша из пихтовых веток горел костер, синий дымок тянулся к ветвям могучих пихт и терялся в них.

— Вот он, Морошка-то, рыбалит, — сказал наш лодочник, указывая на шалаш.

У шалаша возле растянутой сети сидел маленький

старичок в яркой фланелевой рубахе. Склонив большую седую голову, старичок что-то монотонно пел, а руки его, как у ткача, быстро продергивали нить. Он напоминал лесного маленького гнома. Старичок услышал плеск весел, поднялся, из-под ладошки посмотрел на нас и, сильно прихрамывая, подошел к самой воде. Мы причалили.

— Эзенок, Морошка! — сказал с большим уважением наш лодочник и первый протянул старику руку.

— Эзенок, эзенок, человек! — раскланялся Морошка, и все его лицо в мелких морщинах с реденькой бородкой осветилось хорошей стариковской улыбкой, из морщинок поблескивали мудрые глаза. Он всем нам пожал руки своей маленькой, цепкой рукой.

Узнав, что мы с Аркашей решили здесь остановиться, он обрадовался:

— Эдак, эдак, мне, старику, будет весело с молодыми, — говорил он, похлопывая каждого из нас по плечу.

Мы распрощались с Мозгуновым, лодка отчалила, следователь дал прощальный «гудок», и мы в последний раз услышали раскаты его баса.

Морошка раздул пожарче костер и повесил над ним котелок с водой. Затем он сходил к реке, из садка вынул большую серебристую рыбу, хлеставшую хвостом по его рукам.

— Будем тайменя варить, гостей угощать надо, — сказал Морошка.

Через час мы ели вкусную тайменью уху. На бересте лежали перед нами большие жирные ломти тайменины, вареной и жареной на угольках. Морошка старательно угощал. Заметив, что Аркаша морщится, поднимая правую руку, старик участливо спросил:

— Пертик ба? (Поранился маленько?)

Аркаша утвердительно кивнул. Морошка заполз в свой шалашик и вытащил оттуда кожаную сумку.

— Лекарство есть, давай маленько лечить будем. А?

Аркаше пришлось расстегнуть рубашку и обнажить плечо. Морошка из маленького кожаного ме-

шочка насыпал на ладонь какой-то смеси серого мелкого порошка и перетертых листьев.

— Не бойся, — приговаривал он, — лекарство чахши. Мозг азыга и трава... Кроб остановит, жар снимет.

Морошка присыпал ранку на плече Аркаши порошком, затем ушел ненадолго в лес и вернулся с несколькими пожелтелыми, но еще свежими прозрачными листиками, одним он прикрыл ранку, а другой, липкий, наложил как пластырь.

Аркаша скептически смотрел на старания старика.

По Мрассу вниз часто проплывали лодки и плоты. Люди спешили воспользоваться хорошей погодой. С низовьев шли карбузы, их тянули лошади на бечеве, тяжело нагруженные кебе скользили вверх по течению. В тайгу везли товары — запасы для охотников, золотоискателей и рудокопов на долгую горную зиму. Каждый из плывших мимо нас здоровался с Морошкой и спрашивал, как его здоровье, хорош ли улов. Старика любили и знали, по-видимому, всюду. Всем он отвечал прибаутками и пословицами, и часто над рекой в ответ на слова Морошки раскатывался хохот или доносилось восхищенное пощелкивание языком.

Под вечер Морошка позвал нас поехать с ним осматривать снасти. На первом перемете оказалось три крупных налима. Сняв рыбу с крючка, Морошка ловким ударом деревянной колотушки глушил ее и бросал на дно лодки. С другого перемета мы сняли несколько красавцев хариусов. А у третьего побывал какой-то крупный водяной хищник — он сорвал почти всех живцов, некоторых с крючками. Осталось несколько метров перемета, и вдруг шнур туго натянулся и распорол воду. Лодка покачнулась. Морошка щелкнул языком и покачал головой.

— Хо, капчигай! — И стал медленно подтягивать шнур, рассекавший воду в разных направлениях. Он сунул мне в руку колотушку.

Показалась тупая голова тайменя. Резким рывком рыба кинулась в сторону, так что дернулась лодка.

— Че, че! — успокаивал Морошка рыбу и снова потянул шнур к борту лодки.

Я ударил колотушкой по темной блестящей голове рыбы, и Морошка выдернул тайменя из воды. Оглушенная, с белоснежным брюшком и ярко-красными плавниками, рыба тяжело плюхнулась в лодку.

Улов был богатым.

На берегу Морошка выбрал несколько хариусов, зачем-то прощупал брюшко каждой рыбы и неожиданно сказал:

— Домой вам надо ехать. По реке шуга пойдет скоро. Зима близко.

— Откуда ты знаешь это, акка?

— Рыба сказывает... Вот харьюз сказывает,— ответил Морошка, распарывая ножом серебристое брюшко рыбы.

Он вынул внутренности и, пропустив их сквозь пальцы, выдавил маленький камешек.

Оказывается хариус, как и другие рыбы, зимой уходит на глубокие места и держится на дне. Перед наступлением зимы он заглатывает для увеличения собственной тяжести камешки, чтоб легче держаться в глубине реки. Зиму рыба предвидит точно.

— На шестой луне снег будет падать, так харьюз говорит, — заключил свои объяснения старый рыбак.

Над тайгой взошли крупные и ясные звезды, на Мрасс пал тяжелый, густой туман.

Мы сидели у большого жаркого костра, и Морошка чистил рыбу для ухи. Меня удивило, что уху он собирался варить не в котелке, а в большом ведре и вычистил полдесятка фунтовых ускучей. Видимо, старик ждал еще кого-то...

С реки, из тумана, послышались плеск тяжелых гребей и гулкие в ночной тиши голоса людей.

— Тартар, тартар! — кричал хрипловатый властный голос, вероятно принадлежавший старику.

Ему вторили молодые и задорные голоса:

— Киба, киба!

— Салик идет сверху, — пояснил Морошка. — Сюда идет.

И в самом деле, вскоре послышался глухой

стук о берег. Сал причалил, и раздался спокойный голос:

— Готово!

Из тумана к костру пришли трое плотовщиков в мокрых от пота рубахах, с потными и усталыми лицами. Они вежливо поздоровались. Старик шорец, очевидно старший над плотовщиками, присев к огню, вытерся рукавом и, качая головой, проговорил:

— Шибко вода большая, Мрасс сердитый...

Плотовщики разулись, развесили обувь около огня и раскурили трубки.

Через некоторое время с реки послышался знакомый ритмичный, все приближающийся стук железа о каменное дно Мрасса. С низовьев шла тяжело нагруженная кебе, лодочники гнали ее на шестах, железные наконечники шестов звенели о камень речного дна...

Кебе тяжело причалила к нашему биваку. Похоже было, что наш яркий большой костер превратился в маяк для всех плывущих в этот поздний час по Мрассу.

Я не понимал, почему люди избрали местом ночлега становье Морошки. В нескольких километрах ниже находился улус, в нем лодочники и плотовщики могли найти и теплый кров, и радушный прием.

Я хотел было спросить об этом у Морошки, но в это время на реке снова послышались мужские крики: «Тартар, тартар!», «Киба, киба!» — и звонкий мальчишеский голос, и всхрапывание лошадей. Очевидно, с низу на конной бечеве шел карбуз. Он причалил к нашему берегу. Это уже становилось совсем непонятно: зачем людям было тащиться в темноте, в тумане лишних три-четыре версты против течения, когда они могли засветло остановиться в улусе?..

К костру пришли четверо карбузников в брезентовой одежде и резиновых сапогах. Один из них, русский, беловолосый и светлоглазый паренек, подойдя к костру, не здороваясь, сел к огню, стащил сапог и вылил из него воду.

— Вот черти не нашего бога, — хмуро кивнул он на товарищей. — Пришлось «натурку» устраивать. Пять верст лишку дали на сегодня. Упарились, как

в бане. Темнота кругом, туман. А Мрасс вон какой — ревет... Сейчас бы уже спали себе спокойно в Чувашке. А им вот, — он сердито кивнул на товарищей, — им одно далось: до Морошки и до Морошки, сказку охота послушать... Ох, народ, ох, народ...

Мне стало все понятно. Люди узнали, что знаменитый ныбакчи выехал на лов, и они, минуя улус, жертвуя ночлегом, сквозь туман и ночь по бешеному Мрассу стремились сюда — к костру ныбакчи, чтобы послушать ныбак. Из-за сказок Морошки стоило поработать и веслом, и шестом, и даже вести «натуркой» тяжело нагруженный карбуз лишние версты против течения.

Морошка встречал новых гостей радушно. Он сидел около костра и ожегом поправлял дрова, заботясь, чтобы тепло обдавало всех. Вокруг костра сидели усталые люди и курили трубки. Говорил больше Морошка, а гости почтительно слушали.

После ухи, которой хватило на всех, в костер положили три сухие кедровые лесины, чтобы они горели всю ночь. Люди выжидательно поглядывали на Морошку, задумчиво склонившего к огню свою большую седую голову.

— Ладно, буду маленько кайларить [1], — проговорил он и, припадая на больную ногу, ушел в свой шалаш.

Он вернулся с комысом в руках — инструментом, похожим на маленькую мандолину с удлиненным грифом.

Люди раздвинулись, давая ему лучшее место у костра: пусть ни одна случайная искра не падет на кайчи, пусть дым не коснется его глаз... Старший плотовщик подкатил для Морошки чурбачок, на который кайчи и уселся. Он стал настраивать комыс. Под его пальцами глуховато зарокотали волосяные струны.

Тяжелые веки опустились на умные, острые глаза старика. Он сидел, наклонив голову и прислушиваясь к рокоту струн.

---

[1] Кайларить — от слова кай — сказка, то есть сказывать сказку.

Как-то незаметно к гудению комыса присоединилось горловое, глуховатое гудение голоса кайчи. Голос и струны слились в одно звучание, напоминавшее песню ветра в ущелье. Зашевелились губы сказочника, и, как эхо, первые слова легенды долетели до слушателей:

— Давным-давно, когда еще здесь золотая тайга была с сорока перевалами, когда у подножия золотых гор белое море текло, стоял на шести подножиях белозолотой шатер. В золотом украшенном шатре богатырь Ай-Маныс жил с сестрою своей Кан-Пурган...

Голос ныбакчи долетал как будто издалека, из глубины времен, о которых начал он повествование.

Ярко горел, постреливая искрами, костер, искры, свиваясь в вихрь, взлетали под темный навес хвои, сквозь который виднелись звезды в необъятном синем небе. Неутомимо гудел Мрасс, мчась в каменных берегах.

Молчаливые сидели люди, забыв про свои трубки, про все в мире, зачарованные песней ныбакчи и гудением комыса. Изредка кто-нибудь из слушателей восхищенно выдыхал:

— Чахши, чахши...

— Або! Как хорошо...

— Там, где конь булано-каурый стоял, следы остались, куда ускакал — следов не видно. Летел богатырь Ай-Маныс по горам — скалы под копытами коня на осколки рассыпались; через реки переправлялся Ай-Маныс — реки, вспенившись, из берегов выходили; по тайге Ай-Маныс мчался — столетние кедры, как трава, вслед ему до земли клонились, орлы, как бабочки, вокруг головы Ай-Маныса кружились, златорогие олени, как букашки, в лес от него убегали... К золотому дворцу Кара-Салгына Ай-Маныс подъехал. Вокруг дворца народ подневольный. Как тайга, многочисленны люди, как пламя пожара, лица их полыхают, как туман, дыхание их подымается... Люди на земле не умещаются, для коней коновязей не хватает; табуны Кара-Салгына, как тени облаков, горы закрыли; стада Кара-Салгына, в долине, подобно воде, раз-

лились. Так богат и могуч был Қара-Салгын — властелин этой земли.

Навстречу Ай-Манысу старик чайзан[1] вышел, низко кланяясь, спросил: «Қозуля всегда шерсть имеет, человек всегда имя свое имеет. Қто ты, скажи? Глаза твои огня полны, в сердце твоем горячей крови больше, чем в реке быстротекущей воды. Зачем приехал, скажи?» — «Ай-Маныс, на бело-кауром коне ездящий, — имя мое. С Қара-Салгыном бороться приехал я, пусть в долину выходит. Если он богатырь — силой померяемся, если он стрелок из лука — в меткости будем соревноваться, если он мудр — слова, как мечи, скрестим».

Гром гремел, ветер черный по долине промчался, туман на землю опустился. Это Қара-Салгын из дворца вышел, грудь, подобно тайге заросшую, почесал, после сна громко крякнул.

«Қто это сон мой посмел потревожить? — громоподобно Қара-Салгын закричал. — Қто на мою землю приехать осмелился?»

Схватились богатыри. Там, где их ноги ступали, большие ямы остались; там, где они на тайгу наступали, бурелом остался. Над борющимися богатырями черный туман поднялся.

Девять лет их борьба длилась, девять лет никто из богатырей плечом земли не коснулся. Могучее старое дерево со стоном в тайге упало. Қара-Салгын на землю упал, богатырь Ай-Маныс из черного тумана вышел...

Я взглянул на Аркашу. Он лежал, подперев щеки ладонями, и его освещенное костром лицо было задумчиво и серьезно. Он не понимал слов ныбакчи, но и его, по-видимому, захватило общее настроение: затаенное волнение слушателей, их напряженное внимание.

Морошка умолкал на минуту и сидел опустив голову, видимо припоминая легенду. Тогда кто-нибудь из слушателей наклонялся к костру, разжигал свою трубку и молча подавал ее Морошке. Ныбакчи делал

---

[1] Чайзан — пастух, но также слуга.

несколько глубоких затяжек и, возвратив трубку, снова начинал петь.

Тихая таежная ночь наполнялась сказкой, преображая горы и лес.

На западе, там, где сливаются Агын-Томь и Мрасс, полыхало далекое зарево. Там лежал Сталинск, город огня и металла, и глуховато долетал до нас его отраженный горным эхом отдаленный гул. И мне казалось, что там могучий кузнец Ак-Гай разжег свой великий костер, чтобы расплавить в нем скалу и выковать из нее меч богатырю Ай-Манысу. Я слышал удары его кулака о железо и видел искры, взлетающие, как звезды, от наковальни в синее ночное небо и застывающие там холодными алмазами.

На востоке над темной грядой гор сверкали молнии, донося гул далекой грозы, тлели зарницы. А мне казалось, что это могучий Ай-Маныс сражается там с Шибеллеями, владычицами подземного царства. Подняв свой меч, он молнии высек из тучи, обрушив лезвие на врага, скалы мечом раздробил...

Предутренний ветер качнул вершины кедров и пихт над нами, и тайга загудела, заговорила. И мне казалось, что это народ, освобожденный Ай-Манысом, запел свою песню о доблести богатыря...

А Морошка уже возвращался из сказочной страны Ай-Маныса на белоснежном зайце, с большой сумой, полной золотых слов... Словно издалека доносился его глуховатый голос и гудение комыса:

Длинный путь не укорачивая,
Короткий не удлиняя,
Я к вам возвращаюсь...
Мой богатырь Ай-Маныс
На своей земле жить остался.
Счастье его я в мешок собрал,
Счастье людей я в суму собрал,
Чтоб вам его подарить...
На белом зайце верхом
В освещенную солнцем и месяцем землю
Я возвращаюсь...
Играя на комысе, из желтого кедра сделанном,
На белом зайце в землю свою вернулся...

Старый плотовщик незаметно разжег свою трубку, то же сделали другие. Кем-то брошенные в костер на

угли сухие ветки ярко вспыхнули, осветив лицо ныбакчи и его быстрые пальцы, ударявшие по струнам. Комыс загудел торжественно, радостно, и ныбакчи закончил свою песню ласковым обращением ко всем нам:

Тех, кто сидя слушал меня,
Я золотом слов одаряю.
Кто во время сказки уснул,
Пустую суму получит.

Пустую суму получили Аркаша и паренек-лодочник — они уже давно спали.

К Морошке, когда он кончил петь, протянулось сразу несколько рук с дымящимися трубками — слушатели спешили одарить кайчи за его золотые слова. Люди молчали, склонив головы: они безмолвно благодарили Морошку.

Рукавом рубахи Морошка утер усталое, вспотевшее лицо и, приняв одну из трубок, сладко затянулся и устремил усталые глаза на огонь. Он еще не расстался со своим Ай-Манысом, еще не покинул сказочно красивой страны голубых гор и серебряных рек.

Уже светало, розовела заря над тайгой, редел туман над Мрассом...

— Утром в улус будем плавиться, — сказал мне Морошка, — большой праздник будет...

ПРАЗДНИК В УСТЮНГУАЛЕ

Это был праздник даров земли и труда.

Люди Устюнгуала много поработали на полях колхоза, и в закромах колхозников засыпаны добрые запасы пшеницы, ячменя: зерна хватит и на хлебы, и на толкан, и на бражку-абыртку, которая так хорошо согревает охотника зимой в тайге на промысле. Славно потрудились и аары — пчелы, они все лето собирали нектар с цветов, наполняя прозрачные тонкие соты золотым медом. А раз мед накоплен в сотах, значит и у женщин колхоза есть чем наполнить впрок новые берестяные туеса.

Как не похвалить и могучий кедр — он не пожа-

лел своих соков, чтобы налить густым и сладким молоком шишки, отягощавшие его ветки. Шишки были в этом году так тяжелы, что при слабом ветре сами падали на землю — только подбирай да вышелушивай из них орехи.

Как не поблагодарить мать-тайгу — сколько нынче она дала Устюнгуалу черемухи, малины, рябины; немало ягоды было насушено и наварено на меду.

А сколько мешков с пшеницей, ячменем, орехом, сколько туесов с медом Устюнгуал отправил по Мрассу и Томи, на саликах и кебе в город, государству! Завтра в Сталинск снова отправится большой сал с грузом ореха и меда.

Это был праздник изобилия.

За столами перед домом правления сидел весь устюнгуальский колхоз имени Ворошилова: седые, почтенные шор-анчи в своих праздничных шабурах с нашивками, молодые бригадиры-полеводы в городских костюмах, с множеством значков на лацканах, старые женщины в цветистых платьях, доярки и телятницы, черноволосые, смуглые, с пышущим сквозь золотистую смуглоту румянцем на щеках. Шумной стаей уселась за большой отдельный стол детвора колхоза — удалые шишкари, охотники на бурундуков и колонков и самые маленькие, у которых пока лишь одна забота: каждый день ходить в детский сад.

Словом, за столы уселись и стар и мал. Осеннее солнце щедро освещало застолье.

Мы с Аркашей сидели рядом с Морошкой и его постоянным соперником — ныбакчи Акметом, который пришел со своим комысом на праздник из Сибирги, надев свой белый шабур с узорной вышивкой и расчесав длинные седеющие волосы.

Председатель колхоза, веселый широкоплечий богатырь Алексей Напазаков, поздравил застолье с новым урожаем, поблагодарил всех за хорошую работу, и пир начался.

Столы богато заставлены всякой всячиной. На первом плане, конечно, красовался хлеб нового урожая — груды ломтей свежего пышного хлеба, пироги с рыбой, ягодами, картофелем. Большие глиняные

чашки до краев наполнены медом, на тарелках лежат истекающие золотой слезой соты. Жареные и вареные рябчики, бело-розовые ломти тайменины, вареное мясо — все это разложено на больших берестяных листах. Пенится медовая брага в ведрах.

Пир не уступал тем, какие описываются в сказках. Хотя столы и не золотые, а деревянные, но на них яств наставлено столько, что и сказочные акыны — Ай-Толак и Кан-Мерген — позавидовали бы их изобилию.

Богатый это был праздник.

Аркаша куда-то исчез и спустя немного появился со своим «фотокором».

— Последняя кассета, для Томи хотел оставить,— сказал он мне и принялся выбирать точку, с которой удобнее снять все застолье.

Около дома правления росла старая, сгорбившаяся береза. Аркаша влез на березу, попрочней уселся на одном из кривых сучьев и стал наводить аппарат.

Не все жители Устюнгуала до этого видели фотоаппарат и не очень доверяли ему. Старые женщины наклонили головы к столу или закрыли лица уголками цветистых платков. Девушки наоборот, расправляли блузки на груди, передавая гребенки из рук в руки, торопливо приводили в порядок волосы. Приосанились и парни.

Аркаша долго нацеливался. Последнюю кассету надо использовать наверняка.

Устюнгуальцы остались очень довольны тем, что русский приезжий мальчик снял весь колхоз. Аркаша сразу стал заметной фигурой на празднике.

На празднике в Устюнгуале пелось столько песен, что я не успевал записывать их в свою тетрадь.

Пелись грустные старые песни о тайге, по которой бродит одинокий и бедный шор-анчи, о горах и реках, не приносивших счастья бедняку, о кукушке, которая весною тоскливо кукует в лесу, о девушке, которую любит и не может сделать своею подругой бедняк шор-анчи:

Выросший на берегу озера синий цветок —
Если бы он рос перед моим окном.

Любимая мною девица —
Если б она была небогатого отца...

Девушки и парни пели новые песни, молодые, как они сами, песни о новой тайге, о книгах, которые научились читать шор-кижи, о новой жизни, которая расцветает в горах:

В синеющей тайге
Кедры шумят,
В синих горах
Цветы голубые цветут,
В нашем колхозе
Радостная песня поется...

Морошка и Акмет еще не трогали струн своих комысов. Они изредка перебрасывались загадками, стараясь, чтобы их слышали люди вокруг.

— Слыхал, в тайге-та азыг удавился? Не скажешь ли, Морошка, ты шибко умный, что такое? — спрашивал Акмет, ладонью прикрывая смеющийся рот и лукаво оглядывая сидящих вокруг.

— Шибко ты умный стал, друг Акмет, видать, много меду съел, — отвечал Морошка и покачивал головою. — Ладно, разгадаю: пуговица на твоем шабуре. Теперь ты скажи, раз твой ум, как нож, острым стал: внутри красного сундучка сладкий хлеб — что такое?

— Э-дэ, ээ-бэ, — гудел Акмет, задумываясь.

— Видать, ум твой меду объелся, — спокойно подзадоривал Морошка. — Ладно, ладно, за Акмета сам скажу: кедровый орешек.

Стихали песни и разговоры за столами. Люди прислушивались к Морошке и Акмету. Кто лучше этих двух стариков в тайге может умное слово сказать! Языки у обоих острые, ум быстрый, как колонок... Есть что послушать...

Видя, что внимание всех привлечено к ним, старые певцы начали настраивать свои комысы. И первым запел Акмет. Он пел уже слышанную мною в Кабырзе шуточную песенку о царе, которого люди выгнали из его дворца:

Когда на коня вороного садился,
Тебе не сиделось, царь.

Эй, тананой!..
Теперь вот пешком погуляй-ка!
Ладно ли, царь, твое дело?
Эй, тананой!..

Все очень смеялись, — умел Акмет народ повеселить!..

Морошка в это время сидел, опустив свою большую седую голову и прислушиваясь к гудению голоса Акмета.

— Давай теперь твою сарыны! — обратился к нему Акмет и горделиво оглядел людей: пусть-ка Морошка с ним потягается!..

— Ладно. Ты старые песни пел — их все давно слыхали. Я буду новую песню складывать.

Морошка ударил по волосяным струнам и, наклонившись к комысу, загудел.

И верно, никто до сих пор не слышал этой песни Морошки. Может быть, она родилась в большой мудрой голове ныбакчи сейчас, может, он ее сложил, плавая в своей кебе по Мрассу или сидя ночью у своего рыбачьего шалаша. Это была новая песня. Морошка произносил несколько слов, подолгу нечленораздельно гудел низким голосом, думал, склонив голову, и снова бросал несколько протяжных слов.

Сколько лет ты шумишь, тайга,
Словно ночь, темна, глубока?..
Был затерян в тайге человек,
Одиноко он жил свой век.
И, в тайге черневой рожден,
Умирал одиноко он...
И не знали мы, люди тайги,
Сколько в мире людей других...
А советская власть пришла,
Много светлых огней зажгла,
Много троп в тайгу пролегло,
Стало в наших лесах светло...
Новой жизни хорош закон,
Всех людей людьми сделал он...

Так пел Морошка свою песню — песню новой тайги, в которой живет новой жизнью народ шор-кижи.

Она понравилась и Акмету. Но Акмет и не думал о поражении. Уже вечереет, скоро наступит ночь.

Днем кайларить нельзя, для хорошей сказки нужна ночь. Вот тогда-то кайчи Акмет и покажет свое искусство...

На празднике в Устюнгуале я несказанно разбогател. На салике, который завтра отправится в Сталинск с мешками орехов, я вывезу из Страны Темира, как говорит Морошка, большую суму золотых слов — чудесных песен и сказаний гор и тайги.

Но вместе с ними я увезу с собой из этой страны еще большие богатства — волнующую правду жизни, которую я видел сам и слышал из уст людей, строящих будущее Страны железа и песен.

Сюда вплетется и история моего спутника Аркаши, подробности которой стали мне известны только в последний день нашего пребывания в Стране Темира.

Когда мы укладывались вечером, чтоб завтра рано утром пуститься в путь, Аркаша, перекладывая в рюкзаке свои гербарии и коллекции, вынул толстую тетрадь в клеенчатой обложке, на разрисованной этикетке которой я успел прочесть надпись «Новосибирск — Арктика. Путевой журнал Аркадия Огородникова». Заметив мой заинтересованный взгляд, Аркаша смутился, хотел было спрятать тетрадь, но, подумав, протянул ее мне со словами:

— Теперь уж все равно, вам, наверное, и Всеволод Иванович рассказал, ведь папа ему писал.

Я начал читать дневник, начатый незадолго до отъезда Аркаши из дому. И тут мне раскрылась его тайна, я понял странность его поведения при нашей встрече. Аркаша охотно дополнил устным рассказом свою историю...

ИСТОРИЯ АРКАШИ ОГОРОДНИКОВА

Аркаше исполнилось четырнадцать лет, и он решил, что ему пора начинать настоящую жизнь.

Жить по-настоящему — значит быть героем в том деле, за которое ты взялся.

У Аркаши такого дела еще не было, в школе же он его найти не мог. И, все обдумав, Аркаша решил ис-

пытать свою волю и проявить свое упорство в достижении цели на какой-нибудь отдаленной зимовке в Заполярье. Пятидесятиградусные морозы, пустынные льды, озаряемые северным сиянием, жизнь в оторванном от всего мира зимовье, охота на белых медведей — эта жизнь по плечу только тем, у кого настоящие твердые нервы и сильные мускулы. И вот Аркаша с начала зимы начал тайную подготовку — копил деньги, штудировал книги по метеорологии, океанографии, в радиокружке изучил азбуку Морзе, довольно быстро передавал на ключе и принимал на слух не менее сотни знаков в минуту. Он знал, что профессии метеоролога и радиста очень ценятся там, куда он собирался отправиться.

К лету у него было уже почти все готово. Он имел двести рублей денег: жесткая экономия на завтраках, на кино и выручка от тайной продажи волшебного фонаря. Продажа эта ничуть не смущала Аркашу: волшебный фонарь уже несколько лет стоял запыленный в шкафу, и Аркаша к нему давно потерял интерес, а сестренка Зойка была еще мала, чтобы понимать что-нибудь в диапозитивах. Очень кстати оказался подаренный ему отцом клетчатый рюкзак со скрипучими ремнями. Аркаша сделал большой запас пластинок и бумаги для «фотокора». А самое главное — у Аркаши были новый зеленый дождевик и новые болотные сапоги, которые отец ему купил, собираясь брать Аркашу с собой на охоту.

Словом, Аркаша хорошо подготовился к путешествию. План его был прост. В средине лета он уедет в Красноярск. Оттуда караваны судов направляются по Енисею в Игарку. Если ему не удастся устроиться на какой-нибудь теплоход, он поступит так, как поступают все «зайцы»: тайком проберется на одну из барж во время погрузки и будет сидеть в трюме до тех пор, пока караван не уйдет подальше по Енисею. Тогда Аркаша и обнаружится. Не выбросят же его на безлюдный берег в тайге. Лишь бы добраться до Игарки, а там — путь в Заполярье, на зимовки...

Отец, когда Аркаша с зимовки даст знать о себе, в конце концов примирится с этим и даже одобрит его

поступок. Ведь сам отец пятнадцати лет бежал из дома и поступил юнгой на купеческий пароход, плавающий по Оби к становьям эвенков за пушниной. Отец всю жизнь плавал на пароходах, а сейчас, по старости лет, работал в управлении пароходства. От него Аркаша узнал о сибирских реках много такого, чего не могли рассказать ни учебник географии, ни классная «географичка». Быть может, отцовские рассказы о плаваниях его по северным рекам и натолкнули Аркашу выбрать маршрут на Арктику.

Однажды он посвятил в свои планы лучшего своего друга Володю Карбута, но тот, подумав, от участия в экспедиции наотрез отказался: он решил поступить в этом году в авиатехникум, ему надо было готовиться. Володя пробовал и Аркашу отговорить от его затеи, но это ему не удалось. Больше никого Аркаша в планы свои не посвящал. Он решил ехать один.

В июле все было готово к отъезду. Аркаша наметил день. И вдруг все перевернулось.

Отец, придя с работы, позвал Аркашу в комнату, посадил против себя. Он пытливо поглядел в глаза сына, что-то сердито буркнул и задумчиво подергал седую бородку.

— Вот что, Аркадий Николаевич, — сказал отец. — Надо мне переправить в Горную Шорию очень ценные семена одному моему хорошему знакомому. Очень хороший человек Всеволод Иванович Гайворон, агроном, ботаник и прочее. По почте посылать семена я не рискую — еще затеряются, или доставят их зимой. А семена Всеволоду Ивановичу нужны именно сейчас... Так вот, я решил послать туда тебя. Сегодня же надо выехать. Как ты относишься к этому?

Аркаша хотел было бурно протестовать, отказываться. Эти вечные хорошие знакомые отца! У него их столько, что всех их поручений отец не успевает выполнить. Но какое дело Аркаше до этого Всеволода Ивановича? У Аркаши каникулы, он отдыхает, он собирается поехать на рыбалку.

Однако он знал, что с отцом спорить бесполезно. Аркаша, не поднимая головы, смотрел на медную пу-

говицу на синем отцовском кителе, которую тот в раздумье крутил желтыми обкуренными пальцами.

— Поедешь, посмотришь там горы, тайгу, — говорил между тем отец. — Места красивейшие. А Всеволод Иванович знает тайгу как свои пять пальцев. Возьми с собой аппарат, там есть что поснимать.

Аркашу совсем не привлекали красоты природы, о которых говорил отец. Да и какие красоты природы в местах, до которых можно доехать за сутки. Аркаша достаточно хорошо знал географию. Однако отец говорил таким тоном, что отвертеться от этой поездки — Аркаша чувствовал — не удастся.

И тут ему пришло в голову, что, пожалуй, это поручение ему даже на руку. Он открыто уедет из дома, со всеми по-хорошему попрощается. А в дороге не так уж трудно пересесть на поезд, идущий в Красноярск. Пока отец будет ждать его из Шории, Аркаша успеет добраться и до Игарки.

Чтобы не показать отцу внезапной перемены в настроении, Аркаша нехотя со вздохом сказал:

— Что ж, папа... Раз тебе нужно — я поеду.

— Ну вот и хорошо. — Отец опять пытливо поглядел Аркаше в глаза. — Я знал, что ты не откажешься.

Отец поднялся, подошел к этажерке, заваленной географическими картами и чертежами, свернутыми в трубки, и, развернув одну, разложил перед Аркашей. Это была карта Горной Шории, переснятая отцовской рукой. Он очень любил карты и собирал их коллекции.

— Возможно, что тебе придется поискать Всеволода Ивановича, он ведь не сидит на месте. Карта тебе пригодится, — сказал отец.

Аркаша собирался у всех на виду. И даже у любознательной сестренки Зойки не возникло вопросов о том, почему он в рюкзак укладывает компас, справочник по метеорологии и другие вещи, которые в другое время могли вызвать подозрение.

Когда Аркаша собрался, отец с удовольствием оглядел его с головы до ног. В болотных сапогах, в клетчатой ковбойке и парусиновой шляпе, с рюкзаком

за плечами, с дождевиком, перекинутым через руку, Аркаша походил на настоящего путешественника.

Они отправились с отцом на вокзал. Отец усадил Аркашу в вагон и даже познакомил с соседями по купе, ехавшими, как выяснилось, до Сталинска. Надо полагать, что сделал это старик неспроста.

Вся подготовка Аркаши, очевидно, не была для него тайной. Письмо Гайворону содержало некоторые предупреждения.

Отец рассчитывал, что Страна Темира, лесной профессор Всеволод Иванович отвлекут Аркашу от его арктической затеи.

МЫ ИЗ СТРАНЫ ТЕМИРА

Это была наша последняя ночь в Стране Темира. Уже далеко позади и горы, и Мрасс, соединившийся с прозрачной и стремительной рекой Томью. Далеко позади остались и Кабырза и Устюнгуал.

Всю ночь мы сидели с Аркашей у костра. Очень похолодало, уснуть никак не удавалось — пришлось все время поддерживать огонь в костре.

А наши спутники, плотовщики из Устюнгуала, спокойно спали на пихтовых ветках, укрывшись своими легкими шабурами. Один из них, промочив вчера ноги, спал разутым, пламя костра согревало его ступни. Им, шор-анчи, привыкшим к ночлегам в снежных ямах во время выхода на промысел, привыкшим к студеной горной воде, нипочем осенний утренник. Иней покрыл желтую траву и гальку вокруг и даже шабуры, укрывающие их.

Глухо постукивали о берег бревна нашего салика, разговаривала темная быстрая вода, пробиваясь между бревнами, перекатывая гальку по дну реки.

Уже близилось утро.

Чистое небо чуть позеленело. Заалел над горами восток. И вдруг наступил какой-то момент, когда небо будто вздрогнуло, передернулось, как занавес, и весь мир вокруг нас притих словно в ожидании чего-то небывало великого...

Из-за темного гребня гор сверкнул, как золотой меч, и рассек бледно-зеленое небо первый солнечный луч. Вершины гор загорелись, вспыхнул огненно-розовый полог восхода, и небо заиграло всеми цветами радуги: прозрачной голубизной с оранжевыми, зелеными, алыми переливами.

И вот появился золотой край солнца, такого огромного и ослепительно яркого, что казалось — небо его не вместит целиком. Оно медленно выкатывалось из-за гор и все росло и росло.

И от этого заиграли, переливаясь, все краски земли — ярко-синие горы, темно-зеленые сочные леса, золотые каскады березняка и осинника среди пихтача и розоватая широкая Томь, по которой легла, протянувшись к горам, к восходу, сияющая дорога. Проснулись и застучали дятлы, засвистели кедровки в тайге, расправляли ветви деревья.

Никогда еще не видывал я такого зрелища.

Хотелось дышать во всю грудь, раскинуть, как крылья, руки и песней воздать хвалу солнцу, природе, жизни.

— Превосходная должность — быть на земле человеком! — невольно вырвались у меня горьковские слова...

Вскоре встали плотовщики, и сал наш отчалил от берега.

Мы с Аркашей легли на мешки с орехами, солнце ласково пригревало нас. Плот быстро вышел на середину реки, и зеленое течение Агынь-Томи плавно понесло нас вперед и вперед.

Так плыли мы весь день.

Когда стемнело, впереди, на горизонте, в глубине ночи засверкали далекие огни Сталинска. Огни, казалось, горели прямо на воде, трепеща, отражаясь золотыми дорожками в реке. Они опоясали весь горизонт впереди, и над ними переливалось, как северное сияние, желто-розовое горячее зарево. Ветерок доносил иногда отдаленный ровный гул. Далекий город казался каким-то древним сказочным замком, до которого мы никогда не доплывем.

— А впереди все-таки огни, огни... Это ведь у Короленко? — задумчиво глядя вперед, спросил Аркаша; он лежал на мешках, подперев лицо ладонями.

Полная луна, звезды, далекие огни — все это опрокинулось в безбрежно разлившуюся от осенних паводков Томь, и наш салик медленно плыл среди трепетных отблесков.

Не причаливая к берегу на ночлег, мы плыли всю ночь по зеркальной глади Томи, теперь уже не боясь ни перекатов, ни мелей. Электрическое зарево города освещало наш путь.

На середине плота, на огневище, сложенном из дерна, горел костерок, от него к серебряным бликам вокруг салика прибавлялись густые алые пятна. Плотовщики сушили около костра обувь и грелись чаем. Когда мы плыли близко около берега, слышался тихий-тихий звон оторвавшихся от забереги первых тоненьких льдинок. Ночью выпал заморозок, чувствовалось уже холодное дыхание приближающейся зимы. Наш салик, вероятно, был одним из последних судов, заканчивающих навигацию.

Впереди виднелся Сталинск. И мы с Аркашей испытывали чувства, знакомые каждому путнику, долго пробывшему в дороге, вдали от дома. Невольно сжималось и учащенно стучало сердце от радостного ожидания, казалось, что плот наш плывет бесконечно долго и что-то непредвиденное может задержать нас в пути совсем невдалеке от желанной цели. Ведь через сутки мы будем дома, в Новосибирске, среди родных, среди товарищей, с которыми мы, казалось, не виделись целую вечность, которым так много надо рассказать о виденном и пережитом. Да и сам город. Столько в нем было заманчивого для нас, таежных путников, привыкших уже спать на пахучей и теплой лесной земле, под сенью мохнатых ветвей и звездного неба, довольствоваться в пути куском засохшего в котомке хлеба или пахнувшим дымком куском мяса, кружкой студеной родниковой воды. Но как ни полюбилась нам эта жизнь в тайге, все-таки каким желанным после долгого пути стал для нас город! Как-то сами собой складывались стихи о вчерашнем последнем ночлеге

в тайге, о ночном звездном небе и быстрой реке, и сверкающих вдали огнях.

— А знаете что, — сказал Аркаша, очевидно думавший о том же, что и я, — дома, наверное, даже заскучаешь о Стране Темира, очень уж много тут интересного, а ведь я и видел-то не так много. Буду, наверное, ждать следующего лета, чтоб опять приехать сюда, к Смолину, к Капчигаю. А может, после школы и насовсем туда, а? Давайте будущим летом встретимся в Стране Темира, ведь вы тоже сюда приедете, а может, и вместе поедем...

Мы закрепили договор молчаливым, торжественным рукопожатием.

К городу приплыли только на рассвете. Плот причалил к берегу в Старо-Кузнецке, у горы, на вершине которой белели развалины старой крепости. А на другом берегу высился Сталинск.

Распростившись с плотовщиками и еще раз передав наши прощальные приветы Морошке, Всеволоду Ивановичу, Смолину, Капчигаю, всем нашим друзьям и знакомым в Стране Темира, мы с Аркашей взвалили на плечи тяжелые рюкзаки и свертки и отправились в город.

У конечной остановки мы долго дожидались первого трамвая. И каким удивительным нам показался вагон, будто мы в нем ехали впервые. Трамвай мчался среди опавших деревьев Топольников, через мост, выгнувшийся над Томью, среди молочно-белых круглых фонарей шоссе.

— Мы из Страны Темира, — лукаво объяснил горделивым баском Аркаша, когда девушка-кондуктор предложила нам взять билеты и Аркаша не знал, сколько надо за них платить.

Девушка удивленно вскинула глаза на Аркашу:

— Это где же такая страна находится?

Аркаша с удовольствием ответил. Соседи-пассажиры с любопытством оглядывали нас. Вид у нас в самом деле был, вероятно, диковинный: пахнущая дымом, во многих местах прожженная одежда, истрепанная донельзя обувь, выдубленные ветром и солнцем лица. Все это здесь, в городе, стало очень заметным.

Раньше я предполагал на обратном пути из Горной Шории на несколько дней задержаться в Сталинске, чтоб побывать еще на заводе, в мартеновском цехе, встретиться там со своими знакомыми — сталеварами Антоном Дементьевичем и Сашей Поярковым. Да было бы хорошо показать город, завод и Аркаше.

Но появляться на улицах и расхаживать по городу в том виде, в каком мы с Аркашей прибыли из своего путешествия, было просто нельзя: вид наш, вероятно, вызывал бы не только любопытство, но, пожалуй, и подозрение. Запасной же одежды у нас, как у начинающих и неосмотрительных путешественников, конечно, с собою не оказалось. Надо было побыстрее возвращаться домой, а Аркаша к тому же и так уже опаздывал в школу и очень спешил в Новосибирск. Еще плывя на салике по Томи, мы решили с первым же поездом выехать домой...

Трамвай вошел в соцгород и помчался по проспекту имени Молотова, мимо зеленевших пихтами скверов. По панели уже шли толпами рабочие — утренняя смена, сновали автомобили. Главный заводской гудок могучим басом заполнил город. Ему вторили несколько других молодыми утренними голосами. Перекликались между собой паровозы, гремело железо на заводе. Как оглушил нас город-завод после тишины гор и тайги!

Мы проехали прямо на вокзал, где с удовольствием освободились от своего тяжелого багажа, сдав рюкзаки в камеру хранения. До поезда, идущего в Новосибирск, у нас оставалось несколько часов.

Как ни смущал меня мой вид, я решил все-таки побывать в городе — выполнить поручение старого Карола: отыскать сына его и передать посылку. Мы с Аркашей отправились в город. Сын Карола жил на проспекте Энтузиастов, на четвертом этаже многоквартирного нового дома. Сверкали медными перилами лестницы, в высокие прорези лестничных амбразур лились лучи солнца, и в них плясали, толклись золотые пылинки.

Как же я удивился, когда двери нам открыл тот самый шлаковщик Михаил Пыжлаков, с которым я

виделся и разговаривал в доменном цехе завода перед отъездом в горы. Михаил очень походил на отца — такой же низкорослый, коренастый, с черными веселыми глазами на широком чисто выбритом коричневом лице, припеченном доменным жаром. Одетый в синюю рубашку с галстуком, в серые летние брюки и желтые ботинки, он выглядел типичным горожанином. Как же это мы с Каролом не установили, что я уже знаком с его сыном?..

Михаил собирался вести трехлетнюю дочку в детсад; жена еще не пришла с ночной смены, а он сегодня отдыхает. Посылку Карола он принял с веселым смехом.

— Вот какой мой старик, с каждым попутчиком гостинцы Наталье посылает. Сам недавно здесь гостил. Из тайги уходить не хочет — старый человек. А разве здесь ему жить было бы хуже? — Михаил обвел рукой комнату, махнул рукой на окно, из которого виднелись и завод, и город, и Томь, и голубеющие вдали горы, за которыми жил его отец. — Шибко старый человек мой отец; говорит, что здесь ему места мало, а шуму много, по улицам ходить нельзя — дорогу потеряешь...

Маленькая, беленькая, должно быть в мать, Наталья держала в пальчиках кедровую шишку, присланную дедом, и, видно, не знала, что с нею делать, — девочка родилась в городе. А Михаил весело рассказывал нам, как Карол, знавший каждую тропинку, каждый след в тайге, в горах, здесь, в городе, отправившись в лавку за табаком, тотчас сбился с пути и потом долго ходил в поисках дома, в котором живет сын.

Михаил свел Наталью в детсад и, быстро вернувшись, уговорил нас напиться с ним чаю, а потом вызвался побродить с нами по городу и проводить на поезд. Недавний житель тайги, он чувствовал себя теперь исконным жителем города и с хозяйской гордостью вел нас по улицам, подробно рассказывая обо всем, что встречалось на пути...

И вот мы снова на Площади Побед, перед заводом, возвыщающимся громадами домен, кауперов и

мартеновских труб. После пребывания в тайге и горах, среди нетронутой, дикой шорской природы, завод сейчас казался еще величественней. Могучий его гул, облака пара и дыма над цехами, непрестанное и стремительное движение поездов, кранов, механизмов, хорошо видное с площади,— все это сейчас поражало и захватывало еще сильней, чем в первый раз... Широко открытыми глазами, удивленный и восхищенный, смотрел на завод Аркаша.

— Вон там, на первой домне, я работаю, — кричал на ухо Аркаше Михаил, указывая рукой на доменные печи. — Эх, жалко, ты у нас не был, парень. Шибко интересно. Я шлаковщиком работаю, а скоро помощником горнового буду, так мастер Василь Кононович говорит... И Павел Ефимыч, старший горновой, меня учит...

Мы направились к заводской Доске почета, чтоб показать Аркаше знатных металлургов.

На доске месячных показателей работы цехов первое место занимали домна № 1 и первый мартеновский цех.

— Наша печь почти год знамя держит, — с гордостью, торжественно сказал Михаил. — Видишь, и бригада наша здесь написана, и вот портреты. И я скоро буду тут, — сказал Михаил просто и убежденно, и лицо его при этом сияло открыто и радостно, как у ребенка.

В списке передовых сталеваров я увидел и фамилию Александра Пояркова. Видно, молодой ученик Антона Дементьевича упорно приближался к исполнению своей мечты — варить сталь быстрее других, вести плавку на высшем накале.

— Как же не знать Александра, — ответил на мой вопрос Михаил, — хороший знакомый мой, хороший сталевар, рекорды дает. А сейчас его нет, на курорт, на Черное море, отдыхать поехал... И Антон Дементьевич, наверно, отдыхает, а может, совсем на пенсию пошел — старый стал, хворает часто.

Мне очень хотелось повидаться с Антоном Дементьевичем, поговорить с ним, но сейчас это было невозможно: если он в цехе, то мне не успеть сегодня же

оформить пропуск на завод, домой же к обер-мастеру являться я постеснялся.

Мы прошли в сквер, что разбит в центре Площади Побед, и сели там на скамью.

Михаил снова принялся рассказывать нам о своей домне.

По бетонной эстакаде от доменного цеха к мартеновскому промчался маленький звонкоголосый паровоз с прицепленными к нему тремя огромными чугунными чашами, над которыми полыхал видимый и отсюда розовый зной расплавленного металла.

— Чугун в миксер и на разливную машину пошел, — пояснил Михаил. — Вчера в шихту таштагольскую руду для пробы давали, хороший чугун получается... Теперь надо добычу руды налаживать, рудник на Таштаголе строить... Может, скоро совсем на свою руду перейдем, на нашу шорскую руду... Большое дело будет. Богатая наша земля!

И мы все трое невольно подняли глаза на голубеющие вдалеке над Томью горы, на темную кайму тайги по горизонту.

Там лежала Страна Темира, страна большого будущего, воротами в которое стал гигант-завод, молодой и светлый, несказанно быстро растущий город металлургов.

ИСПЫТАНИЕ КУЗНЕЦКОЙ ЗАКАЛКИ



МОИ ЗЕМЛЯКИ



Не довелось нам с Аркашей побывать следующим летом в нашем обетованном краю — в Стране Темира. Да мало ли у всех нас осталось в том грозовом сорок первом году незавершенных мирных дел и замыслов, неисполненных желаний, внезапно прерванных путешествий и других радостей жизни. Круто переломилась сама судьба многих и многих молодых и старых людей — началась великая война.

Пришлось и мне заменить приготовленный для поездки в Страну Темира вместительный рюкзак солдатским вещевым мешком, а плащ и широкополую шляпу путешественника — новенькой серой шинелью и зеленой пилоткой с жестяной звездочкой. Я получил назначение в редакцию красноармейской газеты, стал военным газетчиком.

Наполовину написанную повесть о Стране Темира, тетради с путевыми заметками и записями шорских ныбак и сарыны, крепко перевязав бечевкой, я запрятал поглубже в книжном шкафу.

В тревоге и заботах первых военных дней не успел я повидаться и с Аркашей и потерял его надолго из виду.

Все это как-то сразу стало прошлым, которое светло и взволнованно вспоминалось уже после и вдалеке,

в самые трудные и стремительные дни военной страды.

А вот дерматиновая полевая сумка с наплечным ремешком, бывалая и выносливая моя спутница в тайге и на горных перевалах, она мне пригодилась — в ней уместились две-три любимые книжки да не исписанный еще блокнот военного корреспондента. И не знаю уж почему, сунул туда же я и серую простую галечку, подаренную мне геологом Смолиным в Ташелге...

На фронт, в действующую армию попал я на исходе второго года войны. Вот тогда-то, как ни далеко от родного края увела нас война, как она ни переполнила душу и все помыслы солдата боевыми испытаниями и переживаниями, необыкновенно горячо и глубоко почувствовалось, какими живыми, неразрывными нитями привязаны мы ко всему тому родному и заветному, что осталось дома, что лишь на фронте мы по-настоящему поняли как свое огромное счастье, за которое воюем...

Чем дальше уходили мы от родных мест на запад — по руинам, иссеченным и обожженным лесам и болотам Смоленщины, по исщербленной воронками и траншеями псковской земле, — тем ближе и милей сердцу казались сибирские снега, таежные кряжи Кузнецкого Алатау, студеные струи Мрасса и Кондомы, жаркие и гулкие, солнечноозаренные плавкой цехи Кузнецка.

А редкие письма родных и друзей из далекого сибирского тыла, газетные столбцы и радиосводки доносили на фронт все более волнующие вести из Страны Темира — о великом трудовом напряжении кузнецких доменщиков и сталеваров, шахтеров Кузбасса, изыскателей и строителей, горняков и охотников Шории... И как же радостно было фронтовику увидеть или услышать в сводках или указах знакомые имена земляков! А ведь среди них и у меня осталось немало хороших друзей, спутников и героев моих еще не написанных книг...

Фронтовая жизнь, горячая, очень подвижная работа в маленькой военной газете и постоянное общение с тружениками войны раскрыли новые, прямо-

таки чудесные черты и глубины души моего земляка-солдата — сурового и доброго, немногоречивого и находчивого в бою, отважного и стойкого в любом испытании сына земли сибирской.

С одними из них мне довелось бок о бок немало прошагать по военным дорогам, по-братски деля походный паек, горесть боевых утрат и сокровенное тепло солдатской дружбы. С другими нечаянно и ненадолго сводила, а затем разлучала, иногда навсегда, переменчивая солдатская судьба.

...В сорок третьем году наша гвардейская дивизия дралась с врагом на небывало тяжелых рубежах Калининского фронта, в смоленских болотах.

В этих боях прославился — не только в нашей части, но и по всему фронту — гвардии сержант Евдоким Чугаев, настоящий человек, сибиряк, кузнецкой закалки. Охотник, рыбак, лесоруб из Ахпуна, с Мрасса, сероглазый добродушный богатырь, на фронте он выбрал себе подходящее оружие — сорокапятимиллиметровую противотанковую пушку, а боевой его специальностью стала охота на фашистских «тигров» и «пантер». И в эту маленькую пушечку вложил Евдоким Чугаев свою суровую душу, таежный свой характер и неотразимую силу разгневанного сердца. Уже первые бои показали, что Евдоким Чугаев будто рожден истребителем танков, природный пушкарь большого таланта и тонкого боевого мастерства... Яростные снарядики его маленькой пушки дробили, рвали и жгли тяжелую немецкую броню, разносили вдребезги вражеские дзоты, с удивительной зоркостью отыскивали и гасили затаенные огневые точки врага, картечью метко дырявили черепа эсэсовских мертвоголовцев.

Маленькая подвижная пушка как бы приросла к Евдокиму Чугаеву — так он полюбил ее, так верно она ему служила. Бывало, он со своим расчетом на руках переносил ее через трясины, один, плечом своим выталкивал из ухабов, выкатывал на огневую позицию.

Он любил драться в открытом бою, атаки немецких «тигров» и «фердинандов» отбивал обычно с открытой

позиции — в упор, в лоб. Чугаев каким-то чудом, будто одетый в неуязвимую броню, оставался цел в этих яростных схватках, а пушечка его не раз бывала ранена немецкими минами, осколками. И тогда Евдоким сам отвозил ее орудийным мастерам, упрашивал при нем подлечить пушку, подремонтировать — и снова возвращался в строй.

— Не могу я, друзья-товарищи, с нею разлучаться, — говорил Евдоким Чугаев, — не могу. Это ж такая пушка!.. Хоть я того точно и не знаю, но думается мне, что она из кузнецкой стали, то есть вроде землячка моя. И главное — очень послушная, ловкая и дюже злая на фрица. Для меня в самый раз, другой не надо...

Навсегда всем нам запомнились суровые, небывало ожесточенные бои у Гнездиловских высот, на подступах к железной дороге на Смоленск. И особенно памятна высота с отметкой «233,3», за овладение которой дралась вся дивизия несколько дней.

Каждый шаг вперед, на эту высоту, опутанную непроходимыми немецкими заграждениями, опоясанную ярусами траншей, начиненную до отказа дотами, огневыми точками, был подвигом, стоил большой крови и многих жизней...

Батальон, которым командовал любимец гвардейцев кузбасский шахтер, гвардии капитан Суменов, первым пробился на подступы к высоте. Под непрерывным вражеским огнем с земли и с воздуха суменовцы готовились штурмовать неприступную высоту.

Но тут, собрав все силы, подтянув подкрепления, гитлеровцы предприняли смертельную контратаку на гвардейский батальон с трех сторон, угрожая отсечь его от остальных наших подразделений или отбросить назад.

Страшной силы шквальный вражеский огонь прижал суменовцев к земле. И вот на них с оглушительным грохотом, лязгом и ревом ринулось около десятка танков — «тигров», несколько самоходных пушек — «фердинандов» и под прикрытием их — эсэсовская пехота, неистово строчившая из автоматов... Шумом, стремительностью натиска, превосходством силы реши-

ли гитлеровцы сломить стойкость суменовцев, предотвратить штурм высоты.

В этот момент и вступил в схватку взвод противотанковых орудий, которым командовал Евдоким Чугаев, заменив вышедшего из строя командира.

Навстречу огневому валу и грозно ползущим вражеским танкам и самоходкам чугаевцы выдвинули на открытую позицию свои маленькие пушечки и ударили прямой наводкой по врагу. Евдоким Чугаев, командуя взводом, одновременно сам бил по немцам из своей пушки.

И первый «тигр» остановился и запылал от чугаевского подкалиберного снаряда, следом от снарядов других орудий загорелся еще один танк, за ним — «фердинанд», прекративший рев своей горластой пушки.

Вокруг наших пушкарей и маленьких пушек бушевала огненная пурга разрывов, визжали, фыркали осколки немецких мин, черными фонтанами взметалась земля...

Засыпанные прахом разрывов, истомленные многочасовым боем, пехотинцы-суменовцы, видя, как вражьи бронированные чудовища встают на дыбы и горят перед сокрушающей силой маленьких чугаевских пушек, как пятятся железные махины от огня чугаевской отваги, поднимались в воронках и кричали Евдокиму Чугаеву:

— Друг Чугай, давай, давай еще огоньку, жги их!

В грохоте боя он не слышал этих ободряющих радостных криков, он сам, на миг распрямляясь во весь богатырский свой рост над маленькой пушкой, кричал своим товарищам наводчикам:

— Крой их, гвардейцы, крой, насмерть! — И успевал укрыться за щитком своей пушечки от раскаленных брызг, хлеставших вокруг.

Хотя и сами чугаевцы несли урон — уже замолчали две противотанковые пушки, и пали возле них отважные их расчеты, — но продолжали чугаевские снарядики дробить, вгрызаться в немецкую броню, воспламенять вражескую сталь. Сам Евдоким Чугаев подбил еще танк и самоходку, двух «фердинандов» остановили остальные расчеты.

Дрогнули, заметались «тигры» и «фердинанды», с трусоватой неуклюжестью начали отползать в стороны от губительного чугаевского огня, тем самым обнажив следовавшую за ними эсэсовскую пехоту. Вот тут и приспела пора для суменовцев-пехотинцев. Ружейными, пулеметными залпами хлестнули гвардейцы по цепям вражьих автоматчиков, лишенных бронированного прикрытия.

И гвардии капитан Суменов, поднявшись из воронки, выдернул из-за пазухи красный платок, которым он обычно давал сигнал атаки своим пехотинцам. Гвардейцы поднялись и рванулись на высоту, к первой линии немецких траншей...

Контратака мертвоголовцев была отбита с огромными для них потерями. Остались на поле боя, у подножия высоты, четыре дымящихся недвижных «тигра» и два «фердинанда» — один с развороченным стволом орудия, другой со съехавшей на сторону башней...

В минуту затишья кинулись пехотинцы к Чугаеву, к его товарищам, обнимают, целуют отважных истребителей танков. Сам гвардии капитан Суменов, высокий, сухощавый, подошел к Чугаеву, пожал руку пушкарю, глянул на него суровыми запавшими глазами и коротко сказал:

— Выношу благодарность... Представляю к награде...

А Евдоким Чугаев, уже посмеиваясь прищуренными острыми глазами, сбив пилотку на затылок, усталый и просветленный, поглаживал ладонью горячий ствол своей пушки и говорил:

— Вот ее надо к награде представить, геройская пушчонка, ей-богу!.. Как войну кончим, я ее с собой в Сибирь увезу и в Кузнецке, на Площади Побед, поставлю как памятник, честное слово, поставлю...

Такой он был — ахпунский охотник, богатырь из Страны Темира — пушкарь Евдоким Чугаев... Не довелось ему возвратиться в родной край — в Прибалтике в одной из жестоких схваток с немецкими танками пал он от прямого попадания снаряда танкового орудия. Пушка его тоже пострадала, но пережила своего

хозяина; ее подлечили орудийные мастера, но стрелять из нее уже было нельзя, и она лишь как священная боевая реликвия сопутствовала гвардейской дивизии на многих дорогах войны...

* * *

Мы росли в краю суровом,
Где белы снега,
Сибиряк — одно лишь слово
Леденит врага...

Так пелось в одной из наших полковых походных песен, созданной самими гвардейцами.

Грозная боевая слава воинов-земляков гремела на всех фронтах всенародной войны. И память моя горячо и жадно запечатлевала прежде всего обжигающие сердце вести о боевых делах и подвигах земляков из Страны Темира, доносившиеся то с Украины, то из белорусских пущ, то из-под Ленинграда. Видно, и на фронте, в походе незримо продолжалась в душе работа над давно начатой и оставленной дома книгой о заветной моей стороне, не разлучался я с героями этой будущей книги. Так сложился рассказ о подвиге трех героев-кузнечан — Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонида Черемнова, вдохновенно воспетых поэтом Тихоновым в «Балладе о трех коммунистах»:

И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих
Три коммуниста гордых, три брата боевых...
И среди грома адского им слышен дальний зов,
То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!
И ширится с разлету и блещет, как заря.
Не три бойца у дзотов, а три богатыря...

Незадолго до войны пришли из колхоза на одну из шахт Сталинска двое молодых друзей — Александр Красилов и Леонид Черемнов, оба и родом из одного алтайского села — Старой Тарабы. Пришли они, чтоб стать шахтерами, и вскоре, переняв шахтерскую сноровку, ладно рубали уголек в забое. Украинский каменщик Иван Герасименко, отслужив свой срок в Красной Армии, приехал в Сталинск. Работы для строителя тут было вдосталь, а молодой растущий го-

род давно манил его. Иван Герасименко стал жителем города металлургов.

С Красиловым и Черемновым Герасименко встретился в день, когда отправлялось на фронт одно из первых сибирских формирований. Опытный пулеметчик, прошедший хорошую строевую школу в армии, Герасименко сразу был назначен командиром отделения, в которое попали и Красилов с Черемновым.

Солдатская дружба завязалась между ними около пулемета, владеть которым учил новобранцев Герасименко. В Красилове и Черемнове Герасименко угадал хороших пулеметчиков, настоящих сибирских метких стрелков, а два друга земляка увидели в своем командире смелого и душевного человека.

К тому времени, как сибирская часть, в которой служили кузнечане, пробиваясь на выручку осажденному Ленинграду, вышла на берега Волхова, трое друзей были уже обстрелянными солдатами, сноровистыми разведчиками и лучшими пулеметчиками во взводе младшего лейтенанта Поленского. В боях еще крепче стала их солдатская земляческая спайка.

Они и держались всегда вместе — и в бою, и в солдатском быту; жили в одной землянке, получая письма из Сталинска, из дому, от родных и друзей, обязательно читали их друг другу. Да и писали они письма домой обычно в одно время, на листках, вырванных из тетрадки командира отделения...

Молодая жена Ивана Герасименко с маленьким сынишкой осталась в Сталинске и часто писала мужу-солдату о своей жизни, о жизни города металлургов. Герасименко, не скрывая своего волнения, гордясь жинкой, читал друзьям ее письмо, в котором жена сообщала, что пошла работать на завод.

— Гляди ты, какая она у меня, сметливая да напористая, — говорил Иван Саввич, горделиво подмигивая друзьям. — Всего шесть дней работала чернорабочей, а потом встала за сложный станок — и ведь справляется!..

Он продолжал читать письмо, пока дело не доходило до тех нежных, задушевных женских обращений, которые предназначались только одному ему. Отводя

радостно блестевшие глаза в сторону, он счастливо усмехался:

— Ну, дальше, ребята, так, не важное, женские слова...

А малоречивый, спокойный Черемнов любил вслух перечитывать письма от сынишки своего Владимира.

— Ишь, каким языком, шельмец, выражается! — дивился он, держа в своих больших шахтерских руках письмо, написанное чистым ученическим почерком на тетрадочном листе. — «Папа, я учусь только на «отлично», и тебе, папа, мой приказ: будь героем и на фронте, как был на работе».

— Вот пишут, что морозы там у нас стоят сильные, так что работать на поверхности очень трудно, заносы транспорт останавливают, — говорил Красилов, читая письмо от приятеля шахтера.

И они втроем принимались писать одно общее письмо домой, своим кузнецким товарищам, заканчивая его призывом:

«Землячки, не поддавайтесь морозам! У вас там сильно холодно, а у нас здесь невозможная боевая жара — под огнем живем и воюем. Так вы давайте больше угля и стали, а мы здесь, на фронте, будем стойко защищать родину — и победа будет за нами. Давайте ее добывать общей нашей советской силой!..»

За пять дней до того боя, который обессмертил их имена, втроем они пришли в землянку партийного бюро батальона с заявлениями в руках.

«Хочу пойти на любую операцию членом партии», — писал Иван Герасименко.

«Буду с честью носить звание коммуниста, изо всех сил буду истреблять фашистов», — говорилось в заявлении Александра Красилова.

А заявление Леонида Черемнова и совсем было коротким:

«Я хочу сражаться большевиком, прошу принять меня в партию...»

Трое боевых друзей стали коммунистами.

На заснеженном берегу Волхова в морозном тумане виднелся издали древний Новгород — лишь кое-где уцелевшие купола старинных полуразрушенных церк-

вей, черные трубы печей, торчащие среди обгорелых руин.

На закате сумеречного зимнего дня группа наших командиров, выйдя по ходу сообщения на береговой вал, смотрела на скорбный разрушенный Новгород, занятый врагом. Между остатками моста через Волхов и Юрьевским монастырем, стоявшим несколько на отшибе от города, протянулась линия немецкой обороны — цепь дзотов и блиндажей с бойницами, проволочные заграждения в несколько рядов, извилистые траншеи.

— Вот в этом месте нам и надо сегодня ночью произвести разведку боем, — говорил младший лейтенант Поленский своим трем командирам отделений. — Надо выявить огневые точки немцев, их расположение и по возможности уничтожить их. Действовать начнем поближе к утру, когда бдительность у часовых противника ослабеет. Для этой операции надо подобрать во взводе самых крепких, самых отважных бойцов. Вам, Герасименко, придется идти в головном дозоре, прокладывать путь всей группе...

В полночь группа разведчиков под командой младшего лейтенанта Поленского вышла на рискованное, отважное дело.

Впереди на некотором расстоянии от группы полз, сливаясь со снегом, головной дозор — Иван Герасименко и с ним, конечно, они, его двое друзей, Красилов и Черемнов.

Так незаметно они достигли переднего края фашистской обороны, миновали проволочные заграждения и подползли к вражеским укреплениям с тыла.

Герасименко, бесшумно работая локтями в снегу, полз первым. И вот на его пути выросли две высокие, темные фигуры часовых. Безобразные их тени на снегу протянулись до самых наших разведчиков, приникших плотно к земле, слившихся своими белыми маскхалатами со снегом. Герасименко осторожно оглянулся назад. Вся группа разведчиков была уже невдалеке. Вражеские часовые шли рядом, видно боялись расходиться в стороны друг от друга.

Герасименко приподнялся и резким рывком бросил

гранату. В черном вихре взрыва взметнулись тела часовых.

Мгновенно поднялись все наши разведчики и начали забрасывать вражеские дзоты гранатами — кидали их в амбразуры и дымоходные отверстия. В то же время загрохотали и оскалились пулеметным огнем все укрепления противника.

Иван Герасименко, разгорячась, сбоку подскочил к амбразуре одного из дзотов, оттуда высунулся ствол очумело изрыгающего огонь пулемета, руками схватился за этот раскаленный ствол и свернул его в сторону. Но струя огня успела его коснуться, и он упал на снег. К нему мгновенно подскочили его друзья, санитар, они хотели было оттащить его в сторону.

— Не надо, не надо, — откликнулся Герасименко. — Пустяки, малость царапнуло.

Он приподнялся и сам метнул последнюю свою гранату в амбразуру дзота, заставив умолкнуть вражеский пулемет... Гитлеровцы, затаившиеся в других дзотах, видимо, успели вызвать на себя огонь из фланговых укреплений. На наших разведчиков обрушился шквальный пулеметный обстрел, посыпались крупные мины. Снег зашипел от пуль, вокруг взметнулись минные разрывы, завизжали, заныли осколки... Разведчики оказались в огневом мешке — не было пути ни назад, ни вперед, с фланга из амбразур дзотов хлестал пулеметный огонь.

Выход остался один — надо было заставить замолчать эти проклятые фланговые пулеметы.

Ближе всех к ним находился Иван Герасименко, а возле него Александр Красилов и Леонид Черемнов, готовые своими телами прикрыть раненого друга-командира. У них не осталось ни одной гранаты, чтоб подползти и метнуть в рыгающие огнем норы... Оставалось ждать...

Но Герасименко вдруг поднялся в полный рост и метнулся к одной из огнедышащих амбразур. И в то же мгновение вскочили его два друга. И словно какая-то незримая нить соединила их души.

И тут каким-то особым чувством они молниеносно

поняли друг друга — и одновременно сделали одно и то же: рванулись навстречу смертельным струям, хлеставшим из дзотов, и телами своими закрыли три амбразуры. В одно и то же мгновение перестали биться их сердца, насквозь прожженные огненными жалами... Но пулеметы умолкли, и это дало возможность всей группе разведчиков подняться и ринуться вновь на вражьи норы, разнося их гранатами в пух и прах. Горстка смельчаков превратилась в грозных мстителей, она в течение полутора часов держала в страхе и панике всю большую линию вражьих укреплений, истребила около шести десятков вражьих солдат, разгромила десяток фашистских дзотов...

Три друга, три павших богатыря-коммуниста лежали, своими недвижными телами плотно закрыв амбразуры трех дзотов.

Их кровью залит пенной, за дзотом дзот затих,
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их!

* * *

Зимой 1943 года наша Сибирская гвардейская дивизия, как говорилось во фронтовой сводке, взломала сильно укрепленную оборону врага в заболоченном и лесистом районе. За Великими Луками открывался широкий — и вскоре увенчавшийся великими победами — путь на Запад.

В боях этих на всю дивизию прославился взвод разведчиков-автоматчиков гвардии старшего сержанта Тарабарова. Почти каждый из тарабаровцев имел на своем счету по нескольку десятков истребленных гитлеровцев, а сам гвардии старший сержант то и дело дивил всю дивизию то необычайными по смелости и неотразимости налетами на вражеские траншеи, то беспримерными по боевой находчивости, сноровке и хитрости проделками в тылах врага... Последняя его операция, о которой шли веселые разговоры в дивизии, действительно была удивительной.

Гитлеровцы очень боялись ночных налетов сибиряков-гвардейцев, признанных мастеров ночных операций. И мы привыкли к тому, что по ночам над перед-

ним краем противника то и дело взвивались пулеметные трассы — это часовые и патрули от страха посылали во тьму бесцельные очереди, подбадривая себя и показывая сибирякам свою неусыпную настороженность.

Тарабаров, сам владевший оружием виртуозно и, как говорили, наловчившийся из автомата даже выбивать мотив «Ах вы, сени, мои сени», однажды обратил внимание на то, что по ночам вражеские часовые как-то особенно выпускают свои автоматные трассы.

Ночью, находясь на наблюдательном пункте, он видел, как среди беспорядочной пальбы трусоватых фашистских часовых на фланге нет-нет да и взметнется струя трассирующих пуль и спустя некоторое время, как бы ответно, с другого фланга вылетит другая струя. Приглядевшись к этим очередям, гвардии старший сержант опытным глазом и слухом автоматчика уловил определенную последовательность одиночных выстрелов и очередей. А через некоторое время он заметил еще несколько таких определенно упорядоченных трасс и в глубине фашистской обороны, — видно, там бродили патрули, высланные для поисков русских разведчиков, нередко под покровом ночи проникавших во вражеские тылы. Тарабаров сам не раз участвовал в таких ночных вылазках за «языками».

Еще и еще раз вглядевшись в эту автоматную сигнализацию, Тарабаров разгадал ее: гитлеровцы определенно переговаривались между собой по азбуке Морзе, пользуясь автоматными очередями.

О своей догадке старший сержант доложил командиру роты, тот — комбату, а последний, вызвав переводчика, с его помощью сумел прочесть несколько этих сигналов. Одни очереди означали «все в порядке», другие — «ахтунг, ахтунг» («внимание, внимание») а третьи — истошное визгливое «SOS» («спасайте наши души»)...

У Тарабарова между тем уже зрел в голове дерзкий план, о котором он в ту же ночь и доложил комбату с глазу на глаз. Комбат одобрил его затею. Тарабаров выбрал десяток самых надежных своих автоматчиков и ночью исчез с ними. Он подобрался

к самым вражеским укреплениям и укрылся в надежном леске, откуда хорошо обозревался передний край противника.

В полночь начались у фашистов их автоматные переговоры. Тарабаров терпеливо выждал повторения сигналов и, поймав на слух интересовавший его сигнал, поднял над головой трофейный автомат и выпустил вверх очередь светящихся пуль, точь-в-точь такую же трассу, какая минуту назад взметнулась у фашистов. И вот между Тарабаровым и вражескими патрулями завязался автоматный «разговор». Трасса за трассой взлетали в черное небо слева от леска, в котором находились готовые к встрече с врагом тарабаровцы. Тарабаров из автомата повторял свой позывной сигнал... Поисковая группа гитлеровцев явно приближалась к лесу. Вот в темноте на опушке появились черные силуэты врагов. Тарабаров для приманки дал еще короткую очередь. Гитлеровцы осторожно приблизились к самому лесу. А наши автоматчики уже ползком окружили их со всех сторон, и тихое властное «хенде хох» заставило насмерть перепуганных врагов, немедленно бросив оружие, вздернуть вверх руки. Их успели связать, заткнуть им глотки и укрыть в леске. Приближалась вторая группа, раза в два больше, чем первая. Бесшумно эту группу взять стало невозможно, да Тарабарову и некогда было с ними возиться — уже начинало светать... Когда гитлеровцы с осторожностью приблизились, из леска ударило по ним десять гвардейских автоматов — и ни один из врагов больше не поднялся с земли.

Тарабаров, прихватив с собой пленных, поспешил из леска, на который фашисты, видно заподозрив что-то неладное, устроили короткий, но яростный артналет...

Несколько ночей подряд Тарабаров устраивал в разных местах такие, как он сам говорил, «милые разговорчики», натаскал в часть изрядное число «языков», истребив не один десяток гитлеровцев. Над вражеской обороной «автоматные разговоры» внезапно прекратились и больше не повторялись, видно эту азбуку отменили.

...Я отправился в батальон, чтоб написать для нашей дивизионной газеты очерк о тарабаровцах, как уже называли все в дивизии прославленный взвод автоматчиков.

С командного пункта батальона мне указали расположение первой роты. Блиндажи были выкопаны в осиновой рощице, сильно иссеченной артиллерийским огнем. Лишь на немногих осинах сохранился мелкий, по-осеннему алый лист.

Гвардии старшего сержанта Тарабарова я нашел в блиндаже, вокруг которого солдаты наставили для маскировки молоденькие ярко-зеленые елочки. Стены и потолок довольно светлого и просторного блиндажа были обтянуты ярко размалеванными маскировочными немецкими плащ-палатками, чтоб не осыпался песок... На низеньком топчане спали двое людей. В самодельной пирамидке у входа стояли автоматы.

За столиком, на который из маленького оконца отвесно падал свет, сидел гвардии старший сержант и что-то вычерчивал цветными карандашами на листке бумаги. Сержант встал и поздоровался со мной особо щеголеватым «сержантским» жестом — на миг коснувшись правой брови пальцами правой руки. Резко опустив руку, он весело, четко представился:

— Гвардии старший сержант Тарабаров!..

Был он невысок и худощав, с тронутым оспой смуглым лицом и серыми озорноватыми глазами. На груди его красовались орден Славы и две медали «За отвагу». А из-под лихо посаженной набекрень пилотки разудало свесилась рыжеватая гроздь кудрей — противоуставная вольность, которая, по-видимому, прощалась начальством этому прославленному автоматчику... Но именно эти кудри, да щербинки на лице и озорноватые серые глаза сразу показались мне знакомыми, что-то живо напоминая.

Мы начали разговор. Оказалось, что Василий Тарабаров родом с реки Мрасса, сын таежного старожила, прискателя, и сам до ухода на фронт промышлял зверя в тайге, с артелью мыл золото на ручьях, а потом в леспромхозе валил лес и плавил плоты по Мрассу...

И тут сразу припомнилось мне плавание по Мрассу, спуск карбуза через Большой порог, Красиловское бучило. Живо представился леспромхозовский рыжекудрый заносчивый паренек, бравшийся провести наш карбуз через бешеную стремнину, — Васька Тарабаров...

Ну конечно же это был он — гвардии старший сержант Василий Тарабаров. И когда я напомнил ему о том далеком случае на Большом пороге, он, усмехнувшись сказал:

— Я ж говорил тогда, что разобьете карбуз на бучиле, так оно и вышло. А я бы в целости провел. Сколько саликов, больших сплоток да и карбузов доводилось спускать через порог.

Помолчав, он глянул на меня.

— А я тоже сразу признал вас, товарищ гвардии капитан, и Аркашку того помню, и этих Михайлу и Петра. Эх, товарищ гвардии капитан, хорошо у нас там, на Мрассе, так бы и улетел туда, честное слово! Во сне вижу часто я родные места...

Василий рассказал, что вскоре после нашей встречи на Большом пороге он ушел из леспромхоза на рудник Темир-Тау, работал там сначала бурильщиком, а потом запальщиком и успел стать на руднике знатным горняком.

И так мы хорошо разговорились с Василием о Стране Темира, что забыли даже и о войне, и о том, что находимся в блиндаже, невдалеке от переднего края. Я даже вытащил из своей полевой сумки памятную серую галечку, — ведь именно тогда, как раз перед нашим знакомством с Василием, в Ташелге дал мне ее друг геолог. Я рассказал Тарабарову о великом открытии, заключенном в этом камешке, сулящем большое будущее Стране Темира. Василий продолжительно и горячо глядел на камешек, покатывая его на раскрытой ладони.

Воспоминания о родных и таких далеких сейчас местах затронули самую глубь солдатской души, и гвардии старший сержант говорил взволнованно и проникновенно:

— Вот как войну завершим, то есть дойдем до

Берлина и Гитлера прикончим, так вернусь я на Темир, а скорей даже в Таштагол: там же — слыхали? — мировой рудник строится! Конечно, месяц-другой по тайге похожу с ружьишком, по Мрассу на салике проплыву от Кабырзы до Старо-Кузнецка, а уж потом — в забой... У меня же, товарищ гвардии капитан, во взводе еще ребята наши есть — с Кондомы, с Мрасса, из Кузнецка, — продолжал Тарабаров. — Вот сейчас я подыму красноармейца Мижакова. Добрый разведчик, лихой автоматчик. Ночью ходил в поиск, так сейчас отсыпается.

Тарабаров подошел к нарам и тронул одного из спящих за ногу, обутую в кирзовый сапог с резиновой толстой рифленой подошвой. Из-под плащ-палатки мгновенно вскочил широколицый и смуглый паренек с заплывшими от сна черными глазами.

— Уже пора, товарищ гвардии старший сержант? — торопливо спросил он, кулаком проводя по глазам. И, еще не открывая их, рывком затянул ремень, надел пилотку, поправил на груди медали.

И тут еще раз пришлось мне подивиться счастливым случайностям фронтовых встреч. Этот черноволосый гвардеец оказался тем самым шорским пареньком в красноармейской фуражке, колхозным бригадиром Алешей Мижаковым, с которым подружился я в пути по Мрассу.

Заметив меня, он тотчас вытянулся, откозырял, точь-в-точь как Тарабаров, и отрапортовал:

— Гвардии рядовой Мижаков! Товарищ гвардии капитан, разрешите обратиться к гвардии старшему сержанту?

Я протянул ему руку.

— Что ж ты, Алексей, не узнаешь старых знакомых? Или забыл, как мы с тобой плыли в карбузе по Мрассу?

— Товарищ гвардии капитан! — Широкое его лицо совсем расплылось, заспанные глаза стали узенькими щелками, из них брызнули веселые огоньки. — Э, э, помню, шибко помню...

— Как же ты, Алексей, все-таки попал в армию? — спросил я.

— Тогда в Сталинске меня не взяли,— начал рассказывать он. — Городской военком тоже сказал — семья шибко большая, надо матери помогать, в колхозе работать... Большая обида была... А когда война началась, добровольцем пошел — сразу взяли. Вот с товарищем гвардии старшим сержантом Тарабаровым Василием Ивановичем вместе в военкомат пришли. Вместе эшелоном ехали. К себе в отделение меня взял, вместе давно воюем...

Долго и взволнованно мы говорили о Стране Темира, у каждого нашлось что вспомнить и рассказать. Перебрали мы всех наших общих знакомых и друзей, всех земляков.

— Эх, Морошка-то, кайчи знаменитый наш, недавно помер, маленько похворал и помер, — рассказывал Алексей Мижаков. — И Акмет тоже помер. Ох, жалко стариков, таких кайчи, однако, в Шории больше нет, сколько сказок знали!.. А старик Карол жив, жив... Охотится в тайге, много пушнины для Красной Армии добывает. Сын-то его Михаил у нас в полку был — бронебойщик. С отцом, с Каролом, у него интересная история вышла, сам Михаил рассказывал. Он отцу в письме написал, что воюет с железными зверями, с «тиграми», которых гитлеровцы на нас выпустили. А Карол это по-своему, по-охотничьему понял. Отвечает сыну, что собирается послать ему на фронт свой кузей-мылтык... Ты видел у него это ружье? Пуд веса, на заряд надо полфунта пороху. Медведя бьет наповал, одним выстрелом... Вот Карол и решил, что против его кузей-мылтыка ни один фашистский «тигр» не устоит, и надумал его послать сыну. Такой чудной старик!.. А Михаил погиб вскоре. Большое горе у старого Карола. Мы ему письмо писали, сам командир полка подписал, и мы подписали. Старик далеко в тайгу ушел на всю зиму. А весной триста белок сдал в фонд Красной Армии, нам об этом написали из улуссовета...

Еще рассказал Алексей, что двое его младших братишек пошли учиться в ФЗО. Один — в Темир-Тау, другой — в Сталинск, на завод...

Когда мы заговорили о заводе, Василий Тарабаров

поднялся с места, взял из пирамидки один из автоматов и подал его мне:

— Вот, товарищ гвардии капитан, подарок нам с завода.

На ложе автомата была прикреплена стальная пластинка, а на ней выгравировано: «Сибиряку-гвардейцу от сталевара Пояркова».

Молодой сталевар Саша Поярков, ученик старого мастера Антона Дементьевича, мечтавший когда-то о скоростных плавках стали!.. Я знал из газет, что в сорок третьем году Александр Поярков был удостоен высоких наград за освоение скоростных плавок специальных сталей, слышал, что свою премию сталевар внес в фонд Победы.

— Специально для нашей дивизии Поярков на свои средства приобрел больше сотни таких автоматиков, — сказал Василий Тарабаров. — И, говорят, сделаны они из сибирского материала, по специальному заказу. Бьют замечательно. Почетное, именное оружие. Вручают его самым лучшим гвардейцам за отличие в бою... У меня во взводе пять таких автоматов, — с гордостью заключил гвардии старший сержант.

— Это чей автомат? — спросил я.

— А вот глядите, — сказал Тарабаров.

Я повернул автомат и на обратной стороне приклада прочел две надписи, вырезанные по дереву острым ножом: «Январь 1944 года. Гвардии красноармейцу Ивану Сухих. Июнь 1944 года. Гвардии красноармейцу Алексею Мижакову».

— Вручался вначале Ване Сухих, — пояснил Тарабаров. — Мировой был автоматчик и разведчик, сибиряк наш. В мае погиб. Комбат передал автомат Алексею.

Алексей Мижаков взял у меня из рук автомат, обтер локтем и без того блестевший ствол и унес его в пирамидку.

...Так во фронтовом блиндаже повстречались мы — трое земляков, и у всех была одна мечта: кончив победно войну, возвратиться в родной край и снова горячо приняться за прерванные мирные дела.

СНОВА НА ПЛОЩАДИ ПОБЕД

Фронт все дальше и неотвратимей продвигался на запад, наши войска готовились к завершающему победному удару по гитлеровской Германии.

Многих фронтовых друзей, земляков не досчитывали мы в своих рядах. Мне, корреспонденту солдатской газеты, приходилось по долгу службы бывать во всех подразделениях, и как больно сжималось сердце, когда я не находил в строю своих земляков, с которыми еще так недавно виделся, о славных боевых делах которых писал в своей газетке. Не стало и некоторых из самых моих близких друзей-земляков, героев моей будущей книги о Стране Темира. Смертью героя погиб веселый и удалой мрасский плотовщик, таштагольский горняк, рыжекудрый гвардейский автоматчик Василий Тарабаров...

Алексей Мижаков, плача скупыми солдатскими слезами, рассказал мне о кончине своего друга и командира, горько сетуя при этом, что не был с ним рядом в ту роковую минуту.

Вскоре после нашей встречи в блиндаже Василий отправился с группой разведчиков во вражеские тылы с рискованным боевым заданием. Из этой операции не вернулось трое наших разведчиков, в том числе гвардии старший сержант Тарабаров, как всегда первым ринувшийся в схватку с врагом. Товарищи похоронили его возле безвестной деревеньки, вдалеке от его родной Шории, куда он так мечтал вернуться после победы.

Мы с Алексеем дали друг другу крепкое солдатское слово, если кому из нас доведется вернуться в родные места, на Мрасс, на Темир-Тау, высечь на одной из скал, нависающих над рекой, имя героя.

Писать об его гибели нам было некому — не знали мы ни родных, ни близких Василия; сам он ничего о них не говорил, хотя, наверное, там, в далекой Шории, многие любили и помнили озорного смельчака Василия Тарабарова.

Далеко-далеко от Сибири находились мы тогда — в хмурой и непогожей Прибалтике, на подступах

к границам Восточной Пруссии. Но как ни далеко занесло нас от Сибири, в какие тяжелые испытания ни попадали, мы никогда не забывали о ней — суровой и такой всегда манящей и близкой, как ни на минуту не забывала и она о своих сынах-фронтовиках. Где бы мы ни были, не порывалась не только почтовая, но и живая, горячая связь между фронтом и сибирским тылом, между земляками. Даже и сюда, в Прибалтику, к нам в Сибирскую гвардейскую дивизию приезжали посланцы родной Сибири с щедрыми и трогательными подарками солдатам от родного края. Эти делегации состояли почти из одних женщин, иногда матерей, жен, сестер наших гвардейцев. Их приезд всегда был великим семейным праздником для всех солдат-земляков. Ездили ответно на побывку в Сибирь, в гости к землякам, и делегаты фронта, нашей гвардейской дивизии.

И вот совсем неожиданно такая честь и счастье выпали мне.

Наша дивизия была отведена с переднего края на короткую передышку и для подготовки к предстоящему большому наступлению в чудом уцелевший сосновый лес на берегу реки Великой, за Ново-Ржевом...

Редакция и типография нашей газеты постоянно размещались в двух автофургонах, донельзя истрепанных на фронтовых дорогах и потому следовавших при передвижениях части в самом хвосте колонн. Фургоны служили и постоянным жильем для нас — пятерых газетчиков, составлявших весь аппарат редакции. Впрочем, жил в редакции всегда кто-нибудь один из нас, готовивший к выпуску очередной номер, а остальные находились в подразделениях, собирая и, как говорят газетчики, «организуя» свежий материал для газеты. При передвижениях же части мы предпочитали нашим ненадежным и медлительным фургонам попутные «Студебеккеры» и «ЗИСы» артиллеристов или службы снабжения.

Так случилось и на этот раз. Я успел побывать уже в нескольких подразделениях, повидаться и переговорить со многими людьми, когда узнал, что наконец прибыли и наши фургоны. Мне еще пришлось

долго разыскивать их в лесу, где-то на самых закрайках второго эшелона.

Наш редактор, майор, добродушный толстяк, с неизменной обгорелой трубкой в зубах, всегда по виду чем-нибудь недовольный, сердито приказал мне тотчас отправиться на командный пункт части — вызывал начальник политотдела...

— Завтра делегация нашей части отправляется в Сибирь, — сказал мне полковник. — Так вот, капитан, будете сопровождать делегацию как корреспондент нашей газеты. Задача: собрать живой, яркий материал о жизни тыла, о земляках, с тем чтоб по возвращении в часть осветить это дело в газете, рассказать фронтовикам о родном крае. Конечно, надо и там рассказать о нас, о наших героях. Все. Ясно?

Надо ли говорить о том, как застучало у меня сердце, как я прерывающимся голосом попросил у начальника политотдела разрешения уйти и сломя голову кинулся из блиндажа полковника, чтоб поделиться неожиданной радостью со своими товарищами!

Я даже не успел спросить, куда именно в Сибирь направляется гвардейская делегация.

Совсем незаметными показались мне две недели пути — сначала на автомашинах по разбитым большакам, затем в теплушке эшелона, встречь которому почти непрерывно мчались с Урала, из Сибири составы с новобранцами, оружием и хлебом на фронт.

Большая часть гвардейской делегации ехала в Новосибирск, двое омичей остановились в родном городе, один барабинец сошел на разъезде, чтоб побывать в своем колхозе.

Неделю прожив в Новосибирске, встретившись с родными и друзьями, побывав с делегатами-гвардейцами во многих коллективах и заводах огромного города, я отпросился съездить на два-три дня в Сталинск, — не мог же я вернуться на фронт не побывав в Стране Темира...

* * *

Приехал я в Сталинск в раннее морозное декабрьское утро, когда над городом стоял плотный белый

туман и сухой, прокаленный стужей снег скрипел и взвизгивал под подошвами моих армейских сапог.

В тумане тускловато светились замороженные фонари проспекта имени Молотова, угрюмовато желтели затянутые льдом окна его огромных зданий. На темных зеленых елях округлыми глыбами лежал сероватый, подкопченный снег. По глубокой снеговой выемке проспекта шли трамваи с забитыми фанерой окнами, и оттого вагоны казались совсем темными и безлюдными.

Суровым, повзрослевшим, нахмуренным показался мне любимый молодой город, укутанный в снега.

Я шел на могучий, глуховатый гул завода, к Площади Побед, по заснеженной улице Нижней колонии, среди бараков, которые не успели снести до войны. А теперь, видно, было не до них...

Гулкий голос Левитана читал Приказ Верховного Главнокомандующего о новой победе наших войск.

Потом из репродукторов грянула музыка, словно заполнился ею звенящий морозный воздух... И тут я услышал впервые марш кузнецких металлургов, созданный, наверное, недавно и потому передававшийся утром для разучивания. Песня звала металлургов к фронтовым рекордным плавкам, звала словами строевого приказа, как наши боевые песни. Я остановился под репродуктором и дослушал марш до конца, запомнив его припев:

В цехах, на вахте жаркой,
Работать, как Поярков.
Броню стальную родине ковать.

Сталевар Саша, вот как ты поднялся! Твою фамилию я видел на прикладах гвардейских автоматов там, на Прибалтийском фронте, и вот слышу ее как призыв в песне...

Так захотелось мне скорее повидаться со своими знакомыми и товарищами, которых повстречал на Площади Побед в летний вечер несколько лет тому назад и все эти годы вспоминал. Я прибавил шагу, спеша к заводу, вглядываясь в лица встречных и обгонявших меня людей, почему-то надеясь найти знакомых, хотя их было у меня в городе немного.

И вот впереди увидел я могучую, высокую, сутуловатую фигуру — и тотчас, конечно, узнал... В шапке с поднятыми ушами, в легкой стеганой телогрейке и сапогах, заложив назад руки без рукавиц, медленно, тяжело шагал обер-мастер мартеновского цеха Антон Дементьевич, видно направляясь к заводу.

По устало сгорбленной могучей спине, по еще более, чем прежде, отяжелевшей походке заметно было, как постарел могучий старик сталевар. Я догнал его и прикоснулся к локтю.

— Антон Дементьевич, здравствуйте!

Он повернул ко мне свое крупное темное лицо и, как привычному знакомому, молча кивнул.

Старика, видно, не удивило мое приветствие — мало ли людей и незнакомых почтительно здороваются на улице со знатным мастером... И уж конечно не мог он запомнить меня по одной лишь встрече несколько лет назад, а если б даже и запомнил, то не узнал бы в военной форме.

Наклонив снова голову, он продолжал идти, о чем-то, видно, размышляя и не замечая моего соседства.

Тогда я сказал ему, что я с фронта, из военной газеты, назвал себя и попросил его назначить мне время, когда бы можно было с ним побеседовать.

— А, из газеты... — со знакомым мне по прежней встрече безразличием сказал он и не очень радушно прибавил: — Где ж меня искать, в цех и приходи. Там в любое время и найдешь, что надо выспросишь. Только мне и рассказывать не об чем.

— Значит, вы, Антон Дементьевич, с завода и не уходили? — спросил я. — Ведь собирались на отдых.

— Кто это тебе сказал? — покосился он сердито на меня. — До войны, может, и собирался. А сейчас — какой отдых... Все работают без передышки.

Я напомнил ему о былой нашей встрече и разговоре на Площади Побед. Он повернул ко мне лицо и сверху вниз вгляделся в меня.

— Вона что... Припоминается... Значит, на военной службе находишься, — медленно проговорил он.

И отчего-то потемнело лицо старого мастера, он тяжело вздохнул и отвел глаза.

— У меня там, на фронте, сыновья — Сергей и Алеша, командиры. И третий, Санька, собирается туда, — медленно проговорил он и глуховато, скорбно добавил: — От Алексея третий год вестей нет...

Я понял, почему так нахмурился и потемнел старый мастер: видом своим я напомнил ему о сынах-солдатах. Мы молча подходили к Площади Побед.

Величаво-суровую картину являла она в этот зимний морозный день. Весь в облаках пара и дыма, в золотисто-розовом зареве, поднявшемся над одной из домен, — видно, там шел выпуск чугуна, — гремел завод, темными громадами своими выступая на фоне снежных взгорий.

Сейчас, среди белого однообразия окружающих гор, завод еще разительней напоминал огромный корабль — грозный боевой корабль, проламывающий во льдах неотвратимый, сокрушающий свой путь.

И явственно мне представилось, как грозные домны и мартены Сибири идут на поединок с заводами Круппа и Симменса, как сибирская сталь обрушивается разящей силой на фашистскую броню.

— Пойдем поглядим, — сказал мне Антон Дементьевич, махнув рукой на левую сторону площади. — Я каждодневно туда захожу.

И тут лишь я заметил возле праздничных трибун, сейчас покрытых толстыми снежными заносами, ржавые груды искареженного, закопченного металла, сразу напоминавшие виденное там — на полях войны.

Мы подошли к ним.

Огромным железным трупом, зеленовато-ржавой развалиной лежал на снегу разбитый фашистский «тигр» — с разорванными гусеницами, с зияющими пробоинами в толстой обожженной броне. Из амбразуры высовывался бесформенный обрубок орудийного ствола. На тупом, тяжком лбу чудовища, как могильный червь, извивалась обожженная свастика...

Гитлеровский танк № 26264... Как он очутился здесь, на площади города металлургов, у подножия кузнецких домен, за тысячи километров от полей сражений?

Около танка валялся искареженный, обгорелый

металлический остов немецкого тягача, стояла покалеченная немецкая крупнокалиберная пушка, с развороченным раструбом стволом и разбитым вдрызг магазином.

Антон Дементьевич, наклонив голову, стоял и смотрел на танк, и на хмуром его лице застыло выражение мрачноватого торжества.

— Вот подарок нам. Из-под Сталинграда, — проговорил он. — Подарок — лучше не надо. Видал, как его, гадину, обработали наши? И, сказывают, кузнецкая сталь ему кончину уготовила. В точности, конечно, это неизвестно. Может, кузнецкая, а может, уральская. Но наша — советская, это факт.

Антон Дементьевич подошел к самому танку, вгляделся в одну из пробоин с рваными краями в боковой броне.

— Вот зайдешь сюда, поглядишь на этого черта решенного, и сердцу вроде легче, потому что тут и свой труд видишь, и вроде как сам на фронте... Ведь сейчас все мы одной думой живем: как бы скорей врага сломить. Каждый тому и работу свою отдает, свою жизнь в это дело вкладывает...

Антон Дементьевич постоял еще немного, гневно и брезгливо глядя на ржавую, закопченную развалину, распрямил свои могучие плечи и, схлестнув за спиной руки, почти торжественным, тяжелым шагом тронулся к заводу.

— Да, братец ты мой, тяжелое время пережили,— заговорил он раздумчиво. — Когда германец Юзовку, Днепросталь, Керчь взял,— эх, как сердце похолодало! Мы-то, сталевары как это понимали? Там, на Юге-то легированные стали варились — в электропечах, в печах с кислой подиной. Из этой стали оружие ковалось... Ну, и думалось тогда: «Плохо дело наше, без хорошей стали с Гитлером не повоюешь, он, подлец, нас крупповской сталью бьет». А у нас и на Урале и в Кузнецке все больше обыкновенную сталь варили. Значит, что же, надо было электропечи строить наново? Да на это же годы бы потребовались... К тому же электропечь — она дает стали за плавку в пять — десять раз меньше, чем любой из наших мартенов...

Вот и пришло нам задание от правительства — добиться того, чтоб в наших обыкновенных многотонных печах нужную для страны сталь варить... Не делал этого никогда и никто до нас, да и самим сначала казалось невозможно... А как невозможно, если тут жизнь наша на карту поставлена, если война того требует, народ о том просит?! Сколько на то силы нашей ушло, сколько бились мы над плавками, — о том не расскажешь. День не в день, ночь не в ночь, с ног валясь, работали, у печей ели и спали, из цеха не уходили... Инженер Сахаров, начальник цеха, у нас он всем делом верховодил, так его сколько раз из цеха в бесчувствии выносили. Ну, о нашем брате, мастерах, сталеварах, и говорить нечего. Жизнь не в жизнь, а решили, что дадим нужную сталь!.. Сколько я подин наварил, пока цели достиг... И дали, братец мой, сталь, дали! Какие нужны были для фронта сорта и марки, такие в точности и дали. Да еще кое-что и новенькое, наше, сибирское, теперь делаем. Гитлер, поди, почуял, какое оно... А вон Александр, сталевар-то наш знаменитый, на первом мартене не только что научился варить специальную сталь, а скоростные плавки гонит считай что наполовину быстрее, чем раньше. За то ему премия дана! — В голосе Антона Дементьевича зазвучали горделивые нотки. — Сталевар мировой вышел из Саньки, не нарадуюсь...

Мы дошли до туннеля. Антон Дементьевич остановился возле высокого щита, на котором крупными красными цифрами перечислялись показатели работы цехов за истекшую пятидневку.

«Лучший мартеновский цех Советского Союза», — значилось над показателями работы мартеновского цеха.

— Чуешь, как работаем?! — сказал Антон Дементьевич, глянув на меня сверху. — Знамя Государственного Комитета Обороны год из рук не выпускаем...

Он приподнял шапку, прощаясь.

— В цех приходи, поглядишь, с ребятами сам потолкуешь, — сказал он мне, свертывая к своему цеху.

Я отправился в партком.

Партторг завода, молодой еще, но с белыми вис-

ками и усталым лицом худощавый человек, прежде всего жадно расспросил меня о том, на каком участке фронта я был, в каких боях участвовал, в каких частях служил. А потом с некоторой грустью сказал:

— Мы вот всю войну в глубоком тылу... Правда, здесь тоже трудновато, работаем по-фронтовому. А все ж на фронте побывать ох как хочется! Это, конечно, между нами, по-товарищески. У меня вот и сейчас десятки заявлений от коммунистов об отправке на фронт. Каждый день приходится разъяснять, убеждать, а наиболее горячих и осаживать. Рвется народ в бой.

Я рассказал ему о Евдокиме Чутаеве и его легендарной бронебойной пушечке. Парторг разволновался и горячо сказал:

— Вот здорово бы сюда ее, на нашу Площадь Побед, на постамент бы и венок на ее ствол. Чтоб возвышалась она над остатками гитлеровских «тигров». Чудесный памятник Отечественной войны, какой не всякий художник придумает... Непременно напишем в дивизию: пусть сохранят пушку и переправят нам... На Площади Побед мы поставим памятник и нашим героям — Красилову, Герасименко, Черемнову... Хотя мы и далеко от фронта, но связаны с ним очень крепко, — продолжал парторг. — Когда начали варить и катать новую сталь, сколько писем хлынуло с фронта! И сейчас ежедневно приходят письма со всех участков, из разных частей, где воюют наши кузнечане, и вообще от воинов, которые благодарят металлургов за хорошую сталь, призывают давать ее еще больше. Вот у меня почта последних дней...

Парторг выдвинул один из ящиков стола и вынул оттуда пачку писем, в большинстве свернутых знакомыми солдатскими треугольниками.

— Танкисты вот даже в стихах написали свое письмо, —парторг протянул мне тетрадочный листок.

Заканчивалось стихотворное послание танкистов строками:

Броню танка не пробьют снаряды,
Тело танка не спалить огнем.
Танк проскочит через все преграды —
Ведь броня кузнецкая на нем!

— Ну, отправляйся на завод да погляди от начала до конца, как рождается наша кузнецкая сталь, — сказал мне в напутствие парторг. — Будет о чем и о ком написать и рассказать фронтовикам.

РОЖДЕНИЕ БРОНЕВОЙ ПЛИТЫ

Александр Поярков работал у первой от входа в мартеновский цех сталеплавильной печи.

Встретились мы с Александром в стеклянной кабине управления. Солнечное сияние из окон печи заливало кабинку, сверкало на меди и никеле приборов.

Александр не сразу узнал меня в военной форме, а узнав, рассмеялся:

— Что ж, ты до Берлина не дошел и уже на побывку приехал?!

Я сказал, зачем приехал, передал ему привет от фронтовиков и благодарность за поярковские автоматы.

Александр крепко сжал мою руку.

— Ну и как они, автоматы наши, действуют неплохо? — взволнованно спросил он.

В светло-серых его глазах отражалось пламя печи; говоря со мной, он их почти не отрывал от заслонок окон мартена, поворачивая то один, то другой рычажки на пульте регулировки.

— Недавно мне из гвардейской части, где мои автоматы на вооружении, гвардейский знак прислали. Так что я вроде тоже военный, гвардии сталевар, — сказал Поярков со спокойной гордостью.

Отодвинув меня плечом, он стремительно вышел из кабинки и, подойдя к одному из огнедышащих окон, надвинул кепку с укрепленными на козырьке синими очками, вгляделся в огненный глазок. Знаком что-то приказал подручному. Тот махнул рукой, и к печи подошла завалочная машина. С платформы, стоявшей тут же, она своей гигантской рукой взяла мульду и отправила в раскаленную утробу печи, повернувшись к одному из открытых люков мартена.

В это время подошел к печи Антон Дементьевич,

как всегда с заложенными назад руками. Он вынул из нагрудного кармана синее стекло, через него заглянул в печь и что-то сказал сталевару. Александр ответил ему каким-то, очевидно взаимопонятным, знаком. Подручные лопатами начали кидать в печь большие камни доломита.

Антон Дементьевич зашел в кабину и сразу ее всю заполнил собой. Он глянул на приборы, потом уже заметил меня.

— Сердится Саша, — кивнул он на Александра, который с подручными своими шуровал длинной железной пикой в раскаленном зеве мартена. — Вишь, сменщик сдал ему печь на ходу — с начатой плавкой. Но, видно, затянул плавку, держал печь на умеренном режиме, надо подгонять сейчас. А Саша печь на пределах всегда держит, начатую плавку сменщику передавать не любит, стремится сталь за смену сварить. Сегодня хочет в смену полторы плавки сделать — и эту закончить, и еще одну сварить... А сталь варит особую — броневую. Ну гляди, гляди, — оборвал разговор Антон Дементьевич и, сильно качнувшись в дверях, вышел из кабины.

Выйдя за ним, я приблизился к самой печи. Незащищенным глазом нельзя было глядеть в знойное, солнечно-ослепительное пламя. Один из подручных сталевара сунул ковшик на длинном железном черенке в глубину бушующего пламени, зачерпнул там и выдернул мгновенно побелевший ковшик. Тоненькой молочной струйкой сталь из ковшика полилась в небольшую формочку для лабораторной пробы. Остатки жидкого металла подручный выплеснул на железную плиту; сталь, потемнела, застывая неровной, бугристой корочкой. Лицо Пояркова, склонившегося над пробой, заметно помрачнело, он сердито сплюнул. Видно, металл ему не понравился.

Он снова сквозь очки вгляделся в огненный глазок. Тут я и решился спросить у него:

— А что, Александр Яковлевич, быстрее можно плавку закончить?

Он почти гневно вскинул на меня светлые свои глаза и отрывисто ответил:

— На фронте не спрашивают, можно или нельзя, так ведь? На фронте говорят — надо! И бьют.

— Значит, закончите эту плавку в положенный срок? — спросил я, дав понять ему, что знаю о замедлении плавки в предыдущей смене.

— Что значит в срок?! — еще более сердито возразил сталевар. — Надо досрочно, а то какие же мы к черту гвардейцы!

И он, отвернувшись от меня, по-военному скомандовал подручным:

— Подогреть газ!.. Еще мульду...

Александр Яковлевич стремительно уходил в кабину управления, возвращался к печи, с ожесточением шуровал в пламени её железным багром, отбрасывал в сторону раскаленный добела прут, подручные тотчас подавали ему другой. С лица сталевара ручьем лил пот, потемнела на спине парусиновая куртка. Он работал неистово, стремительно, с видным напряжением и своим темпом подгонял всех.

Я наблюдал за ним со стороны. А он, весь в стремительной горячке, должно быть, не выпускал меня из виду. Когда к печи подкатывал поезд или с высоты опускался с каким-нибудь грузом тяжелый крюк крана, Александр бросал в мою сторону быстрый взгляд, видно опасаясь, как бы меня чем-нибудь не ушибло, или властным жестом указывал мне место, куда я должен перейти...

Прошло два часа этой напряженной, порывистой работы. Сталевар еще раза два брал пробу металла, и при последней из них лицо его прояснилось. Он что-то сказал одному из подручных, и тот ушел на другую сторону печи. Александр жестом подозвал меня. Взглянув на карманные часы, он сказал:

— Ты говоришь — можно ли?.. Надо! Вот видишь, подогнали плавку — и сварили сталь даже на час раньше норматива... Сейчас выпускать будем. Иди туда, погляди.

Я по лесенке поднялся на другую сторону мартена, к летке, из которой выпускается готовый металл. Мостовой кран подвел и поставил под желоб огромную чашу с раскаленной внутренностью — для стали, за-

тем чуть поменьше шлаковый ковш. Неподалеку внизу стояла разливочная машина, возле которой уже выстроилась батарея изложниц на колесах... У летки находился Антон Дементьевич. Скупыми, неторопливыми жестами он давал какие-то указания двум подручным, ломом пробивавшим летку.

И вот из нее с ревом вырвалась толстая струя пламени, серебряная пурга крупных искр осыпала все вокруг. Из летки хлынул солнечно-ослепительный, знойный ручей жидкой стали. Белой полудугой она падала в раскаленные недра ковша, и оттуда пучками взлетали мохнатые золотые звезды; взрываясь, шипя, как ракеты, они падали наземь.

Антон Дементьевич стоял по другую сторону огненного ручья и, заложив руки за спину, глядел, как падает струя стали в ковш. Озаренное солнечным кипением металла, лицо его было сурово и задумчиво. Сдвинув над переносьем могучие брови, стиснув сухие губы, он смотрел на поток стали, и казалось мне, что я угадываю его думу в эту минуту.

Отцовское большое горе лежало на его сутуловатых широких плечах, тяжелая скорбь давила на сердце. И, может быть, какой-то не предусмотренной технологическим процессом частью эта боль отцовского сердца, гневная сила души старого сталевара, ненависть его к врагу вошли в сталь — с нею старый мастер направляет еще один удар, сокрушительный удар своего отмщения врагу.

И думалось мне, что от этого сталь должна быть тверже, острее, непроницаемей и сокрушительней.

Влилась в эту сталь и молодая, порывистая сила Александра Пояркова. Ведь каждая плавка металла — это сгусток упорства, смелости, творческого накала сталевара.

Четырнадцать часов, отводимых на плавку, — это время, выверенное многолетним опытом многих поколений инженеров и сталеваров, жесткий и точный норматив, установленный техническими законами эксплуатации печи. Каждая сокращенная из четырнадцати часов минута — это нелегкое завоевание, и это тонны стали сверх плана. А Поярков варит сталь на несколь-

ко часов быстрее, чем положено железным нормативом. Стремительный в движениях, отрывистый в речах, он и плавке сообщает свойства своего характера, еще более накаленного в дни великой войны.

Мартеновская печь под его управлением варит металл бурно, на предельных температурах, на необычайно высоком волевом напряжении и сталевара и подручных. И, может быть, в эти часы горячей вахты у печи он воображением своим уносится туда, на поля сражения, и видит своих братьев — минометчика и пулеметчика, видит их в бою, в грохоте взрывов, под страшным завыванием фашистских пикировщиков. Поэтому и здесь, в цехе, он ощущает себя солдатом, на поле жаркой схватки. Вероятно, оттого и шаг у него стремительный, солдатский, и по-боевому звучат команды гвардии сталевара.

Ковш наполнился почти до краев. Всплескиваясь синими язычками пламени, под темноватой шлаковой коркой клокотал в нем белый знойный металл — многие тонны грозной, крепчайшей стали...

Александр Яковлевич подошел ко мне и, утирая рукавом куртки мокрое, пылающее лицо, сказал, кивнув на ковш:

— Вот моя сто двадцать первая скоростная плавка за время войны...

И, как бы угадывая мои мысли, добавил:

— Так что, думается, перед своими братками я не в накладе. Они там, на фронте, а я в тылу, сталь варю, но бьем мы в одну точку — в Гитлера... Я так считаю, что каждая моя плавка вроде как залп — прямой наводкой из Сибири по Гитлерюге.

Сверху опустились два огромных крюка крана, подхватили за ушки наполненный металлом ковш. Он невесомо поплыл по воздуху и повис над разливочной машиной.

В дне ковша открылось отверстие, и ослепительная струя стали потекла в соты изложниц, которые одна за другой вдвигались под своды разливной машины и появлялись с другой стороны, до краев полные пламенным металлом...

— Ну, пойду готовить завалку печи, — крикнул

мне на ухо Александр. — А ты давай дальше двигай, в прокат. Погляди, как наш слиток прокатывается... Вечером во Дворец металлургов придешь? Нам знамя Государственного Комитета Обороны будут вручать. Начальник цеха и я принимать будем... Вот там и еще потолкуем!

Он улыбнулся, сунул мне горячую твердую руку и убежал.

Антон Дементьевич, склонившись к летке, из которой хлестало пламя, давал какие-то указания подручным, прочищавшим печь скребками на длинных черенках... Мне очень хотелось подойти к старому мастеру, сказать ему какие-то горячие слова, просившиеся от сердца, но отрывать старика от работы я не решился.

Подкатился трансферкар, прицепил состав изложниц, наполненных сталью, и помчал их в глубину цеха — к прокату. Я направился туда же. Мне пришлось пересечь оба мартеновских цеха — пройти добрый километр вдоль раскаленных, пылающих сталеплавильных печей, среди снующих туда и сюда поездов, под проплывающими в высоте гигантскими электрокранами, несущими то огромные ковши с жидким металлом, то целые вагоны разных грузов.

Рев пламени в печах, грохот многочисленных механизмов, неистовые гудки мчащихся паровозов и трансферкаров, звон сигнальных колоколов — все это сливалось в могучий железный гул, живо напоминавший артиллерийскую канонаду на огромном пространстве. И в этом непрерывном грохоте, в багровом озарении пламени, в дыму яростно, но слаженно работали у пламенных мартенов сотни людей.

Сталевары то кидались к огненным окнам с пиками, то лопатами метали в пламя глыбы камней, то дружно в несколько рук, будто тараня, ворочали в печах железными баграми. Завалочные машины, как гигантские боевые танки, то вплотную придвигались к пылающим печам, то отходили, досылая в мартены мульды; движение этих машин напоминало картину моторизованного боя. И всем этим движением могучих механизмов управляли люди, стоявшие на фрон-

товой вахте, работавшие с четкостью артиллерийских расчетов и экипажей боевых машин.

Огромный цех напоминал гигантское поле сражения.

Величественным содержанием наполнились в сознании привычные газетные слова: «борьба за металл», «сталь фронту», слова, написанные там и тут на стенах, на сводах цеха...

В прокатном мне надо было отыскать инженера-комсомольца Зуева, к которому я нес записку парторга завода с просьбой познакомить меня с цехом и его людьми.

Инженер Зуев, как оказалось, предупрежденный по телефону, сам встретил меня у входа в прокатный на эстакаде, пересекавшей цех. Небольшого роста, с юношеским, подвижным лицом и запавшими усталыми глазами, одетый в засаленную телогрейку, Борис Зуев больше походил на практиканта из ремесленного училища, чем на обер-мастера, которым мне его рекомендовали в парткоме.

Оказалось, что мы с ним учились в одной школе в Новосибирске и даже встречались, но друг друга не помнили и не знали.

— Ну, не будем терять времени, — оборвал воспоминания инженер. — Времени у меня на вас немного, а показать и рассказать надо столько, что... В три часа у нас большое производственное совещание, надо успеть до него обойти цех. Начать следовало бы со стрипперного цеха, где горячий слиток раздевается, то есть извлекается из изложниц. Ну, это не столь сложная операция, да и идти туда довольно далеко... К нам слиток стали попадает вот таким, — Зуев махнул рукой на только что подкативший состав платформ, на которых в ряд стояли розовые, казавшиеся полупрозрачными огромные кристаллы слитков. — Между прочим, каким вы видите вот этот слиток? — вдруг спросил инженер, указывая на плывущий в воздухе слиток стали.

Слиток был бело-розовый, с чуть красноватыми гранями.

— Мы смотрим разными глазами. А мне он ка-

жется серовато-темным, с почти черными внутренними полосами и ноздреватой поверхностью, — пояснил Зуев, всматриваясь в слиток.

— Почему? — спросил я, удивленный.

— Дело в том, что нам, прокатчикам, приходится прежде всего обращать внимание на качественную сторону поступающего к нам слитка, на глаз определять температуру и структуру его. Конечно, это дается не сразу. Но ведь в день перед глазами проходят тысячи таких слитков, и все они разные, при абсолютно одинаковой внешней видимости. Но если металл чуть темнее, значит он охлажден; если видишь темные пятна, это указывает на дефекты слитка. И вот постепенно обычные зрительные впечатления вытесняются этим качественным восприятием. Например, вот этот слиток кажется мне темновато-серым, с пустотами в его верхней части, чего не видите вы... Знаете, побудешь некоторое время в отпуске, отдохнешь, придешь в цех — видишь обычно, как и вы, слиток. Но уже через несколько дней опять эти обычные восприятия вытесняются качественными...

Нагревательные печи из огнеупорного кирпича, работающие на доменном газе, растянулись на добрые полкилометра.

Перед тем как поступить на прокатный стан, раскаленный слиток стали еще раз попадает в пламя — в нагревательные колодцы, температура в которых достигает 1800 градусов.

Мы по лесенке поднялись на одну из печей, к самому огнедышащему колодцу. Как раз мостовой кран, взяв с платформы внизу раскаленный слиток, перенес и опустил его в пламенную бездну. В каждый из колодцев помещается по шесть слитков.

Здесь, так же как во всем прокатном цехе, почти не видно людей. Лишь вверху на помосте, у пультов управления, находилось несколько человек, которые и распоряжались всем огромным огненным хозяйством.

— Половина этих печей построена по проекту американца Фрейна,— продолжал Зуев. — А остальные — нашей советской конструкции и нашей постройки. Есть у нас и такое, чего американцы и сейчас не делают.

Вот, например, выпуск шлака из колодцев. Это очень тяжелая ручная работа при адской жаре. На американских заводах на нее ставят только негров: они, дескать, легче переносят жар. А мы еще в начале войны отказались от выпуска шлака вручную, устроили специальные летки, из которых шлак вытекает сам... Между прочим, это простое приспособление дало нам возможность увеличить намного пропуск слитков через нагрев.

Над нами ходит мостовой кран, плавно, легко пронося в своей клешне, называемой «лягушкой», слитки стали. Вот открывается крышка одного из колодцев. Кран опускает туда огромную свою «лягушку», выхватывает из раскаленной знойной глубины почти совершенно белый слиток, проносит его над нами, обдав нестерпимым зноем, и опускает внизу на электротележку.

— Ну, пойдем, — говорит Борис Петрович, — посмотрим за судьбой этого слитка, который должен стать броневой плитой.

С железного моста, пересекающего цех поперек, хорошо видно в обе стороны — весь процесс чернового проката.

Раскаленный слиток пускается на движущуюся платформу с особым откидным устройством в виде гигантских ладоней, они, легко перебросив слиток с боку на бок и мягко подталкивая, пододвигают его к конвейеру, ведущему к прокатным станам. По непрерывно вращающимся валкам рольгангов грузный слиток, подпрыгивая, устремляется вперед и кажется живым, одушевленным.

Он проносится над нами, сверкая искрами осыпающейся окалины, приближается к валкам обжимного стана — блюминга.

Посредине двух мощных стальных колонн стана, как глаз циклопа, сияет белый круглый циферблат, по которому лихорадочно прыгает мертвая стрелка, отмечая силу давления валов.

— Вот ворота проката, — говорит инженер, указывая на громаду стана, — через них проходит вся сталь, выпускаемая заводом.

Даже и после гигантских домен и громад мартеновских цехов уникальный стан «1100» ошеломляет.

Чудо-блюминг — их единицы насчитываются во всем мире,— он поражает своими размерами и мощью. Это действительно какой-то сказочный великан в тысячи тонн весом.

Тысячи лошадиных сил заключены в могучей стальной «мускулатуре» умного и покорного чудовища. Основной вал блюминга мог бы выдержать на себе тяжесть колоссальной платформы с тридцатью тысячами человек на ней.

По вращающимся валикам — рольгангам транспортера — подскакала, нетерпеливо вздрагивая, пышущая белым зноем многопудовая туша слитка. Она кажется совсем небольшой и легкой перед тяжко, громово вздыхающей громадиной блюминга... Вот она под струями воды попадает в тяжелые движущиеся «ладони» стана, подающие ее под тяжкий вал...

Гигантские громыхающие челюсти блюминга стискивают слиток. Он брызжет искрами окалины и возвращается назад уже заметно удлиненным, расплющенным, легко перевертывается с боку на бок, перебрасывается в соседний канал и снова стремительно кидается под вал и возвращается еще более расплющенный и удлиненный.

Тут обратил я внимание на странное явление: непрерывными мощными струями, обильным дождем льется вода на раскаленный добела слиток, но почему-то не испаряется, а, подобно ртути, скатывается с огненного металла.

— Температура так высока, что вода не успевает испариться, она как бы свертывается, превращается в особое капельное состояние, — поясняет мне инженер.

После нескольких манипуляций стальной слиток исчезает под валом, появляясь на другой стороне блюминга прямоугольным длинным бруском — слябом. Он плывет по рольгангам, как огненная лодочка, к следующему стану.

А под валами блюминга уже мечется взад-вперед

следующий слиток, мгновенно меняя свою форму, обретая новые качества.

В кабинке управления блюмингом, расположенной над станом, на высоких стульях сидят только двое — вальцовщик и манипуляторщик.

Перед каждым из них по нескольку коротких рычажков, которые они передвигают согласованными ритмичными движениями обеих рук.

И сначала кажется, что однообразна и несложна их работа, — движения рук назад-вперед, назад-вперед. Манипуляторщик управляет движением слитка на рольгангах перед блюмингом, в руках вальцовщика весь гигантский и сложный агрегат. Глаза его через стеклянную стенку кабинки неотрывно и напряженно следят за слитком, мечущимся внизу под валками блюминга, и за резвыми прыжками стрелки на огромном циферблате. По бледному, утомленному лицу вальцовщика катится ручьями пот на обнаженную грудь, — ворот его рубашки, взмокшей на спине, распахнут...

— Вот так, не поднимаясь с места, не отрывая ни на секунду глаз, непрерывно орудуя рычагами, вальцовщик работает всю смену, — говорит мне на ухо Зуев. — И при этом он соблюдает неумолимо жесткий ритм работы, должен мгновенно, на ходу определять качество слитка и в зависимости от этого регулировать его обработку. Вот смотрите, этот слиток дважды пропускается через один профиль вала — значит металл недостаточно горяч. Для другого слитка понадобится, может быть, и три пропуска, в зависимости от температуры и качества стали...

Большой навык, большое мастерство. А вернее талант. Я не знаю на заводе более трудной и напряженной работы, чем эта, — говорит инженер.

Вальцовщик, видимо кое-что расслышав из его слов, одним глазом глянул на нас, улыбнулся уголком губ, но освещенные сиянием раскаленного металла светлые глаза его ни на секунду не утратили настороженного, внимательного выражения.

— А вы знаете, кто это? — спросил у меня Зуев. — Иван Сомов, знаменитый вальцовщик. Между

прочим, он пришел на строительство завода плотником, вот деревянный пол в этой кабинке сам настилал. А потом, когда пустили цех, стал прокатчиком, прошел большой путь от подсобного рабочего до вальцовщика блюминга... Он да еще Заварыкин — это, я вам скажу, чародеи, волшебники, честное слово... Техническую мощность, которую американцы устанавливали на блюминге, наши мастера-вальцовщики давно превысили вдвое, втрое. Заварыкин и Сомов катают по нескольку тысяч тонн стали сверх сменной нормы. Мы подсчитали: Заварыкин за время войны прокатал сверх плана стали, которой хватит на пятнадцать тысяч танков! Понятно?

Молодой инженер, с уважением глядя на вальцовщика, подошел к Сомову и, склонившись к уху, что-то сказал. Вальцовщик, покосив глаз в мою сторону, но не поворачивая головы, быстро кивнул.

Мы спустились с мостика и пошли по цеху вдоль тяжело громыхающего конвейера, по рольгангам которого плыли и плыли к прокатным станам слитки металла.

По дороге инженер продолжал мне рассказывать с вдохновением и влюбленностью поэта. Технические термины, цифры, сравнительные данные о могучих механизмах звучали у него как стихи. И так как в цехе стоял оглушающий железный грохот, то Борису Петровичу приходилось все время кричать, вплотную прижимаясь ко мне. Мы шли с ним почти в обнимку.

— Знаете, ведь вся эта сложная техника осваивалась прокатчиками без иностранцев. Они только ее монтировали и устанавливали. Строго-настрого наказывали насчет освоения проектных мощностей, не верили, что мы сможем их достигнуть. А можно сказать, что любой из прокатных агрегатов у нас уже давно превысил проектную производительность в несколько раз...

Зуев, что-то вспомнив, рассмеялся и продолжал:

— Листостан, говорят, устанавливали представители немецкой фирмы. Был среди них такой монтер Берндт. Он прятал от наших инженеров монтажные

чертежи, а когда что-нибудь настраивал, то напускал на себя вид волшебника. Нашим не позволял подходить ближе, чем на десять шагов, разыгрывал этакую магию. А через неделю после того, как он уехал, пришлось нашим переделывать его работу, поднапутал пруссак проклятый! Его счастье, что убрался вовремя отсюда, а то бы мы поучили его прокатному делу! Да не инженеры, а вот любой из этих людей, работающих сейчас на листостане.

К листопрокатному стану, огромному и сложному сооружению, слиток стали приходил уже длинным, метровой ширины листом, в несколько сантиметров толщины. Все еще белая сталь мягко изгибалась, проходя через валы стана. Тяжелые гильотинные ножницы, как масло, резали ее на равные доли... Длинными железными крючьями рабочие направляли готовые плиты по основному руслу конвейера, а срезки сдвигали в сторону.

— Ну вот и готова броневая плита,— сказал Борис Петрович, указывая на прямоугольные толстые плиты стали, уплывающие по рольгангам.

Мы прошли через огромный цех вырубки — технической проверки готового металла. Огромными штабелями здесь лежала сталь самых разнообразных форм и сечений — серебристые прямоугольные и круглые брусья, рельсы, балки разных профилей, листы, огромные слитки.

Там и тут сияло пламя автогена, рассыпали дробь пневматические молотки, заливались электродрели. Пела, гремела, звенела, взвизгивала сталь. Сотни инженеров, мастеров, рабочих, склоняясь над нею, проверяли ее на твердость, упругость, огнестойкость, на разрыв и излом. Ведь для всенародного и священного дела — для победы над врагом готовили ее кузнецкие металлурги. И они должны быть уверены, что эта сталь не подведет родного воина, советского солдата,— сталь Кузнецкого ордена Ленина завода...

Мостовые краны, трансферкары, электромагниты грузили готовую сталь на железнодорожные платформы, и поезда один за другим уходили в огромные ворота. Мне хотелось еще многое спросить у своего про-

водника, но он все чаще стал поглядывать на часы, намекая, что ему пора на блюминг...

Я спросил его, не можем ли мы встретиться с ним вечером, мне очень бы хотелось еще поговорить с ним.

— Ну, значит, снова приходите в цех, — ответил он самоотверженно.

— Зачем же мне отрывать вас снова от работы, Борис Петрович. Лучше бы после работы, в свободный час.

Борис Петрович рассмеялся.

— Да я ж в цехе живу. С июня сорок первого года. Домой иногда только раз в месяц и наведаешься. На военном положении живем и работаем, капитан. Солдаты — в блиндажах, мы — в цехе...

У ворот я невольно остановился, чтоб оглянуться туда, где рождалась сталь и шла великая трудовая битва за победу.

ПАМЯТНИК ИЛЬИЧУ

Наконец-то я совсем дома. На днях получил в военкомате билет офицера запаса и снял погоны со своей габардиновой гимнастерки, расставаться с которой, впрочем, пока не хотелось, в ней как-то удобней и привычней, чем в пиджаке. Теперь-то уж я могу крепко засесть за свои давно начатые и вновь задуманные рассказы, разобраться в своих путевых заметках, которых вдоволь накопилось за годы войны.

Первым делом, я, конечно, извлек из книжного шкафа заветную связку рукописей и записных книжек — мои довоенные запасы, вывезенные из Страны Темира. Бумага успела основательно пропылиться и пожелтеть. Что ж, после такой длительной лежки содержание этих запасов, может, лучше отстоялось и вызрело, для меня во всяком случае стало еще дороже. Теперь я добавляю к ним свежие, самых последних лет накопления, ими туго набита моя совсем истрепанная дерматиновая сумка. Наконец я смогу закончить свое повествование о Стране Темира.

Но только я раскрыл свои старые дорожные за-

писи, как показались они мне поблекшими и лишенными живой жизненной силы оттисками прошлого. Наверное, сама жизнь уже далеко опередила все, что казалось тогда увлекательным и новым. В некоторой растерянности я раздумывал: надо ли вообще продолжать и завершать давно начатую работу. Но вскоре я понял, что за этими доводами рассудка таится нечто другое — желание неисправимого бродяги журналиста поскорее отправиться снова в дорогу, продолжить прерванное войною путешествие по любимому краю. Ведь об этом столько раз мечталось там, на фронте, к этому горячо стремилась душа в дни трудных военных испытаний. И так потянуло меня снова туда, в таежные кряжи Кузнецкого Алатау, в долины Мрасса и Кондомы, так захотелось вновь повидаться с друзьями и спутниками моими по Стране Темира, чья судьба не переставала меня интересовать и сейчас, что, отложив свои старые рукописи, я начал готовиться в путь.

Отправиться мне туда пришлось гораздо раньше, чем я предполагал. Неожиданно пришло письмо от Аркаши Огородникова, которого я совсем потерял в военные годы.

И вот Аркаша, мой славный спутник, обнаружился, и ведь именно там, в Таштаголе. Значит, он исполнил свое слово, данное при нашем расставании со Страной Темира,— обязательно вернуться туда. Больше того, он, по-видимому, стал ее постоянным жителем.

В своем коротеньком письме Аркаша сообщал, что ему довелось прочесть в журнале отрывки из моей повести о Стране Темира и ему очень хотелось бы поделиться своими впечатлениями от прочитанного. Он настойчиво приглашал меня, не откладывая в долгий ящик, приехать в Таштагол и обещал рассказать, показать такое, о чем надо написать обязательно.

«У нас в Таштаголе, — писал Аркаша,— вы сейчас можете увидеть такое явление, перед которым меркнет старая легенда о Темир-Тау — Железной горе. Только приезжайте поскорее...»

Это несколько туманное сообщение Аркаши меня

заинтересовало, хотя и я склонен был подозревать его в некотором романтическом преувеличении, — ведь у этого искателя необычайного горячая голова.

Я тотчас отправил ему письмо, просил подробно рассказать о жизни Таштагола, о людях его, о том, как Аркаша сам попал на рудник и что там делает. Через неделю я получил от него открытку, в которой только и было написано: «Если можете, приезжайте, а то будет поздно».

Послав ему телеграмму о дне выезда, я быстро собрался в дорогу.

Сильный буран, глубокие заносы задержали поезд в пути.

Когда я приехал в Сталинск, у меня оставался всего час до отхода поезда на Таштагол. И я мог только со станции, высокого виадука, поглядеть на завод, на город, укутанный снегами и белой пеленой.

Поезд, настоящий пассажирский поезд, отправился на Таштагол — в буранную ночь, в сугробы.

Скоро стемнело, сквозь забитое снегом окно вагона виднелись только мутноватые огни. То приближаясь к самому железнодорожному пути, то медленно утопая в белой мгле, они указывали станции, мимо которых мы проезжали.

В полутемном вагоне было жарко от раскаленных чугунных печек. Пассажиры, намерзшиеся на станции в ожидании поезда, как только забрались в вагон, в тепло, тотчас улеглись спать. Мне досталась верхняя полка. На нижних скамейках еще не спали. В темноте помигивали красные огоньки цигарок, густой дым махорки поднимался оттуда к потолку. Пассажиры тихо разговаривали. Лиц я не видел, но по голосам угадывалось, что один пожилой человек разговаривает с молодыми, которые впервые едут в тайгу и пытливо расспрашивают старожила. Неторопливый густой голос обстоятельно им отвечает. Я свесил голову со своей полки, и когда рассказчик крепко затянулся, при короткой вспышке цигарки выступило из темноты его лицо — немолодое, с висячими усами и бритым подбородком.

Разговаривали соседи негромко, так что сквозь

стук колес и скрип старенького вагона не все доходило до меня. Молодые, видимо, заинтересовались рассказом, прекратили расспросы, и слышался только голос одного пожилого.

— Из нашей бригады почти все на одной улице живут в индивидуальных домиках. Так что и с работы и на работу вместе ходим, артелью. — Рассказчик снова затянулся, огонек цигарки опять на миг осветил его лицо. — Ну вот, значит, утром идем мы в гору, на смену. А дорога мимо станции, мимо запасных бункеров дробильной фабрики. Вот поднимаемся на взгорок, а тут наш парторг рудничный, Михаил Авксентьич. Стоит и глядит на отвалы дробленой руды, что под бункерами. Руды много накопилось, транспорт не справляется. Отвалы метров в двадцать вышины, тыщи тонн руды возле железнодорожного пути. Правда, начали руду перед тем отправлять. Экскаваторами на платформы и в хоппера грузили... И вот, значит, стоит парторг, глядит туда. А у него такое правило: он всегда утречком на раскомандировке побывает — с отработавшей сменой поговорит и с тем, кто в забой идет, потолкует, пятиминутку устроит. Или ночь всю в бригадах, в забое проводит, а утром идет в свой кабинет... Сейчас, видно, из штольни вышел — в старой рабочей телогрейке и резиновых сапогах. Подходим к нему, здороваемся. А он говорит: «Постойте, товарищи, глядите-ка вон туда. Что видите? Хочу свое зрение проверить». И указывает на крайний отвал руды под бункерами. И что же мы там видим? Внизу у отвала экскаватор стоит, ковш поднял, отдыхает. Видать, всю ночь работал, снизу руду из отвала выбрал, целый состав нагрузил, порожняку больше нет. «Да вы на вершину отвала глядите», — говорит парторг. Ну, мы глядим. Когда экскаватор-то снизу руду выбирал, она сверху осыпалась, слежалая, глыбками отваливалась, и на вершине отвала как будто громадная человеческая голова появилась.

Из руды, конечно. За отвалом вершины снежные, и на белом-то она сильно выделяется. А как еще вглядишься, то видишь, что и лицо будто б очень знакомое. «Ну как, узнаете? — спрашивает Михаил Авксен-

тьевич. — Глядите пристальней». И видно — сам волнуется.

А оно и в самом деле нельзя не признать. Громадный лоб, бородка обушком — Ленин же это, Владимир Ильич, полный портрет, верней сказать, его бюст как вылитый... Ну, тот, другой и говорит: «Ленин!» Глаз от вершины отвала не отрываем, глядим, и все ясней и живей видится — Ленин. «Ну, значит, не почудилось мне, — говорит Михаил Авксентьевич. — А могла и ошибка зрения быть. Я вечером над книгой товарища Ленина сидел, замечательную его статью прочел и все время думал о ней и о ленинской мудрости. Из головы это не шло, так что могло и почудиться, тем более что ночь сегодня не спал... Шел, говорит, вот мимо, остановился поглядеть, сколько ночью руды отгрузили. Пригляделся — да и увидел Владимира-то Ильича... Конечно, это случай, что руда так чудно осыпалась, такое сходство получилось. Но нам, говорит, дорогие товарищи, это явление природы как будто напоминает, что Ленин всегда с нами, в нас живет, поэтому мы так и признаем его тут». Это он, конечно, говорит, чтоб не подумал народ, что какое-то святое чудо произошло. Просто случай, который надо правильно понимать. И мы, конечно, поняли это, Тут еще народ подошел к нам, останавливается. И как кто вглядится, так сразу признает — Ленин. И вроде летучий митинг у нас тут на взгорье произошел, много горняков собралось. Михаил Авксентьевич пояснил, как надо понимать это дело. И тут стали все говорить, что хорошо бы отвал больше не трогать, пусть в таком виде постоит, хотя, конечно, руду и надо отгружать. Тут гудок прогудел, мы отправились в гору, на смену. А Михаил Авксентьевич остался. Из штольни люди вышли, и там, возле отвала, наверное, опять народ собрался, потому что в раскомандировке уже пошел разговор. А в забоях и было разговору только об этом деле. Конечно, не все правильно это понимали. Кто как о чуде говорил, а другие — что это просто обман зрения, внушение. Ну, когда вечером шли мы с работы, снова остановились, долго смотрели. Ленин и Ленин, все, как на портрете, точно...

Рассказчик замолчал, должно быть, свертывал новую цигарку.

— И что ж он, Ленин-то, и сейчас стоит? — спросил из темноты молодой голос.

— Я уж месяц как дома не был, так что не знаю в точности. Был начальник комбината вскорости, дал приказ не трогать отвал. Фотографы приезжали из Сталинска, снимали. Я так думаю, что если не тронули, так должен стоять. Потому что руда слежалась, смерзлась и может до весны простоять в таком виде...

Рассказ этот меня очень заинтересовал и взволновал. Вероятно, об этом и писал мне Аркаша в своей открытке и торопил с приездом, чтоб успеть показать чудесный памятник.

Поезд подошел к станции, где ему предстоит часовая стоянка. Вместе с другими пассажирами я вышел из вагона в буранную ночь, озаренную багровыми отсветами обогатительной фабрики, расположенной невдалеке.

По глубокому снегу, сквозь буран я побрел на багровое зарево, стоявшее над фабрикой. Составы порожняка и хопперов, груженных горячим агломератом, стояли у подножия высоких башен — печей фабрики. Здесь было светло от многочисленных электрических огней и золотисто-алого, синего пламени раскаленного агломерата, непрерывно ниспадавшего огненными реками по широким железным желобам из бункеров прямо в хоппера.

Буран раздувал алое пламя над горячим агломератом, снег, падая на раскаленную руду, испарялся, и пар клубами валил от состава, который прошел мимо.

В эту морозную, буранную ночь фабрика, как всегда, работала на полном ходу. Мощным потоком текла железная руда из недр Страны Темира к кузнецким домнам, неугасимо пылающим и при сорокаградусных морозах. Грохочущими потоками сквозь тьму и метель мчались по Стране Темира поезда с рудой, углем, сталью и коксом. От рудников и шахт, от заводов они растекались по всей стране.

Так думалось мне, когда я сквозь пургу вгляды-

вался в работу, озаренную жарким сиянием агломерационных печей.

Прежних соседей в вагоне я уже не застал, они, видимо, перешли в другой вагон; на их местах сидели новые пассажиры и при свете свечки закусывали.

Я пожалел, что не смог познакомиться с рассказчиком, который так хорошо говорил о Ленине и, вероятно, мог бы поведать еще много интересного. Забравшись на свою полку и отогревшись, я быстро уснул... И сон мой был полон видений: сказочно пылали в снежных просторах гигантские печи, бурлили огненные реки, и среди этого снежного и огненного царства великаном шагал Ленин...

ГОРОД НА КОНДОМЕ

Проснулся я, когда поезд уже подходил к Таштаголу. Буран утих, ясное зимнее утро голубым светом било в завьюженные окна вагона.

Я вышел в тамбур. Не терпелось скорей увидеть Таштагол: что здесь произошло — в этих высоченных, заросших вековыми хвойными дебрями горах, где несколько лет тому назад на пустынном берегу Кондомы мы с геологом Смолиным разговаривали о будущем?

Открыв дверь, я выглянул — и, конечно, не узнал мест, по которым шел наш поезд. Он приближался к Кондоме. И первое, что меня поразило, была сама река. Бывает, что стремительные горные реки в особенно бурных местах, на перекатах, не замерзают и зимой. Вероятно, есть такие места и на Кондоме. Но здесь казалось, что река вообще не застывала, — черной лентой она извивалась среди ослепительной белизны снегов. Парок клубился над темной водой, он тек вместе с рекой среди снежных берегов.

Изменились и окружающие Таштагол горы. Высокие их вершины, как прежде, сливались с белым морозным небом, но исчезли на ближних взгорьях леса, которые прежде густо их покрывали. Черными крапинами пеньков, торчавших из-под глубокого снега, были осыпаны белые склоны. Лишь на самых верши-

нах гор высились редкие кедры и пихты, уцелевшие от порубки. По берегам реки, по обе стороны железной дороги рассыпались укутанные в снега улицы. Где началось это на диво разбросанное селение и где оно кончается? Веселые, свежей постройки домишки все выше и выше взбирались в горы, некоторые дерзко вскарабкались и прилепились у самых вершин. Застройщики, видимо, выбирали места поближе к строительному лесу.

Тайга же будто отступила, отодвинулась под этим напором строителей и угрюмо темнела на дальних горных хребтах.

А впереди, в узкой долине, стиснутой горными хребтами, развернулся широко и сам городок-рудник Таштагол, казавшийся издали игрушечным. Поезд стремительно мчался ему навстречу, и город по мере приближения все ширился и вырастал. Круто повернув, поезд наш, отрывисто гудя, устремился к мосту через Кондому. Мост этот возвышался как раз в том суженном месте, где когда-то был перекинут висячий узенький мостик, по которому мы с геологом Смолиным не раз переходили, чтоб взбираться к разведочным копрам, еле видным отсюда среди густого пихтача на вершине горы Таштагол.

Теперь и сама оголенная гора Таштагол стала будто ниже наполовину, вся от подножия до вершины обсаженная новыми постройками. Исчезла и острая вершина горы — она, очевидно, была срезана, выработана с верхним рудным горизонтом.

Поезд наш прогремел по гулкому мосту и, здороваясь с городом звонкими отрывистыми гудками, по берегу Кондомы помчался к станции, к высоким каменным сооружениям рудника.

По противоположному берегу Кондомы, у подножия гор, тянулась центральная улица молодого города, двухэтажные, бревенчатые дома еще не успели потемнеть от времени. По улице шло много людей, сновали грузовые автомашины.

Поезд наш уже врезался в скопление составов, груженных рудой, лесом, и порожних хопперов, платформ, заполнявших железнодорожные пути. Он остановился

подле высоких, похожих на железнодорожные мосты эстакад, у подножия огромной серокаменной башни дробильно-сортировочной фабрики. К фабрике примыкал кирпичный корпус электростанции, дымивший четырьмя широкогорлыми трубами.

Пассажиры хлынули из вагонов к приземистому, под пухлой снежной шапкой зданию вокзала и вдоль путей — на рудник и в город. Я вышел на перрон, еще не зная, куда мне двинуться, где отыскать рудоуправление или партком рудника. Но тут меня кто-то тронул за локоть. Передо мной стоял высоченный молодой человек в треухе, сдвинутом на затылок, и легкой телогрейке явно не по его высокому росту. Он, широко улыбаясь, протянул мне большую руку и басом сказал:

— Ну, здравствуйте! Вижу, не узнали.

— Аркаша?!

— Он самый, — еще шире улыбаясь и тиская мне руку, басил он. — Я вас второй раз выхожу встречать. Идемте ко мне. — И решительно взял у меня из рук чемодан.

Мой таежный спутник, подросток Аркаша. Аркадий, Аркадий Николаевич, как же он за эти семь лет вымахал и изменился! Не отрекомендуйся он мне сразу, я, конечно, не узнал бы его, да и сейчас еще не верилось, что это тот самый школьник Аркаша, с которым были мы в этих местах незадолго до войны.

Аркадий взял меня за локоть и повел вдоль путей.

— Что же, ведь семь лет прошло, — говорил он. — Мне уж двадцать второй год. Здесь, на руднике, третий год...

По дороге он коротко рассказал о себе.

Отец его, как только началась война, был вызван в Москву и, получив какое-то специальное задание, ушел в плавание на одном из кораблей Северного флота. В начале сорок второго пришло известие о его гибели. Мать решила переехать в Томск, к своим родственникам — вблизи своих легче переносить обрушившееся на семью горе... Аркаша, окончив семилетку, попытался, чтоб поскорей попасть на фронт, посту-

пить в артиллерийское училище, но не прошел по здоровью, да и по возрасту. Тогда он поступил в горный техникум, кончил ускоренный, по военному времени, курс за два с половиной года и по его просьбе получил направление сюда, на новый рудник. И вот он работает горным мастером... А мать с Зоей, сестренкой, живут в Томске, но летом собираются переехать сюда...

Мы шли по деревянному мосту через Кондому, и я не утерпел, остановился, чтоб заглянуть в реку, над которой поднимался белый парок. Сквозь прозрачную стремительную воду ясно проглядывалось каменистое дно. На больших камнях, выступавших из воды, лежали пухлые подушки снега. Вдруг под одной такой шапкой раздался мелодичный птичий крик, из-под снега выскочила белогрудая небольшая птица. Она беззаботно перепорхнула на другой камешек и, вглядевшись в воду, вдруг нырнула с него, погнавшись за какой-то живинкой. Вынырнув, преспокойно поплыла по течению, будто это было летом, а не в тридцатиградусный мороз...

— Аляпка, — сказал Аркадий. — Они тут зимовать начали, с тех пор как Кондома не стала застывать...

— Почему же она не застывает?

— Благодаря нерасчетливости наших энергетиков и теплотехников, — вдруг раздраженно проворчал Аркадий. — Бесхозяйственная трата тепла, которого бы хватило, наверное, на отопление всего поселка... Сколько раз уже и говорилось и писалось об этом, но пока — видите, течет себе, утекает. Специально на удивление путешествующим репортерам и фотографам. — Аркадий лукаво покосился при этом на меня.

Я не понял и попросил объяснить толковее.

— Да ведь это же, собственно, не Кондома тут течет, а новая река вон от нашей электростанции. — Аркадий оглянулся назад и махнул рукой на вздымавшиеся за железнодорожной станцией четыре трубы, из которых медленно клубился черный дым. — ЦЭС берет ежесуточно из Кондомы десятки тысяч ведер воды для своих паровых котлов, а затем возвращает воду уже нагретой. При проектировании и строительстве станции, наверное, из-за спешки не подумали об ис-

пользовании этой горячей воды на производственные и коммунальные нужды... Но скоро эта ошибка будет, конечно, исправлена, проложим теплопровод и на рудник и в поселок... Так что об этой теплой реке лучше не пишите, а то можете оскандалить и себя и нас; это не чудо новой природы, как может показаться приезжему, а наша недоработка, — назидательно заключил свои объяснения мой дальновидный друг.

Он, кажется, стал очень серьезным и деловитым человеком, не расположенным к романтическим домыслам.

— Значит, никаких чудес? — спросил я не без некоторой задней мысли. — А вот вы, Аркаша, писали мне о каком-то чудесном явлении на руднике...

— Да, это действительно чудесное явление, и вы его сами увидите скоро,— ответил без смущения Аркадий. — Если бы вы не торопились, вам бы пришлось увидеть это только на фотоснимке. Помните мой «фотокор», он еще жив у меня, старик...

Я еще в поезде догадался, что Аркадий имел в виду, загадочно сообщая о «чудесном явлении», но сейчас не подал виду, чтоб не лишать своего друга, любителя неожиданных эффектов, удовольствия поразить меня сюрпризом. Впрочем, мне уже и самому не терпелось проверить собственными глазами услышанный в вагоне рассказ, поскорее увидеть памятник Ильичу. Стараясь скрыть нетерпение, я предложил:

— Может, мы и начнем, Аркаша, с осмотра того, о чем вы мне писали?

— Так мы же и идем к нему, — ответил он. — Вот сейчас будет видно.

По железнодорожным путям мы прошли мимо рудничных эстакад и огромных бункеров, куда поступает из штольни добытая руда. Я старательно смотрел на рудные отвалы возле эстакад. Почти все они были наполовину уже отгружены, лишь один возвышался пирамидой неправильной формы, эту пирамиду, видимо, еще только начали сгружать.

Ничего похожего на то, о чем рассказывал в вагоне и чем, наверное, собирался меня поразить Аркадий, в этих отвалах я не заметил. Может быть, речь шла

о каком-то другом рудном холме, куда, возможно, и вел меня Аркадий.

Мы поднимались в гору, к рудничным сооружениям. И тут Аркаша остановился, повернулся лицом к железнодорожным путям и эстакадам и, эффектно выбросив руку, торжественно произнес:

— Вот, смотрите!

Он указывал на тот самый высокий отвал дробленой руды неправильной пирамидальной формы, мимо которого мы прошли. Отсюда осыпавшаяся вершина отвала на фоне отдаленных снежных взгорий немного напоминала огромную человеческую голову.

— Вот. Видите?! — повторил Аркаша. — Ведь вылитый Ильич!..

Я же, как ни напрягал зрение, не мог различить запечатлевшихся с детства дорогих черт ленинского облика. И смущенно признался в этом Аркаше.

— Ну как же так? — с искренним недоумением вскричал он и уставился на меня своими по-прежнему детски чистыми серыми глазами.

— Может, это с первого взгляда нельзя уловить, надо как следует присмотреться, — попытался я утешить Аркашу.

— Видно, вы уже опоздали — руда начала осыпаться и немножко изменила форму... А я вот как в первый раз увидел, так и сейчас перед глазами сохранилось все. Ну настоящий же Владимир Ильич в профиль! — горячо утверждал Аркаша. — Вы еще приглядитесь, попристальней.

Нет, не видел я того, что видел Аркадий, может быть и потому, что не был еще настоящим таштагольцем.

— Ладно, я вам покажу фотоснимки мои, в первые дни фотографировал, и с разных точек. Может, тогда будет яснее, — мягко, не желая, видимо, огорчать гостя, сказал несколько остывший и поскучневший Аркаша...

Мы дошли до дома, где он жил, поднялись на второй этаж. В чистой, теплой комнате стояло три койки, большой стол, на котором лежала чертежная доска с приколотой на ней калькой.

— Живем трое, все техники, — сказал Аркаша. — Вы будете спать на моей койке, а я с Володей на одной... Это уже все подготовлено — и никаких разговоров! — заметив мое смущение, сказал Аркадий. — Давайте умывайтесь, располагайтесь. И пойдем в столовую, а оттуда — в гору...

Было что-то в Аркашином тоне и даже облике от Всеволода Ивановича Гайворона — его первого таежного воспитателя.

После завтрака, перед тем как отправляться на рудник, я, по старой журналистской привычке, решил побывать в парткоме, поговорить с Михаилом Авксентьевичем.

— А вы что, с Михаилом Авксентьевичем знакомы? — спросил Аркадий.

Я рассказал ему о ночном разговоре в вагоне.

— Хороший он человек, — сказал Аркадий. — Инженер-горняк, очень знающий и хороший практик. Во время войны он был техноруком рудника. Работать с ним прямо приятно. Очень тянул нас, молодых техников. Ведь я, например, что? Кончил ускоренный курс, так верхушки кое-какие, а не знания. Да и на практике работал всего полтора месяца. И когда пришел в забой, так даже страшно стало: ни черта ж почти не знаю, не умею, а должен руководить работой — ведь я же штейгер, горный мастер. Михаил Авксентьевич это сразу заметил. И первое время почти всегда бывал около меня, когда я задание бригадам определял, разбивал участки. Незаметно кое-где подправит, кое-где осторожно одернет. Будто все самостоятельно делаешь, но техника, его руководство постоянно чувствуешь над собой. А часто после смены оставит нас, нескольких молодых, возьмет план забоев, расчеты и начнет рассказывать, так что после этого на неделю, а то и больше видишь вперед и работу всей шахты, и своего участка, и свою собственную... Я вот сейчас готовлюсь к вступлению в партию — Михаил Авксентьевич помогает...

По тому, как сразу, при одном упоминании имени парторга, Аркадий горячо разговорился о нем, я по-

нял, что он по-юношески влюбленно относится к Михаилу Авксентьевичу.

— Да не один я так, — продолжал Аркадий. — Вся молодежь, комсомольцы его любят. И старые горняки ему верят, потому что он дело горное глубоко знает, и в людях умеет разбираться, умеет направить человека; а уж насчет идейной подготовки, насчет теории — будьте уверены, на руднике самый подкованный...

Мы подошли к двухэтажному зданию рудоуправления.

Аркаша, указав, как пройти в партком, убежал на раскомандировку, где ему надо было что-то спешно сделать, и сказал, что через некоторое время зайдет за мной.

Я отыскал комнату парткома на втором этаже и, постучавшись, приоткрыл дверь.

— Давай, давай входи, я уже поджидаю, — послышался из глубины комнаты голос.

Я вошел. За столом вполоборота к окну, углубясь в книгу, сидел плечистый и, видимо, рослый человек с еще молодым бровастым лицом и тронутой сединою черноволосой головой. Дочитав страницу, он оторвался от книги и, взглянув на меня, смущенно привстал.

— Извините, я думал, что это Гатин пришел, — сказал он, протягивая мне руку. — Я ему консультацию назначил по истории партии и вот ждал.

Я отрекомендовался, и он пригласил меня сесть. Аркадий, пожалуй, прав: что-то в Михаиле Авксентьевиче сразу располагало к нему. Добыв из кармана черного кителя расческу, он пригладил и без того аккуратно зачесанные волосы, потер пальцами, видимо, уставшие от чтения глаза и приготовился меня слушать, положив большие узловатые руки на стекло стола. Книга, которую он отложил, была двадцатым томом сочинений Ленина. На темно-алой корочке книги отчетливо выделялся выпуклый медальон с ленинским профилем. И тут перед моими глазами возник высокий холм железной руды, в очертаниях которо-

го таштагольцы видели сходство с профилем Ильича. Глядя на маленький барельеф, вытесненный на книге, и мысленно сравнивая его с рудным отвалом, я вдруг начал улавливать удивительное совпадение черт ленинского облика. Чтоб еще раз проверить это, я взял книгу в руки и еще внимательней вгляделся в маленький барельеф Ильича, мысленно накладывая его на гору руды.

— Ага, понимаю, что вас сейчас занимает и, возможно, привело к нам, — немножко смущенно сказал парторг. — Уже видели? Ну и как, находите? Похоже?

Я ответил, что одним из поводов моего приезда было сообщение Аркадия Огородникова и что я уже был возле отвала, но с первого взгляда не смог уловить черт ленинского профиля в вершине рудного холма; а вот сейчас, глядя на эту книгу, я, пожалуй, начинаю что-то различать.

Рассказал я и о разговоре, услышанном в вагоне.

Парторг встал из-за стола, подошел к угловому окну и знаком подозвал меня.

Из окна вершина отвала на фоне заснеженных гор и неба более явственно напоминала очертания человеческой головы.

— Отсюда сходство с профилем Ильича почти не улавливается, — сказал парторг. — Тем более что сейчас уже произошла деформация, руда начала осыпаться... Надо смотреть со взгорья, будет гораздо отчетливей, явственней. Все дело в точке зрения, так сказать... Да, именно в точке зрения. Ведь, может быть, этого поразительного сходства не заметили бы ни я, ни другие, если бы случайно не нашли точку зрения.

Михаил Авксентьевич помолчал, вглядываясь в силуэт головы на рудном холме.

— А знаете, событие это сыграло известную, может быть, даже очень большую роль. Ведь особенно в первые дни, тут и днем и вечером останавливались горняки. Облик Ленина еще глубже запечатлелся в душах людей. А это, я думаю, не могло не отразиться и в думах людей, в поступках их. Вот, скажем, вскоре приходит ко мне старый наш проходчик, коммунист Голышев.

И просит у меня биографию Владимира Ильича, чтобы прочитать ее в своей бригаде. Бригада Голышева сейчас занимает ведущее место в соревновании горняков. В забоях долгое время не смолкали разговоры о Ленине. Мне самому пришлось и на раскомандировке и прямо в забоях не раз рассказывать о Владимире Ильиче. Я думаю, что беседы наши о Ленине, о ленинском учении, о производительности труда сыграли свою роль в том, что рудник уже третий месяц перевыполняет план добычи руды. Сейчас бригады дают коллективное обязательство выполнить январский план к Ленинским дням. Это движение захватывает весь рудник.

Парторг говорил спокойно, деловито, но я чувствовал его сдержанное волнение.

— Вы понимаете, передо мною самим все это как-то необычайно глубоко и ярко раскрыло силу обаяния светлого образа Ильича на души наших советских людей, — сказал он задумчиво. — Вы понимаете, словно живой, Ленин вошел в думы и дела живых...

Да, здесь, в комнате парткома, из скупого рассказа парторга рудника я понял, какие неписаные поэмы рождает сама жизнь.

Как бы угадывая мои мысли, Михаил Авксентьевич, повернувшись от окна, пытливо и прямо пригляделся ко мне и, усмехнувшись, сказал:

— Что, брат, думаешь? Вот-де, мол, низовой партработник в поэзию ударился, развел на руднике лирику какую-то... Нет, дорогой товарищ, тут жизнь, сама жизнь. Хотя случай этот и чудесный, но наш долг — партработников, пропагандистов — всеми средствами нацеливать людей на большие дела, обращать, брат, и поэзию, «в сверхплановые тонны руды». Понял?

Парторг прошелся по комнате.

— Вот ты говоришь, что слышал в вагоне рассказ о памятнике Ленина. Значит, пошло это в народ, людские души шевелит, — заговорил он снова. — Наверное, где-нибудь в улусе будут вскоре рассказывать легенду о том, как Ленин в Таштагол пришел. Это уже домысел будет, но он же рожден жизнью, любовью

народной к Ленину. И поднимет эта легенда еще многих людей на подвиги... Вот у нас на руднике, в забоях, создались ленинские бригады. Это, брат, и нужно. Пускай нам поэты наши, писатели такое дают в руки, чтоб поднимало народ. Правильно я думаю или нет?!

В это время в комнату вошел полный и румяный человек средних лет в огромной мохнатой ушанке, полушубке и серых валенках.

— Слушай, Михаил Авксентьич, ты на седьмом участке был? — прямо с порога начал он хрипловатым тенорком, отпыхиваясь. — С нарезкой они опять отстают. Ведь говорил, что туда надо поставить крепкую бригаду, из опытных бурщиков... А эти твои сосунки, только тормозят дело.

Видимо посчитав меня кем-то из здешних работников, он, не глядя, сунул мне теплую руку, прочно сел на скрипнувший под ним стул против парторга, сдернул и бросил себе на колени ушанку.

— Ну какой еще бригадир из Морозова, мальчишка же совсем, — продолжал он ворчливо, осуждающе.

— Погоди, Степан Иванович, вот познакомься с товарищем из Новосибирска, — смеясь, остановил его Михаил Авксентьевич. — Главный инженер рудника, — представил он толстяка.

— Будем знакомы. Значит, из Новосибирска? Очень интересно, я же сам новосибирец, понимаете, но давненько там не был. — Круглое румяное лицо Степана Ивановича расплылось приветливой улыбкой, он не выпускал моей руки, подавшись ко мне вместе со стулом. — Вы уж, пожалуйста, расскажите, что там у нас... Говорят, чудный оперный театр, филиал Академии наук и так далее... Мы же тут только по радио, только на слух, а не глазами...

Уступая его настоянию, я рассказал о Новосибирске. Степан Иванович внимательнейшим образом слушал, смежив припухшие веки.

— Ну и на том спасибо, — сказал он наконец. — Все-таки очень приятно встретиться с земляком, узнать

о «Большой земле» из уст очевидца, так сказать... А что вас интересует по руднику?

— Товарищ здесь не впервой, — пояснил за меня Михаил Авксентьевич. — Бывал в Таштаголе еще до войны. А сейчас приехал посмотреть на то, что тут сделано.

— Что же, чем богаты, тем и рады поделиться, — с готовностью ответил Степан Иванович.

Коротко, но очень точно он рассказал о работе рудника: о выработке верхнего горизонта рудного тела, о закладке вертикальной «слепой» шахты для вскрытия нижних горизонтов месторождения, о механизмах, с помощью которых ведется добыча руды, о выработке лучших горняцких бригад.

Поднявшись, он подошел к окну, в которое виднелись основные рудничные сооружения.

— Вот когда я приехал сюда, — сказал он, — этого ничего не было. Шла война. Почти голыми руками, на голом месте добывали руду. Работали открытым способом. Зимой, в морозы, при снежных заносах. Не хватало техники, не хватало людей. Компрессор не подавал воздуха, пневматика барахлила. А работали больше подростки, одежда плохонькая. Но добычу повышали из месяца в месяц. Завод все требовал и требовал — руды, руды! Магнитогорскую руду возить на завод становилось все тяжелей. А наша таштагольская руда идет ведь прямо в домны без обогащения, в отличие от тельбесской и темирской. Во время войны мы форсировали изо всех сил добычу руды.

— Но еще труднее пришлось, пожалуй, после войны — а, Степан Иванович? — вмешался в рассказ парторг. — За военные годы мы гнали добычу, а подготовительные работы запустили, вернее — не было ни сил, ни времени ими заниматься. Зато с зимы сорок шестого года пришлось полным ходом двинуть капитальные работы. Старались и руду давать в больших, чем прежде, масштабах и строить, строить. Двойные усилия, двойное напряжение при тех же по существу силах и возможностях.

— После войны мы и подняли все это, — указал

Степан Иванович в окно на дробильно-сортировочную фабрику, электростанцию и белый корпус рудничного комбината. — Эксплуатационникам надо готовить новый, более широкий фронт работ. Ведь до того как вступят в строй Шалым, Шерегеш, в основном наш рудник должен снабжать завод рудой... Главное — надо осваивать, полнее использовать богатую механизацию, какой оснащен наш рудник.

— Главное, Степан Иванович, надо людей наших поднять на новые, большие дела, весь коллектив горняков.

— Ну, насчет людей — это уж твоя задача, Михаил Авксентьевич, — сказал, надевая шапку, главный инженер. — Мне пора идти.

— Нет, позволь, позволь, Степан Иванович, — остановил его парторг. — С людьми надо всем работать... Вот я посмотрел, у нас в индивидуальных забоях исключительно старики бурщики — Белкин, Стариков, Костерин, другие. Слов нет — мастера, хорошо работают, у каждого своя, можно сказать, горняцкая школа работы, свой большой опыт. Но их как-то изолировали каждого в своем забое, отгородили немножко от всего коллектива, от молодежи... А что, если нам дать индивидуальные забои и лучшим бурщикам из молодых, например Кондрабатому, братьям Лозенко, еще некоторым комсомольцам, да по соседству со стариками? Фронт работ теперь это позволяет.

— По-моему, рановато, — покачал головой Степан Иванович. — В индивидуальный забой надо ставить людей проверенных, с гарантией, и как показательный пример для молодежи. А молодые пусть еще врабатываются, учатся в бригадах.

— Тут у тебя, Степан Иванович, неверный подход, — суховато возразил парторг, и по тону его было понятно, что разговор этот между ними уже затевается не впервые. — По-моему, принципиально неверный подход... У нас на руднике в основном молодежь, судьба добычи, развертывания рудника, в конце концов, решается именно молодежью. Значит, и надо смелее выдвигать на передний край основные наши силы — молодняк.

— Ну что ж, вот приедет сам управляющий, давайте подумаем вместе насчет новой расстановки сил, посоветуемся, как лучше, — с некоторой затяжкой ответил Степан Иванович. — А с бригадой Морозова надо все-таки разобраться, наладить, понимаете, дело на седьмом участке.

Он попрощался со мной и вышел.

Михаил Авксентьевич некоторое время молча глядел вслед ушедшему, потирая пальцами виски.

— Хороший инженер, работяга, каких поискать, — тепло заговорил парторг. — Но, как и некоторые другие наши специалисты, сводит все дело только к механизации, озабочен прежде всего выполнением плана добычи руды сегодня. Поэтому и видит в забоях только свои механизмы да людей, которые сегодня дают наиболее высокую выработку. Вы почувствовали его недоверие к молодежным бригадам? А между тем главное для нас сейчас состоит в том, чтоб из молодежи, в том числе из местного населения, подготовить крепкий, боевой отряд рабочего класса, кадровый коллектив горняков. К этому делу надо привлечь и все силы наших старых кадров, ветеранов горняцкого дела, наших мастеров добычи, таких, как Белкин, Голышев, Стариков. Молодежь у нас хорошая, растущая. Горячая на дело. Уже и сегодня среди молодых горняков есть немало бурщиков, забойщиков, которые начинают подтягиваться к нормам самых опытных наших мастеров. Есть молодежные бригады, целые участки, которые уверенно набирают силу, чтоб держать первенство по руднику. Молодые горные мастера, пришедшие на рудник в конце войны, сейчас прочно встали на ноги.

Михаил Авксентьевич встал из-за стола, прошелся по комнате, поглядел в окно и, словно увидев кого-то там, продолжал:

— Вот, например, комсомолец Аркадий Огородников пришел в забой прямо-таки зеленым юнцом. А сейчас он один из наших лучших горных мастеров, и я думаю, что его пора ставить на участок, будет хороший начальник участка...

Я перебил Михаила Авксентьевича и коротко рассказал ему историю моего знакомства с Аркашей. Парторг тепло сказал:

— Да ведь и тут, в забое, с ним пришлось немало повозиться. Очень гордый и порывистый паренек, тяжко ему было сознаваться в своем незнании и неопытности. Случалось, очень осторожно укажешь на какой-нибудь его промах — и чувствуешь, что это ему как удар по лицу... Сейчас стал спокойней, потому что больше уверен в себе, больше знает дело. И как человек вырос, созрел. Думаем его принимать в партию...

В это время в дверь постучали.

— Давай, давай входи! — кинул парторг.

Вошел Аркадий.

— Ага, товарищ горный мастер Огородников! — приветливо встретил его парторг. — Оказывается, вы давно знакомы. Что ж, давай принимай и занимай гостя. Покажи ему рудник, с людьми познакомь. А вечером приходите сюда, — обратился парторг ко мне. — Идет? — Он протянул мне руку.

Мы вышли с Аркадием из рудоуправления и направились к штольне. На взгорье Аркаша остановился.

— Давайте отсюда еще раз посмотрим, — сказал он, указывая вниз, на рудные отвалы.

Да, отсюда гораздо отчетливей, рельефней на фоне снегов и неба вырисовывались очертания человеческой головы на вершине рудного холма. Пожалуй, прав был парторг, говоря, что все дело в точке зрения. Я обрадованно кивнул Аркаше.

— Вот видите, видите! — удовлетворенно вскричал он. — Как будто специально изваянный, правда? А я вот еще вам снимок подарю на память, так совсем как скульптура Ильича!

Теперь и я взволнованно и ясно видел вдали родной, знакомый с детства ленинский профиль, очевидно, так же как парторг, как Аркаша, да и все люди рудника, подчиняясь могучему обаянию бессмертного образа вождя и учителя, живущего в каждом из нас, советских людей, в наших делах и помыслах, в нашей горячей живой жизни.

Мы вошли в бетонированную, освещенную висячими электрофонарями штольню, по которой то и дело проносились с грохотом электровозы с длинными составами вагонеток. По низко протянутым вдоль штольни троллейбусным проводам пролетали длинные голубые вспышки, освещая туннель серебристо-синим светом.

Электровозами, похожими на тяжелые железные сундуки, управляли, сидя в низеньких кабинках, девушки. Но вот мимо нас промчался состав порожняка; в кабинке электровоза сидел в горделивой капитанской позе паренек-шорец, правая рука его лежала на рычаге управления, а левой он помахал нам приветственно.

— Эзенок, Аркашка! — донесся сквозь гул поезда его голос. Мелькнули белые зубы и блестящие черные глаза на чумазом лице, да черный чуб, свесившийся из-под ушанки.

Состав, вильнув последней вагонеткой, с громом исчез в ответвлении штольни.

— Узнали? — спросил меня, засмеявшись, Аркадий, когда отдалился грохот электропоезда. — Я нарочно вам не говорил, чтоб устроить неожиданную встречу... Вот, черт, как гоняет поезд. Отчаюга!

— Кто же это?

— Да ваш старый знакомец, а мой давний приятель.

— Неужели Капчигай из Каларов?

— Ну конечно, он. Макар — знатный машинист электровоза, знаменитость у нас на руднике, на Доске почета красуется, — улыбаясь, сказал Аркадий. — И теперь уже не Капчигай, а Макар Кусургашевич Кусургашев. Назовете по-старому, так и обидеться может. Важничает — прямо не подходи.

Мне вспомнилось, как наш маленький проводник Капчигай, когда мы несколько лет назад шли по тайге вдоль строившейся железной дороги на Таштагол, говорил, что он непременно будет ездить на паровозе, когда откроется движение. И вот мечта его, видно,

сбылась: не на паровозе, а на более совершенной машине — электровозе ездит наш Капчигай...

— И давно он тут? — спросил я у Аркаши, подозревая, что не без его участия появился таежник Капчигай на руднике.

Аркадий рассказал мне о том, как забавно Макар устраивался на работу.

Когда в Таштаголе началась проходка первой штольни, Капчигай явился прямо к главному инженеру и заявил ему, что он, Макар Кусургашев, водил по тайге инженеров, с ними искал руду, знает горное дело, а потому желает поступить в помощники к самому главному инженеру. Конечно, главный инженер, человек не лишенный юмора, понял, с кем имеет дело, и ответил, что предложение товарища Кусургашева принимает. «Иди, говорит, в отдел кадров и оформляйся моим помощником, будем вместе ездить с тобой». Макар пошел в отдел кадров, где и получил назначение кучером к главному инженеру. Отправили его на конный двор и поручили ему лошадь главного инженера с упряжью. Но, дважды съездив с главным инженером, Макар понял, что он всего-навсего кучер, и запротестовал. Он хотел быть помощником инженера в делах, а не торчать на облучке безучастным возницей. Кончилось тем, что он, отвезя главного инженера в райком, тотчас повернул коня на конный двор, распряг его, поставил в стойку и покинул свою должность. Инженер, прождав его в райкоме час-другой, вынужден был вернуться в рудоуправление пешком. Конечно, он рассердился на своего кучера и хотел его тотчас уволить. Но Макара нигде не могли найти; решили, что он возвратился к себе в Калары. А на самом деле он отправился на станцию вести переговоры с начальством насчет устройства машинистом на паровоз. Но и там его разочаровали и посоветовали идти учиться в ФЗО. Макар вернулся на рудник и несколько дней проторчал около компрессора, ожесточенно дымя своей трубкой. Тут его и приметил Михаил Авксентьевич, бывший тогда технoруком шахты. Разговорился с сердитым пареньком и, выяснив его обиды, пообещал дать ему интересную работу. Как раз в это

время на рудник прибыли первые электровозы, были созданы курсы водителей. Михаил Авксентьевич и устроил на эти курсы понравившегося ему смышленого паренька. Через недельку Макар является к Михаилу Авксентьевичу и категорически заявляет: «Сади, меня на машину, я уже научился». Михаил Авксентьевич пошел с ним к электровозу. Посадили Макара на машину, начали проверять. Действительно, парень как будто неплохо управляет машиной. Ну и поставили его подсменным машинистом, чем он, конечно, очень гордился. А через некоторое время с ним случилась история, доставившая всем немало неприятностей. Подогнал он электровоз с порожняком к люку, по железному желобу которого спускается руда в вагонетки. Высунувшись из кабинки и оглядываясь назад, Макар на малой скорости стал медленно осаживать поезд, чтоб поставить вагонетку точно под желоб. И не заметил он, как голова его очутилась между желобом и стенкой электровоза; шею его так сдавило, что Макар сразу потерял сознание и выпустил рукоятку управления. Электровоз остановился. Подбежали люковые рабочие, но не знали, что делать. Хотели ломиком отвести желоб — не поддается, да и боязно, что железом может сильнее сжать шею Макару. И поезд не могут сдвинуть с места. А управлять электровозом никто не умеет, никто не знает, в какую сторону рукоятку повернуть, чтоб чуток отвести электровоз. Стоило бы поезду хоть на несколько сантиметров податься назад — голову Макару снесло бы как бритвой. Побежали за мастером и звонить по начальству. Но кто-то все-таки решился или догадался — очень осторожно отвел рукоятку управления. Электровоз подвинулся чуть вперед, и Макар, свободно вздохнув, снова потерял сознание. Прибежали десятник, мастер, Михаил Авксентьевич примчался. Стали Макара приводить в чувство. А он как очнулся, так сразу Михаилу Авксентьевичу и говорит: «Разве я плохо работаю, начальник? Скажи, что хорошо работаю, а то я умирать буду».

Михаил Авксентьевич говорит: «Конечно, хорошо работаешь, товарищ Кусургашев». Макар сразу под-

нялся. В больнице он все-таки неделю отлежал, поправился — и опять на электровоз, очень беспокоился, что кто-нибудь займет его место.

И с того же дня стал опять ходить на курсы водителей электровозов, закончил их отлично без отрыва от производства.

— Сейчас Макар учится на курсах мастеров социалистического труда, — закончил Аркаша свой рассказ. — Я его застал уже знатным машинистом. О нем и в газете писали. Взял обязательство выполнить пятилетку в два с половиной года. И наверняка выполнит...

Мы свернули с освещенной штольни в темный и сырой ходок. Аркадий взял из ниши в стене две карбидные лампы, зажег их и подал одну мне.

— Сейчас на мой участок пойдем, будет идти немножко трудней — сыро.

В это время упруго колыхнулась под ногами земля, донесся откуда-то глухой раскат взрыва, а через некоторое время холодная струя воздуха мягко толкнула в лицо.

— Ну вот, как раз и отпалку произвели в забое у братьев Лозенко, — сказал Аркадий. — Посмотрите, как они работают. Мои лучшие бурильщики, мировые ребята, двести — двести пятьдесят процентов ежемесячно дают. Они сами и отпалку руды производят, имеют права взрывников. Конечно, самим сподручнее. Сами бурят шпуры, располагая, как удобнее, разной глубины, соответственно крепости руды и клеважу. При этом они и взрывчатку закладывают так, как им удобнее. И потому берут руды значительно больше, чем другие, где отпалку производят особые подрывники.

По отвесному ходку, скользя в жидкой глине, мы взбирались куда-то вверх, карбидные лампочки слабо освещали дорогу. Несколько раз я, поскользнувшись, падал, а поднимаясь, больно ударялся головой о каменную кровлю. Аркадий же, гораздо выше меня ростом, шел свободно, видно давно освоившись с условиями путешествий по запутанным лабиринтам выработок, темным и низким, скользким ходкам. Все сильнее пахло сладковатым дымом взрыва. Аркадий, видно

для того, чтоб дать мне передышку, остановился, присел на корточки и сказал:

— Не станем торопиться. Выработки еще не проветрились после отпалки, с непривычки угореть можете.

Я спросил, бывают ли случаи, что угорают от взрывного газа сами рабочие.

— Бывают, но очень редко. И главным образом из-за излишней спешки. Вот недавно Алексей Мижаков, бурильщик, угорел. Но почему? Так разгорячился, что не стал ждать, когда забой как следует проветрится, полез разбирать нависший после отпалки купол, ну его там и прихватило, видимо скопился газ. Пришлось беднягу вытаскивать оттуда. Подышал сквозь мокрую тряпицу и отошел.

— Алексей Мижаков? Не тот ли это Алексей, с которым мы когда-то плыли в карбузе по Мрассу? — спросил я.

— Он самый. Вернулся из армии в конце сорок пятого, грудь в орденах. Пришел к нам на рудник, начал работать проходчиком, окончил вечерние курсы и уже год работает бурильщиком... Сейчас он один из передовых бурильщиков на руднике, собирается закончить свою пятилетку в два с половиной, к июню этого года. Кажется, он сейчас в отпуске, уехал погостить к родным в Кабырзу.

Я рассказал Аркадию о фронтовой встрече с Мижаковым.

— Да он и здесь называет себя гвардии бурильщиком, — сказал Аркадий. — Хорошо работает.

В глубине ходка, по которому мы пробирались, обозначилось белое пятно, которое с нашим приближением все светлело и светлело. Ходок вел к ярко освещенной выработке, откуда уже доносились глухие удары железа о железо, шипение сжатого воздуха. Мы вошли в забой, ярко освещенный электрическими лампами. В забое работало несколько человек. Лопатчики откидывали подорванную руду на «грохота», где грохотчик тяжелой кувалдой разбивал крупные куски, не проходившие через отверстия решетки. У отвесной рудной стенки на деревянном помосте стоял бурильный

станок, и около него что-то делал горняк в брезентовой прозодежде и шляпе, похожей на шлем танкиста. Он заметил нас и поднял от станка голову. На запыленном сером лице его блестели черные молодые глаза.

— Ну, как дела, Дмитрий Федорович? — спросил Аркадий, протягивая ему руку.

— Дела — как сажа бела! — распрямляясь, ответил горняк и рассмеялся. — Идут дела, товарищ начальник. Вот только что-то воздух слабовато подают, — он кивнул на толстый шланг, от станка уползавший куда-то во тьму. — А руда тут крепкая попала — бур тихо идет.

— Где же Иван Федорович? — спросил Аркадий.

— А вон кровлю обирает, — Дмитрий указал вверх направо, в темноту, откуда слышались удары обушка о руду.

— А что там, бунит? — спросил Аркадий и для меня пояснил: — В кровле бывают пустоты такие или трещины. При ударах по пласту они дают особый звук.

— Да, маленько бунит, — ответил Дмитрий и закричал: — Иван, а Иван, как у тебя там?

Стук обушка прервался, и сверху глуховато донеслось:

— Сейчас кончу, угол обстукаю.

— Это братья Лозенко и есть, — сказал мне негромко Аркадий. — Младший вот, Дмитрий, бригадир.

Дмитрий Лозенко снова склонился к станку.

— Передохнем, Дмитрий Федорович, — обратился к нему Аркадий, должно быть, затем, чтобы вовлечь бригадира в беседу.

— У нас уж был передых, — не отрываясь от дела, ответил бригадир.

— Видали, какой! — тихо и смущенно сказал мне Аркаша. — С Лозенками здесь не разговоришься. Каждая минута на счету.

— А кто же за нас работать будет? — сказал Дмитрий Федорович, видимо расслышав наш разговор.

По расстрелам — деревянным толстым распоркам между стенками забоя — спустился сверху Иван Лозенко, коренастый и чернобровый, очень похожий на

брата. Он молча кивнул нам и взобрался на помост к станку.

— Бур заправил? — спросил он у брата.

— Готово.

— Ну, так начинать надо.

— Сколько, Дмитрий Федорович, у вас уходу за вчера и сегодня? — спросил Аркадий.

— Два с половиной метра...

Застучал мотор, засвистел сжатый воздух. Дмитрий на руках поднял станок и отвесно направил штангу бура в стену забоя. Заскрежетала сталь, впиваясь в руду. Иван Лозенко подготавливал толстые березовые сутунки, видимо для подъема помоста, на котором стоял его брат.

Аркаша, вынув из кармана рулетку, занялся обмером забоя, затем что-то высчитал в уме и подошел ко мне.

— Вот ведь работяги хитрущие, всегда так! — смеясь, сказал он мне на ухо и подозвал Ивана Лозенко.

Тот подошел к нам вплотную, чтоб слышать, так как забой наполнился гулом работающего станка.

— Что ж это, Иван Федорович, опять вы метр с лишним утаиваете? — сказал Аркадий. — Я вот замерил, и выходит не два с половиной метра уходу, а около четырех.

— Это дело не мое, а бригадирово, — хитровато ухмыльнулся Иван.

Дмитрий в это время выключил бур и, меняя положение тела и станка, глянул в нашу сторону.

— Ну, чего там? — кинул он.

— Опять хитришь, Дмитрий Федорович, ведь около четырех... — начал было Аркадий.

— Два с половиной! — отрезал бригадир.

— Да я же сам замерил сейчас...

— Два с половиной!.. Мабудь, чуток поболе. Ну зачем наперед ухмыляться? — Дмитрий усмехнулся столь же лукаво, как его старший брат. — Вот месячный план к двадцатому числу дадим, тогда и будем подсчитывать, сколько сверх плана. А сейчас — два с половиной, по норме.

Он снова включил станок и, навалясь на него грудью, яростно направил бур в руду.

— Вечером приходите к нам до хаты! — закричал он, перекрывая гул станка. — Приходите, побалакаем про все... Жинки добрую медовуху сготовили.

— Вот какие братцы! — не скрывая своего восхищения, сказал мне Аркадий, когда вышли из забоя. — Замечательные парни, широкие натуры...

ПУТЬ НА ВЕРШИНЫ

Вечером я пошел в райком партии, чтоб договориться о поездке на строительство новых рудников — в глубь Шории, на Шалымский рудник, который уже, как мне говорили, сдается в эксплуатацию... Принял меня второй секретарь.

Немолодой шорец, с черными усами и седеющей головой, в черной гимнастерке, сидел за столом и громко разговаривал по телефону, по-видимому, с каким-то отдаленным пунктом района; он, напрягая голос, повторял по нескольку раз свои слова и громко переспрашивал. Говорил он по-шорски, часто вставлял и русские слова: «план», «разнарядка», «материалы», «увязка» и т. п. Увидев меня, секретарь, не прерывая разговора, кивком пригласил садиться. Минуты через три, положив трубку, он облегченно передохнул, поднялся и протянул мне руку.

— Тимофей Иванович Распаев, — отрекомендовался он. — Мне про тебя уже говорили из рудоуправления... Какая нужна помощь, говори, сделаем что можем.

Я изложил свою просьбу. Тимофей Иванович сказал, что он как раз сам собирается завтра поехать на Рудстрой и поэтому охотно прихватит с собой меня.

— Я там давно не бывал, однако, месяца полтора, — сказал он. — А жизнь у нас, друг, такая — за неделю можно отстать. Очень быстро живем. Понимаю, вашему брату тоже трудно. Сегодня напишешь про нас, про нашу жизнь, а мы завтра будем читать и критиковать тебя. Рассказываешь нам только о пережитом,

о пройденном уж, а нам больше надо — чтоб вперед далеко было видно... давай завтрашний день...

Он остановился возле самодельной карты района, висящей на стене за его столом, заложив руки за спину, постоял, вглядываясь.

— Вот говоришь, что был у нас накануне войны, сейчас ничего не узнаешь, все по-новому. Так ведь это же почти десять лет, удивляться нечему. Я вот сам шорец, все время живу здесь, всю Шорию знаю с детства. А случится уехать на месяц-два, приезжаю — и приходится догонять жизнь, чтоб снова к ней подключиться на ходу.

Ладонью он прикрыл на карте место расположения Таштагольского рудника:

— Тут были горы, тайга, дикая Кондома — это уже далекое прошлое. — Он отнял ладонь от карты. — Сейчас видишь ты большой рудник — Таштагол, который скоро будет городом. В нем уже несколько тысяч жителей, каждый день населения прибавляется, новые улицы строим.

Распаев снова положил ладонь на карту, несколько выше центра района:

— Вот тут сегодня горы, тайга, много речек, много камня. Когда мы поедем, сам увидишь: там большая жизнь идет, на карте ее еще не видно, только два-три кружка — Шалым, Шерегеш... Но тут и сегодня можно уже увидеть завтрашнее. Вот здесь будет новое большое дело, которое пока понятно только нам, потому что мы уже сегодня должны думать, как будем там строить, работать. С виду это будто б районные дела, а на самом деле они касаются всей нашей страны. Потому что мы подключаем Горную Шорию к социализму, все ее богатства поднимаем на службу нашему советскому государству. Вот, друг, какими масштабами надо нам жить, думать. Такая у нас жизнь.

Да, я и сам уже давно это понял. Именно здесь, в Горной Шории, видел я, как быстро мечта, замысел, проект становятся былью, рудником, городом. Сталинск, Таштагол являют самые убедительные примеры этого стремительного свершения наметок и проектов пятилетних планов.

И в Распаеве, простом райкомовском работнике, в человеке, жизнь которого с утра до полночи заполнена живой оперативной партийной работой, раскрывалась характерная черта людей Страны Темира — увлеченность будущим, которое очень ясно видится им сквозь их повседневные заботы, способность в сегодняшних своих будничных делах видеть осуществление высоких замыслов партии, государства.

День выпал морозный, и в фанерный кузовок «газика» мы уселись, натянув на себя тулупы.

Сразу за Таштаголом машина пошла по глубокой выемке в сугробах, по долине Кондомы. Справа на высокой насыпи, возле отвесно обрезанных скал, вилась железная дорога — из Таштагола в Сталинск.

Выемка, по которой мчался наш «газик», была столь узка, что я вначале понять не мог, как мы будем разъезжаться со встречным транспортом.

Перед поворотом шофер дал долгий гудок.

— Сейчас разъезд будет, — угадав мое недоумение, сказал Тимофей Иванович.

За поворотом стало видно ответвление дороги — метров на двадцать в большой сугроб, и в этом углублении стоял грузовик, а за ним подвода — пара закуржавелых лошадок, запряженных «гуськом» в воз сена.

Предупрежденные нашим гудком, они освободили дорогу. Дальше и мы свертывали в такие ниши — разъезды, когда впереди замечали подводу или слышали из-за сугробов предупредительный гудок автомашины. А движение на этой снеговой горной дороге достаточно оживленное — грузовики со стройматериалами, бочками горючего, мешками муки, подводы с разнообразными грузами шли почти беспрерывно.

Обогнал нас поезд — длинный состав хопперов и платформ с таштагольской рудой...

Дорога пошла в гору. С высоты широко раскрылся горный пейзаж — хребты, покрытые чернью, уходящие в аспидно-серый горизонт, бело-голубые снежные долины. Тут и там на склонах гор, в распадках подни-

мались прямые голубые дымки над селениями, утонувшими в глубоких шорских снегах.

— Снегами мы вообще богаты по горло, — сказал Тимофей Иванович, высовываясь из огромного воротника тулупа. — Но нынешняя зима особенная, снегу все подваливает и подваливает. Весной, наверное, потоп будет. А это дело для нас прямо убийственное. Когда строили железную дорогу на Таштагол, несколько раз вода начисто сносила насыпи, разрывала готовое полотно. Помучились много. На строительстве новых дорог с водой придется выдержать не одну схватку. Но сейчас уже будет легче — учены, опыт есть... Работы намечены трудные, в отдельных местах надо проложить в каменных скалах выемки глубиной в десятки метров — вынуть тысячи тонн камня. Понадобятся десятки тонн взрывчатки. А в других местах, в долинах, надо поднимать насыпь на двадцать пять метров и тянуть ее на километры; каждая сотня метров потребует десятки тысяч кубов камня и гравия. И все в гору, в гору — на Шалымский перевал, на высоту!..

Об этом я имел представление. Припомнились рассказы геологов о том, как велись разведки на Шалыме. По небольшому горному ключу, через заболоченные буреломы геологи восходили на Шалым. Уже и после того, как проложили тропу к вершине Шалыма, туда с огромным трудом удавалось проводить навьюченных лошадей. А буровые станки, двигатель, разобранный по частям, разведчикам пришлось нести на руках: лошади с таким грузом не могли взять крутого подъема. Свой лагерь, устроенный на оголенном хребте, где всегда свирепствовал пронизывающий ветер, разведчики романтически прозвали «Орлиным гнездом». Там стояли две наскоро срубленные избушки, несколько палаток, в которых жили геологи и топографы. Работы на Шалыме продолжались и зимой — завод торопил с разведками, кузнецким домнам нужна была шорская руда. Топографы вели съемки на лыжах, то и дело отогревая дыханием и протирая рукавицами стекла своих инструментов. Разведчики в камне, в промерзшем грунте били шурфы, прокладывали канавы — адски тяжелая и мучительно медленная ра-

бота. В сильные морозы над местом работ возвели тепляки из ветвей и снега, в тепляках работали при свете «летучих мышей». Когда промерзший грунт не поддавался кайле, пускали в дело аммонал... Разведчики жили, как на арктической зимовке, Кузнецк был для них «Большой землей»...

Когда машина наша начала спускаться с перевала, по сторонам дороги все чаще стали попадаться населенные места — бесконечные завьюженные улицы новых домиков то тянулись вдоль железной дороги, то свертывали в горы.

Рудстрой начинался на разъезде Кондома. В узкой речной долине на расчищенной от снега площадке стоял тесовый барачок-времянка, весь оклеенный разноцветными плакатами и лозунгами. На площадке работали экскаваторы, попыхивая дымками и то поднимая, то опуская свои железные хоботы, буравили землю своими стальными бивнями бульдозеры, сновали грузовики.

От разъезда ответвлялся путь на Рудстрой, на плацдарм, с которого начинается наступление строителей на Шалым. Городок Рудстроя пока что наполовину состоял из полотняных жилищ, потонувших в сугробах походных палаток, над которыми из железных труб вились дымки. Мы ехали мимо огромного строительного арсенала — парка механизмов и машин — экскаваторов, бульдозеров, тракторов, новеньких, еще недвижных автомашин. Все это вскоре должно будет двинуться в бой — на прокладку подъездных путей к будущему руднику — к вершинам Шалыма.

— Осенью здесь были только одни палатки, а теперь — смотри, что они уже настроили, — удовлетворенно отметил Тимофей Иванович.

Мы въехали в улицу красивых, из золотистого леса коттеджей и больших двухэтажных домов, обильно увешанных плакатами и призывными полотнищами, которые придавали новенькой улице праздничный вид. Вдоль этой улицы, по линии узкоколейки, на столбах электропередачи открылась галерея больших портретов, написанных маслом на полотне и фанере.

— Передовые люди Рудстроя, — пояснил Тимофей

Иванович. — А рисует их свой художник, из строителей, шорец Виктор Титанаков. Видал ты, сколько он уже изобразил!..

Машина остановилась возле большого бревенчатого здания — управления Рудстроя и столовой. Пронзительно посвистывая, на всех парах промчался по узкоколейке маленький паровозик с несколькими платформами, заполненными до отказа строителями.

— Эх, маленько опоздали на поезд, — кивнул вслед Распаев, — однако, он на Шалым пошел...

В управлении не оказалось ни начальника Рудстроя, ни парторга — они отправились на участок, куда только что умчался маленький поезд.

— Может, к вечеру, а может, завтра вернется, — сказали нам в конторе.

Мы обошли с Тимофеем Ивановичем городок строителей, побывали в палатках и домах. Секретарь райкома решил возвратиться в Таштагол — вечером у него какое-то совещание.

— А ты или здесь дожидайся начальства или поезжай на Шалым, там увидишь их, да и на строительство поглядишь, — предложил он мне. — Я к тебе сейчас кого-нибудь из здешних прикомандирую, чтоб все-таки не одному.

Тут мы и познакомились с прорабом-путейцем Иваном Ивановичем Фаткиным.

Если б только подсчитать, сколько за свою жизнь прошел Иван Фаткин пешком по шпалам железных дорог, путь этот едва ли уложился бы в десяток тысяч верст. Всю свою большую трудовую жизнь он прожил на железнодорожных путях и привык измерять их собственными шагами, считая шпалы на перегонах.

Сорок пять лет он только то и делал, что прокладывал новые железнодорожные пути, ремонтировал, содержал в исправности и порядке полотно железных дорог. Этот пеший путь по железным дорогам он начал молодым путевым рабочим в Забайкалье в год, когда по новой дальневосточной магистрали тянулись в маньчжурские сопки эшелоны с русскими солдатами, многим и многим из которых не суждено было вер-

нуться на родину с полей проигранной русским царем войны.

Путевой рабочий, строитель железной дороги, путевой обходчик, наконец, дорожный мастер — таков трудовой путь Ивана Фаткина за двадцать пять лет работы на забайкальских железных дорогах. Но он был прирожденным строителем железных дорог, привык прокладывать новые пути.

Эта страсть и привела его в 1930 году на большое строительство, развернувшееся в Кузнецкой котловине. Здесь-то дорожному мастеру-строителю дела хватало: прокладывались пути к угольным шахтам, к руде — в горы и тайгу Кузнецкого Алатау. Да и на самом строящемся заводе надо было проложить сотни километров рельсовых подъездных дорог для внутризаводского транспорта. И какая это была работа! Только поспевай укладывать пути для поездов, которые сразу же, по только что уложенным на шпалы рельсам, подвозили материалы для строительства.

Когда кончилась война, Ивану Ивановичу стукнуло шестьдесят. И он решил, что теперь, когда он отработал свое, пора ему на отдых, на заслуженную пенсию. Уже встали на ноги дети. Старшая дочь Анна пошла учиться в институт, сын Владимир стал хорошим токарем на заводе, оставалось дотянуть еще младшего, Алексея, школьника. Словом, можно бы начать спокойную стариковскую жизнь, заняться домашностью и садиком, о котором Иван Иванович издавна мечтал. С почетом отпустили старого прораба-дорожника на пенсию. И год он прожил этой спокойной домашней жизнью. Но все чаще Иван Иванович стал наведываться в Сталинскпромстрой, где работал до ухода на отдых, бродил по железнодорожным путям, которые он сам метр за метром прокладывал. Жизнь пенсионера начинала томить старого мастера. А тут стало известно, что в Горной Шории начинается большое строительство, предстоит проложить много новых путей в горах и тайге Алатау. Иван Иванович, несмотря на воркотню своей Ульяны Васильевны и уговоры детей, снова вернулся на работу в Сталинскпромстрой, где

его, конечно, радостно встретили, и вскоре отправился на Шалым.

Прибыв на Рудстрой, Иван Иванович удивил начальника строительства отказом поселиться в отведенном специально для него уголке в бараке-времянке, отверг предложение насчет жилья в палатке.

— Знаю я эти барачки ваши и палатки, — ворчливо сказал Иван Иванович. — Там и народу натолкано до отказа, да и зимовать в этаком жилье мне, старику, не сладко будет. Кроме того, я, как старый строитель, привык, дорогой товарищ начальник, сам строить для себя жилье...

Старый прораб собственноручно отрыл для себя землянку, благоустроил ее и поселился, пригласив в компанию с собой молоденького паренька, который вскоре стал одним из лучших путеукладчиков в его бригаде.

В землянке этой он и перезимовал и живет сейчас, хотя на Рудстрое уже красуется несколько многоквартирных домов, десятка полтора коттеджей, где, конечно, нашлось бы место для старого прораба.

— А чем у меня не жилье? — посмеивается он, когда его начинают уговаривать переселиться в рубленый дом. — Сухо, тепло, чисто, не шумно. А главное — привык, ведь считай что половину жизни прожил в походных землянках...

Оказалось, что Ивану Ивановичу надо поехать на дальний участок строительства по своим делам. Лучшего попутчика и желать было нельзя.

Против управления строительства остановился крохотный паровозик с несколькими думкарами — маленькими платформочками. Мы забрались с Иваном Ивановичем на одну из них.

— Курьерский, без остановок домчит, — пошутил Иван Иванович, спуская и завязывая под седым подбородком уши мохнатой шапки. — С ветерком поедем, гляди, продует, спусти уши, — посоветовал он мне.

Паровозик пустил из своей похожей на гриб трубы

тучу черного дыма, голосисто дал гудок и сорвался с места.

Наш поезд промчался вдоль улицы, мимо палаток, домиков, портретной галереи и, звонко посвистывая, раскачиваясь на узких рельсах, понесся по снежному ущелью, где пролегла узкоколейка. Вагончики так сильно раскачивало, что пассажирам пришлось все время держаться за борта думкаров.

— Путь-то этот узкоколейный мы прямо на грунт кладем, без подсыпки, а кой-где так и по снегу, — сказал Иван Иванович. — До весны продюжит, а нам главное сейчас — людей и материалы подбрасывать на стройку. Весной мы этот путь перенесем и уложим на постоянное твердое полотно до рудника. Вон, видишь, строим дорогу эту...

Иван Иванович указал на высокую, полузанесенную снегом насыпь, она тянулась по берегу Шалыма, у подножия сопок, вдоль нашего пути.

— Все-таки спасибо матушке-природе, тут она нам навстречу идет, — продолжал Иван Иванович. — Узкоколейку-то мы ведем по руслу реки Шалыма, как по ущелью. А не будь этого готового ущелья, я уж и не знаю, как бы путь прокладывать стали. Ведь тут сплошь камень, горы, а надо взбираться все вверх и вверх, на высоту в полтора почти километра. Попробуй-ка такую дорогу в камне прорезать — страшенное дело!..

Дорога, извиваясь, круто пошла в гору по узкому ущелью, меж отвесно разрезанных потоком Шалыма скал.

Паровозик начал сбавлять ход, неистово задымил, окутав и нас черной угольной копотью. Подъем становился все круче, паровозик наш взбирался наверх, напрягая все свои пары.

— Вот так все вверх и вверх, — сказал Иван Иванович. — Трудно, ох как трудно было нам прокладывать дорогу от Сталинска до Таштагола. А тут еще трудней, несмотря что всего двадцать — тридцать километров. Десять раз придется пересекать речку Шалым, а еще Шалыменок, да десяток других речек. Под полотном трубу для водостока закладываем, иначе от

этих речек спасенья не будет, особенно как вешняя вода хлынет. Все надо сделать зимой, по мерзлоте...

Справа на полотне будущей дороги шли земляные работы — работали экскаваторы, гудели тракторы и автомашины, сотни рабочих взмахивали кирками, лопатами. В глубоком снегу, в таежных зарослях виднелся полотняный городок строителей.

— Задача наша такая, — продолжал прораб, — к весне все земляные работы закончить да быстренько начать укладку пути до рудника. А рудник-то ведь строится вовсю, там скоро горняки проходку штольни начнут и предъявят нам: принимай да вывози, дорога, руду!.. Так что мы, дорожники, вроде в своих руках судьбу рудника держим... Вот дело-то какое, если вглубь глядеть... На нас большая ответственность.

Иван Иванович вдруг гулко и надолго закашлялся, так что по красному морщинистому его лицу покатились слезы. Когда он прокашлялся, я спросил его насчет здоровья.

— Какая может быть простуда? — сердито ответил он, протирая рукавицей покрасневшие глаза и смахивая сосульки с седых прихмуренных бровей. — Такой болезни у нас тут — в тайге, в горах — не бывает... Мы же сейчас в высоту забираемся, тут воздух, видать, реже, вот и одышка у меня, и кашель, наверное, от этого самого. Ну и, конечно, годы дают себя знать.

— Отдохнуть бы съездили домой, Иван Иванович, — простодушно посоветовал я. — Семья-то ведь у вас в Сталинске?

Старик совсем рассердился:

— Какой может быть сейчас отдых, чудак человек! Еще ничего не сделано — а он про отдых. Я такое обязательство на себя принял: пока подъездной путь на Шалым не сдам, отсюда, с дороги, никуда ни шагу. Такое слово себе и людям дал. Понял? Может, это, дорогой товарищ, последняя стройка в жизни моей. И, может, у меня свой план есть. Вот построю этот путь, да и останусь на нем, скажем, путевым обходчиком. Где-нибудь вот здесь в будочке до-

рожной со старухой своей поселимся век свой доживать. Места тут, видишь, какие привольные, душа радуется...

Поезд наш все выше и выше взбирался в горы, туда, где за черной полосой тайги белела вершина Мустага, до которой, впрочем, был еще не один десяток километров, хотя казалось, что она совсем недалеко.

— Вишь, на какую высь забираемся, страшенное дело! — проговорил Иван Иванович, оглядывая местность.

Уже внизу остались горы, тайга, среди которых ехали мы полчаса назад. Чистейший горный воздух, прокаленный изрядным морозцем, обжигал дыхание.

Поезд наш остановился у подножия огромной сопки, густо поросшей хвойным лесом. Дальше пути не было.

Пассажиры спрыгивали с думкаров прямо в глубокий снег.

— Вот, значит, мы и приехали, — сказал Иван Иванович, с кряхтением слезая с платформы. — Теперь еще пешочком в гору придется забираться. Тротуаров, парень, тут еще нету, да и дороги нормальной пока не проложили... Так что придется прямо по снежку, вброд...

Вслед за ушедшими вперед строителями мы пошли в гору по тропинке, протоптанной в глубоком снегу, извивающейся среди деревьев. Выше в гору лес начал редеть, мы пересекли широкие просеки. Где-то в лесу рокотал трактор, взвывали автомашины, наверное увязая в снегу, отовсюду слышались звонкий перестук топоров и пение пил.

— Вовсю идет работа, ишь какой шум в тайге! — удовлетворенно сказал Иван Иванович.

Через полчаса подъема мы вышли на широкую, начисто вырубленную площадку, на которой уже раскинулся городок палаток, дощатых бараков и рубленых домиков.

— Вот тут и будет центр поселка, — передохнув после крутого подъема, пояснил Иван Иванович. — Ну, теперь разыскивай начальство и разговаривай

с ним, а я по своим делам пойду, мне надо с тем же поездом назад.

Мы попрощались, и Иван Иванович отправился по тропинке в конец «улицы».

Я зашел в ближнюю палатку, чтобы спросить, где мне разыскать кого-нибудь из начальства.

В палатке было очень чисто и тепло. Вдоль стен рядами стояли железные койки. Свет из целлулоидных окошечек полосками падал на подушки в белых наволочках и синие байковые одеяла. За большим столом посредине палатки сидело несколько девушек и парней. Двое художников трудились над новым номером стенной газеты, остальные сидели над книгами и тетрадями. В центре в распахнутом полушубке с какой-то брошюркой в руках сидела белокурая сероглазая девушка.

Она назвалась секретарем комсомольской организации Рудстроя Галиной Угловой. Мы познакомились.

— Начальник строительства и парторг уехали на лесоразработки, километров за десять, — сказала она. — Стройку мы вам и без них покажем. Вот я сейчас кончу политбеседу, и мы пойдем с вами, найдем начальника участка.

Она проводила политбеседу с комсомольцами из молодежной бригады, у которых сегодня день отдыха. Из «Спутника агитатора» читала статью о мировом конгрессе демократической молодежи.

Вскоре мы вышли из палатки.

— Это общежитие комсомольско-молодежной бригады Аболонкина, лучшей сейчас бригады строителей на участке. Очень хорошо работают ребята. Все почти из ФЗО. Вначале с ними было много горя, особенно мне. Приехала такая вольница, такие штучки выкидывали, что начальник строительства хотел их назад отправлять. То на работу половина не выйдет, то на лесах затеют возню, игру в снежки. Задания, конечно, не выполняли. Пришлось заняться ими всерьез, с каждым в отдельности. И знаете, чем мы ребят этих исправили и втянули в работу? Вот этим общежитием молодежным, в котором сейчас мы с вами были. С большим трудом, но достали и завезли сюда койки, по-

стельное белье, палатку благоустроили, установили дежурства комсомольцев. Правда, ведь приятно после работы на морозе отдохнуть в таком общежитии? Ребятам, конечно, понравилось. Среди них сразу нашлись такие, которые оценили заботу о них, например сам бригадир Дима Аболонкин, его дружки Толя Дементьев, Жердев, Коля Токмагашев. А они и верховодили среди этой вольницы. За ними стали все выходить на работу. Потом вызвали на соревнование плотницкую бригаду взрослых строителей и в том же месяце ее опередили. А теперь бригада Аболонкина — ведущая не только на участке, а и на всем Рудстрое...

Мы вышли на широкую просеку, на одной стороне которой уже вырос ряд новеньких рубленых домиков, еще не заселенных.

— Это будет улица семейных горняков, они приедут сюда с семьями, на постоянную работу, — рассказывала Галина. — К весне надо построить основной жилой фонд. Вон там будет строиться клуб, большие жилые дома, вон там — баня. К лету должен быть готов спортгородок, устроим танцплощадку, на речке — бассейн для купанья. Ведь в основном сюда придет работать молодежь из ФЗО, молодые горняки, которые сейчас обучаются на Таштагольском руднике. И вообще надо построить такой поселок, чтоб в нем сразу жилось рабочим хорошо, удобно. Бараков, как это бывало раньше на новых рудниках, здесь, на Шалыме, не будет...

Возле большого, наполовину срубленного здания на столбе была прикреплена красная доска: «Бригада Аболонкина», ниже мелом выписаны процентные показатели работы за пятидневку.

— Видите, как работают! — не удержалась от восхищения Галина. — Это такие ребята!..

Завидев нас, с лесов спустились двое молодых парней — один в полушубке и легонькой кепочке набекрень, другой в стеганой телогрейке, подпоясанной ремешком, и в подшитых валенках.

— Вот и начальство тут, — сказала Углова. — Инженер Шленев Георгий Тимофеевич, — отрекомендовала она того, что был в полушубке.

— Аболонкин! — простуженным баском буркнул второй, стиснув мои пальцы в своей большой горячей руке и глядя вниз.

От ворота его стеженки и изо рта шел парок, видно бригадир только что хорошо поработал топором.

— Ага, посмотреть строительство хотите? — заговорил инженер Шленев, разглядывая меня с интересом. — Добро. Сейчас мы вам покажем, потаскаем по объектам, посмотрим, насколько у вас сил и выдержки хватит, у нас ведь пока тут трамваев нет, по снежку, по снежку, — говорил он с шутливой угрозой.

— Так вы, Георгий Тимофеевич, насчет точила-то позаботьтесь, а то ведь топоры не на чем точить, старое-то хоть выбрось, — пробурчал Аболонкин и отправился было на леса.

— Погоди, Дима, ты расскажи товарищу, как работа идет, — попробовала остановить его Углова.

— А чего рассказывать, вон наш показатель, — не оборачиваясь, кивнул бригадир на красную доску, — а работа наша вся на виду, вот глядите сами, — кивнул он на стройку.

Мы все трое невольно рассмеялись.

— Силен, Дима, силен, — проговорил сквозь смех инженер. — На работу силен, а вот на слова скуповат.

Не беспокоя больше сурового бригадира передовой молодежной бригады, мы отправились дальше по просеке.

— Тут все главным образом жилищное строительство, — сказал Шленев, — а сам рудник-то вон, на горе, — инженер указал на белую, осыпанную крапом пеньков вершину Шалыма.

По просеке мы вышли на новую, очищенную от леса площадку, откуда стала видна и вся сопка Шалыма, в недрах которой таилось огромное рудное тело. Сейчас на вершине Шалыма виднелось несколько разведочных копров, оставшихся от разведчиков, две избушки — то самое «Орлиное гнездо», где жили когда-то геологи...

— Что же, и туда придется прокладывать дорогу? — спросил я. — На такую высоту?

— Нет, железную дорогу туда, конечно, не дотя-

нуть. Да в этом и нет необходимости. Железная дорога подойдет вот сюда, здесь будет станция, — инженер указывал вниз, в котловину меж Шалымской сопкой и горой, на склоне которой мы стояли. — Тут еще столько разных сооружений вырастет, через год приедете — ничего не узнаете. Вот, смотрите, на Шалыме поднимутся каменные рудничные сооружения, вон там линия высоковольтной передачи, электрическая подстанция, а вот здесь, где мы сейчас стоим, будет горняцкий городок, — с видом на рудник, на горы, на тайгу. Очень красивое место, честное слово. Как подумаешь, представишь себе все, что мы здесь понастроим, всю картину полностью, — очень величественно получается. И ведь это не через годы, а вот буквально через месяцы. Весна уже близко, а весной сюда столько народу придет — горняки, дорожники, строители. Такая силища начнет наступление на неприступный Шалым!..

Молодой инженер говорил о близком будущем Шалыма с неподдельным вдохновением. И перед глазами нашими все отчетливей вставал будущий рудник, новый город, строящийся в вершинах Страны Темира...

РАЗГОВОР С ДРУЗЬЯМИ

Рассказом о последней поездке в Таштагол и на Шалым я и думал закончить свое повествование о Стране Темира.

Но некоторые обстоятельства самого последнего времени заставили меня дополнить написанное, а может, и подсказали более верное окончание книги.

Недавно я повстречался с двумя героями ее — темирским геологом Смолиным и таежным профессором Гайвороном.

Уже несколько лет оба они работают в научных институтах филиала Академии наук: Смолин — в горно-геологическом, а Гайворон — в биологическом.

Разработанный кандидатом геологических наук Смолиным новый способ разведки железорудных месторождений получил большое признание в науке и

изыскательской практике, уже принес крупные находки не только из недр Кузнецкой земли, но и из других районов Сибири.

Обстоятельное же описание и исследование флоры Кузнецкого Алатау, над которым много лет трудился В. И. Гайворон, сейчас можно видеть в учебных аудиториях многих факультетов, в руках будущих биологов и ботаников.

Известно мне, что этих двух людей и сейчас связывают крепкая дружба и тесное сотрудничество в научных изысканиях.

Дописав последние страницы, я отдал рукопись на прочтение Ивану Петровичу, к мнению и советам которого прибегал не раз и до этого.

Спустя месяц Смолин позвонил мне и сказал, что он готов поговорить о прочитанном и удобнее всего считает это сделать у него дома. В тот же день под вечер, понятно несколько взволнованный предстоящим разговором, я пришел к Ивану Петровичу. Не очень удивился я, застав у него и Всеволода Ивановича Гайворона, — ученый бобыль охотно пользовался семейным уютом друга.

Пожалуй, со времени нашей первой встречи в тайге мало что изменилось во внешности «Сиволота Ваныча», как называли Гайворона его шорские друзья. Чуть посутулей стала его высокая и тощая фигура, побелела мефистофельская бородка, но по-прежнему молодо и пытливо всматривались во все из-за стекол очков глаза таежного исследователя. Мне всякий раз казалось, что ему и сейчас больше шли бы широкополая соломенная шляпа и длинный дождевик, чем мешковатый пиджак и всегда сдвинутый в сторону пестренький галстук.

Иван Петрович погрузнел, изрядно облысел, чисто выбривает свое не отходящее от горного загара лицо и носит аккуратный темный костюм, скрадывающий полноту...

— Так-с, так-с, молодой человек, изволили явиться на суд и заклание?! — первым приветствовал меня Гайворон своим высоким баритоном, знакомо вздергивая бороду.

— А вы, Всеволод Иванович, тоже прочли мою рукопись? — спросил я, пожимая его костистую, длинную руку.

— Беспременно. И готов к расправе.

— Ну, проходите, проходите, чего мы толчемся в прихожей, — говорил Иван Петрович, мягко подталкивая нас с профессором к дверям своего кабинета.

На широком письменном столе, освещенном зеленой настольной лампой, лежала раскрытой моя рукопись, а рядом с нею полуразвернутая калька — карта Горной Шории, по краям прижатая к столу осколками каких-то горных пород.

— Видите, — сказал с улыбкой Смолин, кивнув на рукопись, — мы уже начали обсуждение вашего труда. Разумеется, только со своей, так сказать ведомственной, точки зрения, со стороны полноты и достоверности фактического материала...

— Да, да, не вдаваясь в оценку изящной словесности, хотя в приговоре, конечно, нельзя обойтись без ссылки и на эту сторону виновности автора, — продолжал подшучивать Гайворон.

Мы уселись с трех сторон у стола и начали разговор.

Геолог, с присущей ему суховатой точностью определений и суждений, обстоятельно прошелся по тем страницам рукописи, где речь касалась геологии, указал на некоторые промахи и тут же внес свои поправки.

— Все это, уважаемый, конечно, частности, — после некоторой паузы, покашливая в кулак, продолжал Иван Петрович. — Суть-то в том, насколько ваше описание соответствует сегодняшней общей картине — раскрытия и освоения недр, богатств Алатау? И главное — дает ли книга возможность видеть завтрашнюю Страну Темира? А ведь именно ради этого, как я понимаю, и стоило писать произведение... Вот вы пишете о Таштаголе, Шалыме как о новых и главных этапах развития Шории, а это уже ее вчерашний день...

— Иван Петрович, — перебил я его, — но, вспомните, ведь вы и сами не так уж давно говорили о Таштаголе как о будущем Страны Темира... Помните, на берегу Кондомы, когда в Таштаголе была всего-то од-

на разведочная вышка на горе... Помните, как вы говорили о камне на ладони?!

— Ну что мы тогда знали о Горной Шории! Больше романтики было, мечтаний... по молодости лет и незнанию, — немножко смутясь, проворчал геолог.

— А ведь именно это и увлекло меня, было открытием Страны Темира, заставило писать и о ней и о вас.

— И представить в оном сочинении этаких возвышенных геологов-мечтателей и ботаников-пустынников, которые только тем и занимаются, что строят воздушные замки и разводят райские сады! — вставил «Сиволот Ваныч», взором грозного обвинителя уставясь на меня.

— Ну, это уж не нам судить, Всеволод Иванович, как и кого писателю изображать, ему виднее, — усмехнулся Иван Петрович и, переводя взгляд с рукописи на карту Шории, продолжал: — Так вот, основной недостаток произведения, с моей точки зрения, состоит в том, что оно освещает уже вчерашний день этого района. Жизнь далеко опередила написанное, вот в чем дело... Поглядите-ка, что там делается сегодня!

Он сдвинул камни на карте, закрыв ею рукопись, хотел продолжать, но взял один из осколков и протянул мне:

— Узнаете? Это же тот самый радугинский камешек, который раскрыл тайну никак не дававшегося нам, но очень нужного ископаемого... Кстати, у вас-то сохранилась эта невзрачная галечка?..

— Не только сохранилась, — сказал я, вынув гальку из кармана и протягивая ее на ладони. — Она многое помогла понять и мне.

— Тогда это было все-таки только гипотезой — смелой, но недостаточно выверенной. А теперь, уже на основе радугинской догадки, в широких масштабах ведется добыча этого очень нужного металлургам минерала... Видите, как далеко вперед жизнь-то ушла... И вот поглядите-ка, что мы сегодня имеем, что делаем в вашей романтической Стране Темира...

Развернув весь испещренный линиями и значками свиток кальки, он начал рассказ о новых открытиях

в недрах Кузнецкого Алатау и отрогов Саян, пальцем «оконтуривая» ему лишь зримые пласты месторождений руд, угля, минералов, по-хозяйски похлопывая твердой ладонью по горным хребтам и глубинам земли Кузнецкой... Один за другим на карте, в горах и долинах, на берегах Мрасса, Томи, Кондомы, возникали перед нами новые заводы, шахты и рудники, селения и дороги — уже строящиеся или живущие пока в замыслах, расчетах и проектах...

— Вы небось слыхали о железорудном Абакано-Минусинском массиве, — все более увлекаясь, рассказывал Иван Петрович. — Так вот там уже прокладывается новая железнодорожная магистраль, пробивающая штольни рудников покрупнее Таштагола и Шалыма. А в верховьях Томи идет подготовка к строительству второго металлургического завода, не меньше Кузнецкого... Наверное, слышали о Томь-Усинском комплексе. Великолепные угли, и берутся они прямо из разрезов, открытым способом... Ба-альшой город вырос там — Междуреченск, центр нового индустриального района... Вот это и есть сегодняшний день Шории. И сегодня уже не из Таштагола, не с Шалыма, а из Междуреченска, с новых вершин Алатау и Саян надо заглядывать в завтрашний день Страны Темира...

Рассказывая, Иван Петрович то наклонялся к самой карте, всматриваясь в значки и цифры, то откидывался, устремив глаза вдаль; он вслух размышлял, рассчитывал, порой молча задумывался над каким-нибудь местом или доверительно советовался с нами.

И на глазах у меня этот солидный, пожилой кандидат наук, воодушевленный своими расчетами и широкими проектами, как бы молодел, снова превращаясь в того пытливого и увлеченного кладоискателя и разведчика, прокладывающего путь строителям жизни, в того геолога Смолина, каким я впервые встретил его в горах Алатау.

Включился и Всеволод Иванович в это новое и увлекательное путешествие по Стране Темира, в ее близкое и очень ясное им обоим будущее. Он дополнял рассказ геолога красочными картинами живой горношорской природы, вдохновенно озеленял и украшал

садами, лесными насаждениями новые или будущие селения, рудники и дороги. Профессор, видно, совсем забыл, как часом раньше он ополчался против романтиков и мечтателей.

— Вот, понимаете, как сегодня выглядит Горная Шория, как нам представляется ее ближайшее будущее, — спокойно заключил рассказ Петр Иванович, снова становясь рассудительным, суховатым научным работником.

— Но, дорогие товарищи, ведь вы же сейчас говорили о новой книге, которую еще надо писать, — сказал я смущенно. — А что же мне делать с этой рукописью, если она вас совсем не удовлетворяет?

— Кто это вам сказал, что уже написанное надо бросить и браться за новую книгу? — искренне удивился Иван Петрович. — Мы рассматриваем ваше сочинение только как начало рассказа об открытии Страны Темира и первых шагах ее становления, как начало большого путешествия.

— Тогда я никогда не кончу книги и все равно не поспею за вами... за жизнью.

— Э, нет, нет, молодой человек, уж коль вы взялись за это дело, то вам и карты в руки! Смотрите, вот эту, например, карту, — Гайворон раскинул на кальке свои длиннопалые пятерни. — Тут, знаете ли, еще столько неизведанного и нераскрытого и такие клады материала для вас, такие перспективы...

— И теперь вы не в одиночку уже путешествуете по Стране Темира, значит не один и будете продолжать повествование о ней, — успокоительно сказал Иван Петрович.

Он поднялся, подошел к книжной полке и снял с нее пухлую из пестрого картона папку. Развязав тесемки, Иван Петрович разложил папку на столе. В ней лежали с десяток конвертов с адресами, судя по почеркам, написанными детскими руками, несколько толстых ученических тетрадей и фотоальбом с разрисованными цветными карандашами и акварелью обложками.

— Это письма юных туристов, их путевые дневники и зарисовки, — пояснил Иван Петрович. — Несколько лет назад я стал получать письма из города Кузбасса,

от школьников. Они писали о своем горячем желании отправиться летом в краеведческий поход по Кузнецкому Алатау, спрашивали моего совета насчет маршрутов и горношорских условий, приглашали меня составить им компанию. Я, конечно, ответил на письма. С тех пор и повелось, что ежегодно весной я получаю письма о новых и новых походах юных землепроходцев и краеведов в Страну Темира, — очень она увлекла их. А зимой они присылают мне тетради своих коллективных путевых дневников, зарисовки и фотографии.

— Видите, уважаемый, теперь уж не приходится заманивать туда юных искателей приключений и великих открывателей, как у нас с вами было с Аркашей Огородниковым, — засмеялся Всеволод Иванович. — Кстати, что-то он давненько мне не пишет...

Я с интересом перелистал одну из тетрадей с трогательными путевыми записями кемеровских юных путешественников по берегам Кондомы и Мрасса, поглядел зарисовки и снимки знакомых шорских мест, белоголового Мустага, Царских ворот, Кабырзы...

— Вот эти кемеровские ребята недавно сообщили мне, — сказал Смолин, выбирая из конвертов нужное ему письмо, — очень солидно оповестили, что коллективно пишут большую книгу о Стране Темира.

— Так что вам еще придется посторониться перед этими подрастающими авторами и путешественниками, — усмешливо добавил Всеволод Иванович.

— Во всяком случае, можно быть уверенным, что продолжение повествования о нашей Стране Темира непременно последует — и, как знать, может, самое замечательное, — в том же тоне заключил Иван Петрович.

Благодарно и радостно смотрел я на этих двух чудесных людей, которые, сами того не подозревая, дописали за меня заключительные страницы книги.

Но, вероятно, и сейчас ее нельзя считать завершенной, потому что продолжается сама жизнь, продолжается и путешествие наше по Стране Темира...

1950—1956
Горная Шория — Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ КУЗНЕЦКОЙ ЗАКАЛКИ

СМЕРДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КАМЕНЬ НА ЛАДОНИ
Редактор *Г. А. Колесникова*

Художник *Л. Г. Дьякова*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

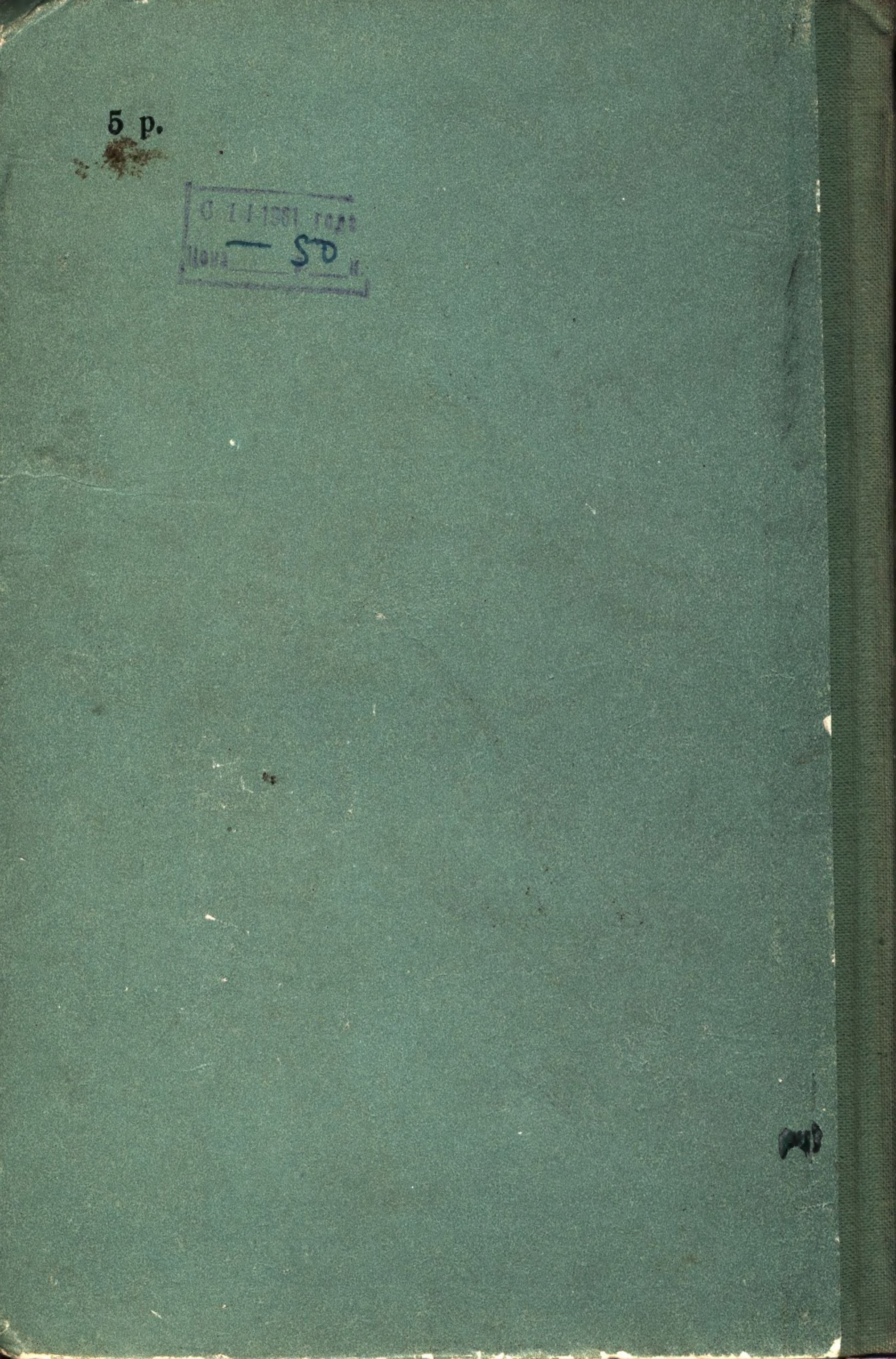
Техн. редактор *С. И. Брусиловская*

Корректор *Л. И. Лапирова-Скобло*

Сдано в набор 28/III 1957 г. Подписано к печати 26/VI 1957 г. А-05282. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$. Печ. л. $17^{3}/_{4}$ (14,55). Уч.-изд. л. 13,35. Тираж 75000. Цена 5 р. Заказ № 441.

Издательство „Советский писатель"
Москва. К-104, Б. Гнездниковский пер., 10.

Типография им. Володарского Лениздата.
Ленинград, 23, Фонтанка, 57.


5 р.
С 1.I.1961 года
Цена — 50 к.

Александр Смердов

КАМЕНЬ НА ЛАДОНИ